

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (427)

2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Геннадий Каневский. [12 декабря] *и др.* 3
Олег Юрьев. «Стихи и другие стихотворения» 99
Семен Ханин. «Что-то с координацией движений» 106
Максим Калинин. «Продрался ветер сквозь чертополох…» *и др.* 126
Наталья Ключарева. «Весна» *и др.* 130

ПРОЗА

Марина Палей. Хор. *Роман-притча* 7
Сергей Шикера. Идущий против ветра. *(Записки неизвестного)* 83
Янис Грантс. «MARSHAK». *Короткий роман* 110
Наталья Рубанова. [Её университеты]. *Из цикла Love-story* 123

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Олег Рогов. С запада на восток России 133
Алексей Александров. Название для книги 134
Андрей Пермяков. Печальные и взрослые стихи 136
Анна Голубкова. Лирический каталог Андрея Сен-Сенькова 138
Екатерина Дайс. Орфей в метро 141
Алексей Колобродов. Время Прилепина 147
Виктор Селезнев. Та самая история 154

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Уже безумие крылом души накрыло семь девятых …. 162

© «Волга», 2010

Геннадий КАНЕВСКИЙ

[12 декабря]

кто-то вспомнил – зима, и встряхнул над землёй воротник.
между пальцами щель заменяет очки ненадолго.
сфокусируешь зренье; глядишь – и к морозу привык:
то ли дон, то ли волга,
где под белым, недавно замёрзшим, не ходит вода,
а меж ним и ближайшею сферой, безжизнен и матов,
то печёный ростов, то плетёная вологда-гда,
то стеклянный саратов.

пусть хоть кто-нибудь скажет: «садись, ты и здесь ко двору»,
разведёт кипяток, поднесёт перемены на блюде.
это люди, конечно, хотя поглядишь поутру –
как бы вовсе не люди.
не давайте мне зеркало, я к вам пришёл из хазар,
как увижу урода – боюсь, не сдержусь и завою,
но хотя б иногда попадайтесь и мне на глаза,
ничего, что спиною.

эту карту европы украл не агент, а сосед.
этот кухонный заговор – не декабристы, а климат.
это нас перед смертью помнут, поглядят на просвет,
покряхтят и не примут.
снова вскроется лёд,
и повалят другие стоять и томиться у входа
под нестройное чтение первой строки «мы, народ,
враг народа».

[***]

евг. никитину

в двенадцать лет осиротев,
в шесть прочитав газету «правда»,
плечом кого-нибудь задев,
проходишь точку невозврата,
и вот в любимом из домов
тебе отказано от дома,
и даже бывшая амор
глядит светло и незнакомо.

Геннадий Каневский родился в Москве в 1965 году. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Работает редактором корпоративного журнала по электронике. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Волга», «Новый берег» и др. Автор книг «Провинциальная латынь» (2001), «Мир по Брайлю» (2004), «Как если бы» (2006), «Небо для летчиков» (2008).

ты назовёшь себя никто,
вчерашний прыщ, пустое место,
в стенах осеннего пальто,
в нелепых выкриках протеста,
и твой проляжет рыжий след
до комендантского постоя –
блажен, кто в сорок с чем-то лет
не целовался с пустотою.

от точки к точке – новый грим,
морщины, родинки, накладки.
умрёшь – и будешь караим,
песок на детской стройплощадке.
наступит кто-нибудь, и вот –
темно, а он один в пустыне,
и вся судьба его пойдёт
не так, как думалось, отныне.

[пирке]

на сосновой даче игра в лапту
сын наркома в белом стоит цвету
хочет рыженькую вон ту

теплоход плывёт по стеклянной реке
два гудка его два укола пирке
малый шрам на её руке

машинист поёт и уходит в рейс
старший мастер звонко стучит о рельс
послезавтра его арест

человек идёт вдоль проезжей любви
на закат на левый берег невы
он в тени своей головы

у собаки боли
у кошки боли

у страны моей заживи

[***]

быстро перелистываешь ночи и дни.
взгляд скользит по диагонали.
помнишь, книги умные меж всякой херни

в детстве читали – и не догоняли.
а догонишь если – так рядом идёшь,
теребишь рукав, мол, оглянись ненадолго,
мама, оттого ли на улице дождь,
что сильно прохудилась небесная волга?

капает с неба белый скипидар.
стоит подставить ведёрко из цинка,
и идёшь гулять по райским садам –
яркие последствия малого дринка.
а когда вернёшься вечером в дом,
чтобы полечить простуженное горло –
радио «свобода» расскажет о том,
что офисное рабство приятней другого.

[аниматор]

днём заходит и объявляет обед.
вешает знак «магазин закрыт».
из-под полы, ссутулившись, достаёт.
– это психея, анима, – говорит, –
слышишь, в кульке шебуршит-поёт?
нарежь потоньше, чтоб видеть свет.

плачешь, как режешь лук,
а никуда не деться, кромсаешь ломоть.
другу бы отказал, если просит друг,
а тут хозяин, в душу его язвить,
в руце его владычной – живот и плоть.

им – светить, а нам – отбрасывать тень
сквозь эти тонкие, тоньше, чем слюда.
снова и снова приносит. и как не лень.
будь проклят день
когда аниматором шёл работать сюда.

думал, детишек танцами развлеку,
взрослым разные фокусы покажу.
новая смена в мясном цеху –
слышишь, поёт, скулит, подобно щенку,
светом течёт по золингену-клинку,
по моему ножу.

[***]

труд окончен, и галеры
убраны от глаз.
кто родился к нам – и те уж

умерли от нас.
птицы лишь до ночи спорят
меж высоких крон,
кто из них кому другому
оставляет трон.

круг сужался и сужался,
и остались лишь
колокольцы, карнавальцы,
пара ветхих крыш.
и, ворча на запах дыма,
дремлет носом в снег
на краю земного рима
дикий человек.

Марина ПАЛЕЙ

ХОР

Роман-притча

Часть первая
1945

ER IS EEN TIJD
*OM LIEF TE HEBBEN EN TE OMHELZEN**

1.

Ее пощадили тогда – единственную из восьми – нет, девяти девушек и молодых женщин – потому что, как Андерс понял много позже, она с рождения была наделена этим баснословным свойством, воздвигавшим стену между ней – и неугодной ей волей. Он осознал это, может быть, запоздало, равно как и тот факт, что сама она, конечно, тоже не прозревала ничего необычного в своей природе. Но, даже если смутно и догадывалась, то все равно: обстоятельства после той страшной ночи сложились для нее так, что – с целью выжить самой и устроить свое потомство на неродной, не сразу приютившей ее земле – она вынуждена была всечасно притаиваться, честно притираться, приноравливаться, с терпеливым старанием обезличиваться – то есть соскабливать всякую зазубринку своего нрава, сглаживать малейший проскок нездешней интонации, убивать в себе память о шуме и запахе чужого и чуждого здесь леса – и так далее – вплоть до безраздельного слияния с фоном. Как именно? А так – до полного своего растворения в этом скудном заоконном ландшафте.

Она, двадцатидвухлетняя в год их встречи, видимо, и впрямь не многое тогда о себе знала и – что вытекает из новых условий – предпочла бы знать еще меньше. Кроме того, она ничего не скрывала от мужа, так что Андерс ни разу не имел основания упрекнуть ее в неискренности. Но человек устроен неразумно – причем, в первую очередь, для себя самого: он отдает себе отчет только в своих внешних особенностях, только в этой элементарной разнице экстерьера, внятной для органов зрения и осязания, он уверен полностью, – что же касается сокрытой от глаз, истинной своей сущности, то жена Андерса, например, смутно считала, что все другие имеют внутри абсолютно тот же, что и она, состав, с таким же «общепринятым» (и «общепонятным») набором –пристрастий, притязаний, неприязней, прихотей и капризов. То есть если внешне эти *другие* ведут себя иначе, то потому лишь, что как-то иначе, более сдержанно, что ли, с детства воспитаны – или от природы обладают более сильным, способным к самообузданию, нравом.

Так же считал и Андерс.

Однако той ночью, более десятка лет назад, ему было не до анализа: в его лоб оказался вжат

**Время - любить и обнимать. (Нидерландск.) Здесь и далее в названии частей - авторская трактовка Екклезиаста.*

Марина Палей родилась в Петербурге. Дебютировала повестью «Евгеша и Аннушка» («Знамя», № 7 за 1990). С этого момента по настоящее время – множественные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева» и др. Вышло пять книг прозы в России и шесть – за рубежом. Участие в многочисленных российских и зарубежных антологиях. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский, норвежский, словацкий, словенский, эстонский, латышский языки. Сама она переводила поэзию с итальянского, нидерландского, новогреческого, английского и словенского языков, а также фламандскую прозу. С 1995 года живет в Нидерландах

ствол трофейного «вальтера», и Андерс почувствовал смерть не то чтобы «близко» – обыденно. Черным чудом одомашненная волчица, смерть оказалась удручающе бытовой, даже словно бы кухонной. Андерс почувствовал тошноту, наотмашь сраженный этим – может быть, главным человеческим унижением – природу которого в дальнейшем не взялся бы разъяснять даже себе – однако чем-то похожим на то, каким потчует красавица-актриса, когда ждешь от нее «призывно мерцающих тайн» – и счастлив погибнуть за эти межгалактические загадки – а она, приведя вас к себе в чертоги – лучезарясь, *светло улыбаясь* – по-хозяйски расторопно несет вам непритязательные свои разгадки: пылесосы, кондомы, аборты, супы.

...«Вальтер» тогда оказался и впрямь, что и говорить, близко – дуло люто скособочило его кожу; скрюченные пальцы, нацеленные на убийство, словно двоились – их было около дюжины, этих пальцев-щупалец, – хотя, что за разница, хватило бы и обычного набора. Из года в год, изо дня в день, маниакально возвращаясь к ночи чудовищного кровопролития, Андерс внушал себе (а потом уж и принуждал себя к этому самовнушению), что тогда на них свалилось не просто везение – нет, нет и нет! – но так проявила себя именно предначертанность их любви. Поэтому как раз с кровавой сцены в хлеву, который, до вторжения победителей, казался влюбленному Андерсу, конечно, *библейским* (а ферма герра Цоллера – конечно, *садом Эдемским*) – он и начал отсчет их совместного lichte weg. (Кстати сказать, этот *светлый путь* длился, если быть точным, и Андерс всегда таковым был, пять лет и одиннадцать месяцев.)

Безусловно: только заботами Провидения, только заблаговременно все рассчитавшей судьбой можно было бы объяснить невероятный поворот дела, когда она, его будущая жена, не издав ни единого звука (они еще слаще бы распалили багрово-сизые, лаковые от натуги гениталии ратоборца, которые тот, с жуткой неторопливостью, выпростал из-под клацнувшего ремня) – будущая жена Андерса, встав на цыпочки и не издав ни единого звука, поднесла к очам этого обезумевшего воителя реденькую щепоть своих побелевших пальцев. Это был простой жест, первое, что пришло ей в голову, чтобы чем угодно отвлечь ратника, накаченного под завязку водкой и звериной яростью, – она, возлюбленная Андерса, поднесла свою щепоть к его мутно-кровавым очам – потом плавно повела их, его бычьи очи, словно за ниточки, – вбок, вбок, вбок – и установила четко на Андерсе; затем она сказала: смотри, это мой муж; после чего, властно и осторожно, стараясь не замараться об армейскую гимнастерку легионера, потянула ниточки вниз, сфокусировала его разъезжавшиеся зрачки точно в центре своего впалого живота и сказала: я – беременна.

Она произнесла обе фразы на языке ворвавшихся с рассветом триумфаторов. Андерс догадался о смысле, еще бы он, даже никогда прежде не слышавший этого языка, не догадался – хотя она, его возлюбленная, назвала события, которые произойдут только через несколько месяцев. Андерсу было невероятно странно, что она, его любовь, так уверенно издает эти неведомые ему звуки, причем нечто саднящее (и страшное) заключалось в том, что этот чужой, абсолютно чужой, чужеземный вояка, понимал ее совсем без труда. Это было наречие легионов, уже не подвластных ни земным, ни Божьим законам, – обезумевших легионов, в которых высшие военные чины, усредненные с низшими водкой, жаждой крови, предельно оголенными звериными желаниями – были ничем от последних не отличимы, – разве что, формально, поношенными нашивками. Это был язык, ввергший в бессловесный ужас все местное население – детское, стариковское, женское – полностью безоружное, готовое к непредставимому.

А она, любовь Андерса, больше не сказала ничего – и осталась стоять, как стояла, – нагая, лишь в маленьком белом бюстгальтере. Дамские часики с кожаным потертым ремешком и крестик старинного серебра, втоптанные в навозную жижу минутой раньше, не соблазнили и даже не отвлекли воинов, изголодавшихся по женскому мясу. Крепдешиновое платье, уже лишенное рукавов-фонариков, словно бы без оторванных своих рук, жертвенно распласталось под хвостом коровы с вывороченными кишками; коровье сердце еще продолжало сокращаться – оно было

хорошо видно в дыре, прорубленной меж ее ребер; крепдешин ярко голубел под ее хвостом, на него медленно вытекал предсмертный коровий кал – а рядом лениво, но с должным напором молодости, мочилась, открыто глядя в сторону женщин, ватага ждавших очереди.

2.

...Живот у нее оказался девический, как было сказано, впалый – даже чуть более впалый, чем это бывает у быстро вытянувшихся отроковиц, – живот с мелким, словно обиженно закусившим нижнюю губку пупком. Через пять с половиной суток, когда они – Андерс и его будущая жена – наконец остались наедине и возмечтали оставаться так до самой смерти, Андерс признался, что ее, раздетую, он испугался больше, чем «вальтера». Загипнотизированный, как и тот легионер, щепотью ее белых и словно бы намагниченных пальцев, он отвел тогда взгляд чуть ниже – и резко обмяк, сраженный навылет наготой ее тела («готового к анатомии», – как он, рыдая, честно сформулировал свое впечатление на немецком – то есть на единственно общем для них языке). Однако она истолковала это признание, скорее всего, иначе, а может, плохо его поняла, потому что сначала тихо смеялась (и тени от свечи – там, в погребе крестьян из предместья Эрлау – метались, как ласточки), а затем успокоилась, но, еще икая от смеха (и, как всегда, мило путая времена и артикли) сказала, что *в ее местах* двадцатипятилетний парень вряд ли бы испугался голой бабы, даже если бы был воспитан строгими католиками, как Андерс, – или, к примеру, как до войны воспитывались украинские *hloptsy* всего в сотне километров к западу от ее полесского села. Но ты – *не какая-нибудь*, – с нежным упрямством возразил Андерс, – а, кроме того, ты не *баба*. Но она лишь плечом повела: эта дискуссия была ей неинтересна.

3.

До самого последнего своего дня Андерс так и не вытравил из обихода собственных трезвых мыслей одну, нетрезвую, словно приблудную, которой отчаянно стыдился, словно средневекового суеверия (оно было бы не к лицу служащему крупнейшей национальной страховой компании). Мысль эта была довольно проста и сводилась к следующему: разгадай он вовремя скрытый смысл происходившего там, в хлеву, на ферме герра Цоллера, то, возможно, мог бы затем избежать этой глухой, узкой, словно тоннель, дороги, ступив на которую, он слишком поздно понял, что для него на этом пути, уже до самого конца, не будет ни поворотов, ни ответвлений, ни возможности заднего хода, ни даже мизерных послаблений, касательных скорости к этому концу приближения.

Но тогда, через двое суток после бегства из предместья Клауфбаха, с фермы герра Цоллера, уже готовые довериться временной безопасности в погребе Греты и Ганса Шиффер, поначалу напуганной, но доброжелательной крестьянской четы из Эрлау (на которую Андерс сумел воздействовать своими почтительными манерами, почти безакцентным немецким и половиной стопки постельного белья, которой снабдил его герр Цоллер), ему и ей, вздрагивавшим и беспрерывно молившимся, оставалось уповать лишь на чудо.

Андерс, по счастью, сохранил при себе нидерландский паспорт, но оба понимали, что если у нее, остарбайтерки, на руках окажется даже более-менее приемлемая европейская «липа» (даже самого лучшего, нейтрального, то есть шведского или швейцарского происхождения), то сама она, в качестве «свободной женщины», неизбежно предстанет пред милующие или карающие очи голодного до всего сразу восточноевропейского победителя. И потом, через две недели, когда оказалось, что война закончилась, и родственник крестьянской четы, пожилой саксонский нотариус, сумел (за оставшуюся половину бельевой стопки) раздобыть потрепанный билет Польской студенческой корпорации, где не требовалась фотография, но зато значилось, что она (там было поставлено польское имя) носит, как и Андерс, фамилию ван Риддердейк, ибо является его законной супругой с тысяча девятьсот сорокового года, то есть с тех пор, как их брак был

зарегистрирован муниципалитетом города Утрехта (куда невеста прежде приезжала в качестве туристки) – и такая же пометка была сделана в паспорте Андерса, благо, что умельцев подобного дела за годы войны развелось в изобилии, – и они двинулись – пешком, попутными грузовиками, телегами, товарными вагонами – к западной границе советской оккупационной зоны, о которой они слышали что-то смутное, противоречивое, но всегда жуткое, – Андерс сразу же начал целенаправленно вытравлять из памяти события прошлого – и ее, свою любовь, свою жену перед Богом, призывал к тому же.

Они обязаны были всю свою волю, силы, весь свой ум, свою изворотливость – сосредоточить целиком в одной точке, – той, когда эти волшебные, призрачные бумажки попадут наконец в ручищи хрипло дышащего бойца на контрольно-пропускном пункте.

...Последние пятьдесят километров им посчастливилось проехать на собственном велосипеде – вполне еще ходком, купленном в каком-то живописном предместье за три из шести пачек американских сигарет, которые они чудом обнаружили в подорванном «виллисе».

4.

Она сидела сзади, молчащая, неживая от ужаса, лавинообразно нараставшего в них обоих с каждым километром, с каждым метром. Ловко виляя по искореженной бомбардировкой и танками дороге, привычно ощущая руль такой же частью тела, как свои руки, безжалостно подгоняемый в спину ее свинцовым молчанием, Андерс, тем не менее, двигался словно бы в сторону, обратную той, что наметил.

...Он видел перед собой набережную канала Oudegracht, самую любимую свою часть Утрехта (где он как раз и поселился, с тех пор как закончил гимназию во Влаардингене и переехал сюда из дома родителей), – он ехал как раз мимо ювелирной лавки, когда вылетевший навстречу автомобиль заставил его резко рвануть руль – и вот он уже барахтается в холодном канале – куда, миг спустя, прыгает рослый, как и он, парень.

Потом, переодетые в сухое (Андерс дал парню свою одежду и обувь), они согреваются красным вином, отпуская смачные словечки в адрес смывшегося автомобилиста, и, главным образом, хохоча. Вы здесь, in Holland, – канадец энергично поводит плечами, обживая шерстяной свитер Андерса, – вы, мне сдается, уже из материнской утробы выкатываетесь на велосипеде! Нет, – уточняет подвыпивший Андерс, – нас уже зачинают на велосипеде, и мы будем зачинать своих детей на велосипеде, и наши дети так же зачнут наших внуков!.. (Как жаль, что тот парень вскоре вернулся в свою страну – далекую, мало представимую – с пугающей онкологической аббревиатурой СА.)

...Через десять лет после войны Андерс будет проезжать на велосипеде центр одного из городов на севере своей страны – и вдруг резко затормозит. Он увидит невдалеке монумент, который по непонятной причине остановит его внимание. Ему захочется спрыгнуть с велосипеда и подойти к монументу пешком. Глядя вблизи на фигуру этого обобщенного человека, он не сможет назвать ни одного внешнего признака, сходного с чертами человека другого – частного, навсегда поселенного в хранилище памяти, – и, тем не менее, это будет немного он, – конечно, и он тоже, тот довоенный канадец – в этом образе канадского освободителя. Стоя в просторном плаще, опираясь на каменный меч, рыцарь безотрадно склонил крупную, породистую свою голову. В нем нет ни торжества, ни торжественности, ни устрашающей силы, ни назидания. Во всей фигуре его застыла тяжелая, каменная, неизбывная скорбь. Даты, выбитые на граните, увековечивая один из наиболее эффективных всплесков человечьего взаимоистребления (1940–1945), не объясняют причин этой скорби, ведь перед нами не жертва, а как-никак победитель. Но, грозно хотя и незримо рыдая (вот что бросает в лицо бездумным каждый уступ гранита), человек скорбит

оттого, что ход истории, заранее оправданный неоспоримым благородством цели и неизбежной повторяемостью самого действия, *вынудил его совершить убийство.*

5.

«Давай остановимся, – вдруг услышал он за спиной ее голос, – мне что-то нехорошо».

Они сели, обнявшись, недалеко от дороги, и она, в который уж раз, – если считать полмесяца в подвале, а до того, путь из Клауфбаха в Эрлау (не дальний, примерно пятнадцатикилометровый, но занявший у них, продвигавшихся лишь по ночам, пугавшихся любого куста и надолго хоронившихся, где придется, двое полуголодных суток), – в который уж раз она стала сбивчиво просить его жениться, обязательно жениться – на ком-нибудь дома, *на своей*, подобрать себе хорошую пару и жениться, и не ждать, и не мучиться, и не вспоминать, а жениться на хорошей женщине или девушке, и завести нормальный дом, и много детей, и... и... И вдруг перебила сама себя:

«Ох, господи, Анди, какой же ты все-таки красивый! Ты же принц настоящий!»

Он никак этого не ожидал – и не нашелся, что сказать.

«Ты просто сам этого не понимаешь, – продолжала она сквозь слезы. – У вас в Голландии все парни такие высокие?»

«Ну... как? Ну да... нормальные», – еще больше смутился он.

«Да у нас на селе девахи тебя в клочья бы разорвали! – сквозь слезы улыбнулась она. – В клочья, понимаешь?! Да ты посмотри на себя... У тебя же бедра... как сказать? – Махнула рукой – и сказала на своем языке: – У тебя же такие узкие чресла, что их в одной ладонью обхватить можно! В одну жменю поместятся... Ну, на крайний случай, в две... А плечи! Какие сильные, ровные-ровные... И какой же ты гибкий, господи... Тебе бы танцы на сцене танцевать, а не мешки на ферме таскать...»

«Что-что?» – он целиком не понял вторую часть этого маленького монолога.

«А то! – она снова перешла на немецкий. – А волосы твои, темно-русые, густые... Или светло-каштановые? Не пойму... – Она погладила его голову, и Андерс обнял ее. – Да: волосы твои гладкие, густые, длинные... почти до плеч... у нас так не носят... ишь ты, художник...»

«Это ты красивая, а не я», – целуя ее, успел вставить Андерс.

Но она сердито увертывалась от его поцелуев, морща лоб, жестом показывая: дай сказать! А ему было странно все это слушать. Он не считал себя красавцем, да и среди его знакомых, кроме того, не принято было обсуждать (и ценить) мужскую внешность, внешность вообще. Он никогда не чувствовал что чем-то выделяется в толпе парней и мужчин. Голландские девушки не оказывали ему какого-либо особого предпочтения...

«А глаза? Отважные, светлые, очень северные... Я только в кино такие видала... А нос? Нос орлиный... Я тоже в кино только...»

«Если ко мне не получится, поеду с тобой, – решительно перебил он, – с тобой, с тобой, пусть будет там что угодно...»

«Куда?! Куда ты поедешь?! – она с силой оттолкнула его и зарыдала безудержно. – Что ты вообще о тамошней жизни знаешь?! Мне отец приказал, когда угоняли: как хочешь там устраивайся, как хочешь, а если и пропадешь, так хоть у чужих! Но назад он велел ни ногой, ни за что, никогда, – я тебя прокляну, вот что отец мне сказал, – если тебя тут, в твоем же родном фатерлянде, заживо сгноят...»

«Хватит, – сказал Андерс, решительно встал и протянул ей обе руки, – нам надо успеть до темноты».

6.

Встретив свою будущую жену, Андерс перестал чувствовать себя жертвой. То есть он сразу же перестал сожалеть о той дурацкой истории, из-за которой его, вместе с членами одной из групп een verzetsbeveging* угнали на земли Третьего Рейха в качестве «Fremdarbeiter».** А до этого он действительно классифицировал свою ситуацию как дурацкую – ведь ни в одну из групп de verzetsbeveging он не входил, так что его однократный, хотя и весьма действенный отпор носил совершенно частный, а, кроме того, глубоко стихийный характер. Относясь к «наиболее физически продуктивной группе» (мужчин от восемнадцати до сорока лет), Андерс в любом случае подлежал насильственной отправке на работы. Однако этот пункт оказался улаженным: Андерсу, который долгое время был добровольным репетитором для двух сыновей своего huisarts,*** удалось сделать через него убедительную справку о своей физической непригодности. Казалось бы, гроза миновала, но тут-то он и попался – на своем брезгливом неприятии животного грабежа, пусть даже в самой новомодной, т. е. «идеологически обоснованной» форме. Попросту говоря, Андерс – с громким деревянным стуком – столкнул арийскими черепами двух приземистых пехотинцев, когда они заявились, чтобы конфисковать «в пользу Германской армии» его новенький велосипед. Он даже не успел тогда понять, что велосипед именно «конфискуют» (то есть его, Андерса, грабят на основе какого-то там мартышкиного «постановления»), как не уразумел и того, что жители его улицы, района, города уже полдня как аккуратно ограблены. В нем просто мгновенно сработал инстинкт человека, столетиями выученного уважать Собственность, а также Действующий Закон, принятый с ведома его, частного гражданина. Так что отмутузил он тогда немцев как следует, без малейшей скидки на их расовое превосходство – точно так же, как поступил бы и с любым своим нашкодившим компатриотом.

Оккупанты могли бы пристрелить его прямо на месте, – и один, с окровавленной рожей, уже передернул затвор, но другой, видимо, старший по званию, высокомерно поправляя форму, резко и безапелляционно его облаял (ссылаясь на некий приказ за номером таким-то), – потом он обстоятельно облаял Андерса, – потом к нему с лаем присоединился первый, – и так, вперебивку лая, они посулили ему свой всесильный, безупречно организованный ад.

Андерс, убежденный в своей правоте, не принял их посулов всерьез, а потому оказался по-детски обескуражен, когда к нему, полчаса спустя, ворвалась группа автоматчиков и старший по званию дал ему четыре минуты на сборы. В первое мгновение он просто не осознал связи происходящего с предшествовавшей – и, как он это расценивал, частной - дракой, однако семь пар кованых сапог дали ему понять, что связь эта существует. И никогда позже (даже когда ему, возможно, уже и следовало бы пожалеть обо всем сразу) Андерс ни секунды не пожалел ни о зверстве расправы, ни о гнусном страхе, низводящем человека до уровня насекомых, ни о брезгливом чувстве дикой, непривычной беспомощности, когда его, с группой худых, угрюмо молчавших соотечественников, везли на восток – вдоль заброшенных, без единого тюльпана, полей – еще недавно, до этой войны, таких ярких, разворачивавшихся пред взором быстро гнавшего велосипедиста длинными разноцветными полосами, похожими на влажные акварельные коврики в альбомах его детства, – крестьянских полей, с гимназическим тщанием геометрически расчерченных словно бы им самим.

...Разумеется, он ни о чем не жалел, потому что всецело доверял деве Марии и считал, что, если Богородица назначила ему встретить жену таким непростым путем, значит, другого пути в Ее небесной канцелярии не значилось. Кроме того, подростком потеряв отца (чье тело, уже изрядно распухшее, выброшенное морем на далекий зандфортский берег, довольно долго возбуждало толки о самоубийстве), – Андерс, на двадцать шестом году жизни попавший в недружественное, как ему поначалу казалось, предместье Клауфбаха, успел за десять недель искренне привязаться к

** Движение сопротивления. (Нидерландск.)*

*** Фремдарбайтер. Буквально: иностранный рабочий. (Нем.) Закамуфлированное название для контингента насильно угнанных в Германию во время Второй мировой войны.*

**** Семейный (домашний) врач. (Нидерландск.)*

герру Цоллеру. Этот замкнутый, однако имевший большое уважение в округе старик, ежедневно деля трапезу с работниками своего обширного фермерского хозяйства (их было четырнадцать, – в основном, женщины из Восточной Европы), регулярно выдавая каждому карманные деньги, обеспечивая каждого одеждой, обувью, лекарствами, даже книгами, – все-таки выделял именно Андерса, причем делал это почти незаметно. Но Андерс, безошибочно улавливая драгоценные подтверждения этой ответной привязанности, хотел бы считать, что она проистекает не только от некоторого его сходства с погибшим под Смоленском двадцатилетним фермерским сыном.

Бухгалтерии войны понадобилось вполне определенное количество человеческих жизней, чтобы наконец выдать Андерсу разрешение на встречу его любви. В частности: ведь не разбомби Королевские ВВС Великобритании и ВВС США в ту чудовищную ночь, с тринадцатое на четырнадцатое февраля сорок пятого, завод оптических приборов «Zeiss» (а заодно и весь Дрезден), не окажись тогда горстка уцелевших фремдарбайтеров лишенными крова и пропитания (в том числе он – и она, приписанная к другому цеху и ночевавшая все эти годы, как выяснилось потом, рядом, в женском подохранном бараке), они никогда даже не увидали бы друг друга, хотя и находились зачастую, как тоже выяснилось потом, на расстоянии вытянутой руки, через стенку.

Однако после той ночи – яркой, как солнце – как взорванное в клочья солнце, – когда британская, американская, канадская авиация, добросовестно обрушив на Дрезден свой щедрый Апокалипсис (температура в огненном смерче которого превышала *полторы тысячи градусов по Цельсию),* – когда военная (освободительная) авиация, умело чередуя фугасные и зажигательные бомбы, выжгла в задымленном воздухе среди последних обломков зданий даже сам кислород – и лишь после этого сочла работу до завтра законченной, – когда лежавший в руинах Альтштадт* остался завален обугленными трупами, горы которых превышали высотой исторические памятники прежних времен, – он и она, еще не зная друг друга, еще друг друга не видя, еще даже не рискуя снять дифференцирующие нашивки, ринулись очертя голову к западной дороге, хотя она, как и прочие выходы из Дрездена, уже целенаправленно обстреливалась союзническими истребителями; беженцы гибли в огне и кровавой давильне, интенсивность которой была стократно усилена паникой; ей, как и ему – все это еще порознь – как-то удавалось спасаться от снарядов, осколков, огня – то чудом, то благодаря защите наваливавшихся на них трупов (что, в условиях военного времени, тоже являет собой вариант чуда).

Через двенадцать часов они оба, дрожа от измота (и уже держась за руки), медленно входили в ворота расположенной в стороне от дороги, нежно заштрихованной еще нагими вишневыми и яблоневыми деревьями клауфбахской фермы.

7.

Встреча любви, которую Андерс всей душой сразу же захотел направить в супружеские, освещенные Библией, берега, – и словно бы новое обретение отца – дали ему чувство дома, уюта и, главное, защищенности. И поэтому, в течение этих двух с половиной месяцев какого-то странного затишья, регулярно молясь в маленькой кирхе соседнего села, он искренне благодарил деву Марию за прихотливые, но, в конечном итоге, милостивые сюжеты. Андерс очень надеялся, что – сразу же по окончании этой бессмысленной, но, видимо, неизбежной мясорубки – он поедет со своей полесской красавицей в Утрехт, а там уж посмотрит, как пойдут дела: стоит ли основательно устраиваться дома – или же лучше вернуться сюда, на ферму, к давшему на это «добро» симпатичному старику. Несмотря на гибель сына, старик намеревался жить – по крайней мере, для своего хозяйства, – то есть для всех этих яблоневых, вишневых, грушевых деревьев, которые он считал своей семьей, нуждавшейся в его неустанных рачениях. Но... Человек *предполагает*, а Некто, будучи гораздо сильней (что, увы, нетрудно), *располагает*. И потому...

Дверь взорвана в щепки, оплавлен замок,
В воротах лавина – солдат, солдат.

* *Дословно: «Старый город» (нем.), часть Дрездена.*

И пол познает весь груз их сапог.
Глаза их горят.*

8.

Когда легионеры-триумфаторы, круша ворота, окна и двери, лавиной ворвались в еще поутреннему сумеречный дом, старый человек запоздало осознал бездонную глубину своей наивности. Предшествовавшей ночью, под нарастающий рев канонады, под изрыгавшиеся залпы игуанодонов артиллерии, – пока инфантерия со своей специфической карой, ориентированной на более мелкую, тщательную доработку, еще не ворвалась, женщины-остарбайтерки – все, кроме будущей жены Андерса – сбились в стайки, и, глядя куда-то вверх, словно бы сквозь потолок фермерского подвала, вздрагивая от каждого взрыва, загипнотизировано приговаривали: *идут братки... вот идут наши братки*; они были готовы в дальнюю дорогу домой, но не угадывали еще финала в концентрационных объятиях родины. Они еще не знали, что победители не снизойдут даже до видимости юридического следствия (да и где таковое тем взять?); они не знали, что самосуд в условиях войны (и, особенно, в условиях победы) приравнивается к Земному Возмездию и к Высшему Небесному Воздаянию; они еще не знали, что с точки зрения соотечественников – то есть, в соответствии с *народным сознанием* (блистательный оксюморон), – они, женщины-остарбайтерки, совершили *двойное предательство*, а именно: позволили врагу угнать себя на территорию врага – и, кроме того, во время наступления *своих,* не кинулись очертя голову в сторону фронта, чтобы, любой ценой, пробраться к своим, – напротив того: они бросились в тыл, в логово зверя, дабы там оказать поддержку «агонировавшему, исторически обреченному фашистскому режиму».

Вот потому, в то кровавое *утро вторжения*, каждый легионер, несмотря на состояние алкогольного опьянения средней и сильной тяжести, имел наготове *меч карающий* (назовем это так) – им следовало изменниц родины телесно наказать (жестоко, очень жестоко, но справедливо) – а также произвести среди них – *таким способом* – воспитательно-профилактическую работу – чтобы в другой раз, коль таковой выпадет, не медом бы им показался иноземный угон. Умри, а не дайся!

(Обычное дело: распатланная, распаленная донельзя убийствами и воздержанием военно-полевая Фемида, врываясь в мирные поселения, руководствуется, как и следует ожидать, не столь соответствующими разделами римского права, сколь яростными наущениями Ветхого завета. Поэтому именно анатомические части тела – око (за око), зуб (за зуб) и т. д. – являются объектами ее очень конкретных пенитенциарных действий. Таким образом, военно-полевая Фемида, и это закономерно, *уравнивает* два – по сути, полярных – подхода к проблеме человеческого воздаяния: «lex dura sed lex» и «à la guerre comme à la guerre».)**

Когда легионеры-триумфаторы – а они, видимо, одинаковы во всем мире – заполнив смрадом и грохотом весь дом, вперли в животы женщин еще неостывшие стволы автоматов, и, гогоча, снизошли наконец до четкого распоряжения («Встать, бляди, подстилки фашистские!! Щас, блядь, каждую будем нá хор ставить!!») – и женщина из города с труднопроизносимым названием Lutsk, которая неловко замешкалась, тут же была прошита насквозь, – фермер, застывший в проеме сорванной двери, мгновенно понял, что сейчас, под комментарий *фашистская шваль, эксплуататор советских граждан*, – автоматы упрутся уже в него.

Надо было как можно скорее спрятать работников-мужчин – в основном, славянского происхождения, которых победители на скором суде исторической справедливости могли бы счесть наиболее тяжким против него, германского фермера, *обвинением* (будто победители утруждают себя составлением *обвинений*!) – да, необходимо было где-то спрятать мужчин, которые в настоящий момент находились в летней времянке на окраине поля.

По всей деревне уже безостановочно трещали автоматы, в их краткие паузы врывалась ис-

* *Вариант финальной строфы из стихотворения Уистена Одена «O what is that sound...». Перевод Марины Палей.*
** *«Закон суров, но это закон» (лат.) и «на войне как на войне» (фр.).*

терика собачьего лая, звериных криков людей. Чудом выскользнув из дома, уже будучи посреди картофельного поля, по пути к времянке, герр Цоллер столкнулся на тропинке с Андерсом, который два дня назад был отправлен им в соседнюю деревню. Андерс, словно не касаясь земли, летел к женскому флигелю, удержать его, конечно, не представлялось возможным.

Когда фермер вбежал во времянку, она оказалась пуста. Переводя дух, он увидел в окне пылающий дом соседа – но так и не обнаружил четверых своих работников – точнее, он не заметил четыре тела, лежавшие навзничь метрах в двадцати от заднего торца времянки.

Когда он мчался назад, из хлева уже несся непрерывный, слитый воедино, душераздирающий вопль гибнущих животных и насилуемых женщин.

Теряя последние силы, старик медленно сполз по яблоневому стволу, который сам же любовно выбелил прошлой осенью... Будто со стороны, он вдруг увидел себя самого, яростно пропускавшего сквозь крупную мясорубку яркие и упругие, словно мясистая вишня, сочащиеся человеческие потроха. Однако все же это был не совсем он, зато потроха – сердце, печенка, кишки, легкие – ощущались как собственные. Густо испуская кровь, они перетекали в фарш, другого пути у них не было; в его черепе, с методичным поскрипыванием, монотонно вращался ржавый мясорубочный вал, старика несколько раз кратко вырвало, но это было не главное, – главным было то, что возле дверей хлева, уже снаружи, он увидел, словно в бреду, Андерса с его подругой, полностью обнаженной... нет, кажется, на груди ее белел маленький бюстгальтер... Эта деталь была уже не важна, а самое важное старик никак не мог ухватить. Сдирая на ходу рубаху, Андерс одновременно тащил оцепеневшую девушку к дому; изможденный фермер попытался ползти им наперерез, но не успел...

Из-за отчаянных воплей жертв и лая автоматных очередей Андерс не сразу расслышал стоны хозяина. Когда он внес герра Цоллера в дом, положил на жесткий диван и бережно напоил водой, мясорубка в голове старика слегка замедлила свой ход... Пока молодая женщина судорожно застегивала на себе чье-то платье, он, в несколько приемов, встал, отпер комод, вытянул оттуда небольшую стопку накрахмаленного постельного белья (она оказалась для него тверда и тяжела, словно охапка поленьев), обернул своей чистой рубахой и переложил на широкие ладони Андерса, затем слабыми своими руками выгреб из буфета хлеб, сухари, остатки картофельного пирога, даже умудрился втиснуть все это в холщовый мешочек, положить его сверху на бельевую стопку – и только тогда, медленно подведя свое тело к дивану, рухнул.

Мясорубка заглохла. Милосердное равнодушие затопило его по самое горло.... он безвольно поплыл в удобной лодке, устланной мягкой-мягкой овчиной... она пахла младенческим млеком... млеко было слегка нагрето материнском телом и нежным апрельским солнцем... его обняли и поцеловали с давно забытой любовью... и он не расслышал звука удалявшихся шагов.

Так он плыл и плыл неясное для себя количество времени в его отдельной от всего мира лодочке-колыбели, где течение времени стало уже обретать иной знак... Снаружи, в кромешной ночи чужого отчаянья, прошло, видимо, минут двадцать... Последним звеном между его смутным «я» и меркнущим миром вовне оказался хор божественных по красоте голосов, слитых в один мощный, всепобеждающей голос – прекрасная песня на непонятном языке пропала так же внезапно, как грянула.

9.

«Мы приехали», – сказал Андерс.

Они спешились. Он, внешне спокойно, протянул паспорта двум, военного образца, фигурам. Одна из них топорщилась и пузырилась, словно бы еще необсохшим хитином; другая фигура была уже привычно закована в поскрипывающую кожаную сбрую – табачно-буроватую, грубую, со следами потертости и тусклым блеском ороговения.

Из него вдруг будто извлекли позвоночник – легко и даже не больно, словно из хорошо разваренной рыбы. Андерс почувствовал себя кем-то мелким, слизнеобразным, даже не способным

пошевелить ложноножками, чтобы переползти из соленой лужицы нечистот в относительно пресную.

В ту же секунду, когда стержень Андерса оказался удален, жестокость физически превосходившего существа показалась ему арифметически правильной, хотя сам он, даже в детстве, не принадлежал к неограниченному контингенту сынов человеческих, которые, поймав жука, с любопытством выдавливают из него шарики кала, а затем и кишки. Андерс вдруг вспомнил (и это воспоминание показалось ему диким), что на пути сюда, в эту неизбежную точку, он был обеспокоен еще и следующим: а вдруг в самый ужасный миг (который виделся ему то смутно, а то прямо в деталях) на него нападет «медвежья болезнь», – и тогда придется, мерзко переминаясь, приумножая заранее спланированные унижения, дрожащим голосом проситься в сортир (как туда попроситься с достоинством?) – и все это к добавочному удовольствию мучителей...

В реальности все оказалось не так. Оказалось, если спихиваешь на кого-нибудь свою жизнь, все равно на кого, чувствуешь облегчение. Главное, сбросить эту ношу с себя самого, а там уж как Бог даст. (А Он щедро дает именно тем, кто равнодушнее прочих или сильнее прочих, что, во многом, одно и то же.) Каменный груз судьбы, непосильный для одного, наконец-то оказался сброшен в подвернувшуюся телегу. Телега пускай и везет.

10.

...Через много лет после войны, когда люди слегка отдохнут, а потом снова устанут, – некоторым из них начнет регулярно проникать в голову некая мысль, которой они будут, безусловно, стыдиться. А потому никогда не выскажут ее вслух. Мысль эта, не такая уж и крамольная (вспомним древних греков, назвавших фатум *своим словом* и уж одним этим объегоривших судьбу), – мысль эта звучит так: а вдруг некоторые из тех, которые ...которые стояли голыми в очереди... там, в концентрационных лагерях... в концлагерях аккуратной, трудолюбивой, богобоязненной нации... там, на высокоэффективных заводах по переработке теплого человечьего мяса... вдруг они, эти человеческие существа, *уже себе не принадлежавшие,* – наконец себя кому-то вручившие, а потому безучастные в этой очереди на выход, на вылет в трубу, - вдруг там, в этой хорошо организованной очереди, они почувствовали *покой и конечное облегчение*?

11.

Наши документы в чужих руках. Где-то в провале. В царстве иных мер и весов. Бумажки: целлюлоза и краска. Какая связь между ними – и возможностью снова видеть твои глаза? Или невозможностью этого, то есть смертью? Какая связь между ними – и знанием, что твои глаза очень скоро, даже ускоренно, могут превратиться в глазницы? Никакой. Никакой связи нет. Эта не для нашей с тобой головы. Не думать.

Несведущие даже в собственных усредненных душах состряпали вульгарный миф: за миг до гибели «пред мысленным взором человека» проносится набор земных эпизодов аж от самого внутриутробья, – они мелькают, пятна лиц в солдатском строю, – пятна лиц, сливающихся в белую ленту, ни одно лицо, ни один эпизод не нарушает заданного линейкой порядка: привычная, лишь запущенная на внеземную скорость, пленочка братьев Люмьер.

Все это чушь. Ни в жизни, ни во снах, ни в предсмертье мир чувств не осуществляет себя линейно. Мириады частиц разлетевшейся во все стороны капли не имеют и тени родства с общепонятной «очередью». И, кроме того: предсмертная секунда – она лишь снаружи секунда, а внутри она как раз и равна продолжительности пройденного пути. Не ускоришь.

12.

В миг, когда его судьба, вместе с судьбой не отделимой от него женщины, оказалась так грубо-овеществленно отданной в чужие руки, Андерс увидел свою жизнь именно единым разом,

всеохватно. Да: он увидел все эпизоды прошлого *одновременно*. Но, поскольку в такой форме они не поддаются понятному людям воспроизведению, остается выбрать из них лишь несколько и, вынужденно, применить все тот же *условный,* изначально несовершенный – заведомо искажающий чувства и мысли – *линейный ход.*

...Андерс видел море. Оно не было морем его страны, к которому надо подниматься – иногда даже по лестнице – и которое не увидишь с горы, потому что в его стране нет гор. Море, представленное его зрению, обозревалось им откуда-то сверху, с большой высоты. Воды данного моря не были собственностью какого-либо государства – то были Планетарные Воды Земли. Как и небо над ним, Планетарное море казалось гладко-синим, ровным, полностью безучастным к человеку. И оттого оно, Планетарное море, было страшным.

Затем Андерс увидел море уже с меньшей высоты, и тут он смог наконец разглядеть: красные черепичные крыши на берегу, кирху с куполами из черного мореного дуба и даже золотого петушка на верхушке; с восторгом заядлого рисовальщика, Андерс отметил мощную крепостную стену, змеиным изгибом повторявшую очертания маленького городка. На таком расстоянии море казалось уже почти понятным, словно бы одомашненным – как гигантский, однако же неопасный зверь.

Вдруг в море что-то поменялось. Белые молочные зубки начали прорезываться в нем здесь и там – этому помогал ветерок – детский, уже немного нервозный... Вот море стало зарастать острыми белыми зубками – быстро и сплошь... Сверкающее белозубое море! Каждый зубок был наделен еще маленькой короной, обрамленной еще меньшими зубчиками; эти же зубцы и зубчики – в таком же соотношении увеличенные и застывшие в камне – повторяли себя многократно, обегая поверху крепостную стену.

Но вот, откуда ни возьмись, налетает шторм; теперь море зубасто, даже клыкасто: каждый клык выпукл и гладок – цвет его тускл, желтоват... Ветер воет и воет; волны, горбатые волки, откровенно оскалясь, – рвутся и рвутся на берег – туда, к почти уже досягаемым, беззащитным стайкам потемневших, словно бы шоколадных, мокрых от страха детских куличиков. Вот волны-волки слизывают их вмиг – словно и не было... Несмолкаемый морской грохот – рокочущий ропот, глуховатый виолончельный бас – странно сливается с дискантом церковных колоколов...

Вот волны, уже боевые слоны, атакуя и атакуя, обламывают свои бивни о прибрежные скалы... Музыка, относимая ветром, заглушается, кроме того, шумом волн, но вот она разорвана в клочья, затоплена – и полностью уничтожена их яростным ревом... И все же это грозное море живет не само по себе: оно ненавидит человека, а значит, имеет живую с ним связь, оно бесится для устрашения человека, оно нацелено именно на человека, оно включает человека в сферу своего внимания, в бездны своей тайной жизни... Хотя бы и с целью его убийства – оно вынуждено с человеком общаться...

Однако морские бивни-клыки постепенно опадают, втягиваются, полностью исчезают – и перед тем, как стать снова ровным, самодостаточным, страшным, море показывает свой предпоследний облик.

Происходит резкое разделение цветов на две части. Одна часть, наибольшая по размаху, распростерта от самого горизонта: это ярко-синяя полоса. Прибрежную узкую часть, изящную окантовку, составляет словно бы зелень свежего винограда... Двуцветное море по-детски беззаботно играет само с собой на ветру, но вот в эту игру мощно вторгается ветер, и море словно бы мужает: это уже сине-зеленое знамя Земли, планетарный шелковый биколор...

Глубины моря и человеческого существа... Тени словно бы предвечно развоплощенных видений... Или это просто замена пленки в закрытом для постороннего глаза киноархиве памяти?

Хлев. Иноземные ратоборцы, ждущие, словно у ленты конвейера, своей очереди свершить самое справедливое в мире насилие. Бесполезные слезы. Бессменная кровь. Бессмысленное семя.

Безостановочное время. Она говорит: смотри, это мой муж. А потом: я беременна. Нет, не так... Она говорит: смотри, это мой муж, он голландец. Ну и что? (Их было много, этих озверевших ратников, любой из них мог рыкнуть: ну и что?! Никто не рыкнул.)

Их было много. Они были заняты. Чем? Что они делали? Они мародерствовали, насиловали, убивали. Но не только. Что-то еще... Мочились. Удовлетворяли голод. Рыгали. Сидели на корточках в ожидании очереди. Что-то еще... Хвастались трофеями. Отпускали шутки. Орали. Что-то жевали. Портили воздух. Что-то еще. Спорили. Валялись в соломе. Спали. Ковыряли в носу. Что-то еще. Хлебали воду. Обменивались адресами и чувствительными стишками. Гоготали. Хлестали водку. Целенаправленно ломали утварь. Поторапливали насильников. Комментировали их действия. Давали им советы. Что-то еще. Закусывали. Клацали затворами. Дрались. Курили. Что-то еще. Блевали. Показывали фотки. Резались в карты. Что-то еще... Пели.

Да, это.

Пели.

Они пели.

13.

«Не положено!» – рявкает пограничник.

«Что именно?..» – шепчет Андерс.

«Найн! – пограничник скрещивает перед его лицом огромные свои руки. – Дас ист ферботтен! – он говорит с марсианским акцентом. – Найн!! – снова, резко их соударив, он перекрещивает свои ручищи. – Ферштейст ду?!»

«Да, – шелестит сухим ртом Андерс, – я все понял».

Он ничего, конечно, не понял, – только послушно смотрел кино, как бы и не с собой в главной роли, – он смотрел кино, в котором один пограничник откатывает и *ставит к стенке* велосипед (потом, видимо, нас, скорей бы уж нас), – а другой – жадно, и, в то же время, с отстраненной ловкостью профессионала – ныряет по его, Андерса, карманам – выуживая, одну за другой, пачки сигарет, а затем, выгребая разом, зажатыми в громадной жмене: носовой платок, зубную щетку, гвоздь, скляночку йода, бинт, монетку, расческу, велосипедный ключ – и доныривает еще, за оставшейся культей сигаретки.

Итак, Андерс словно смотрел кино, где двое приземистых солдат увозят его велосипед (жизнь, тяготея к трагикомичному, тешится сходством концов и начал), – потом, словно сквозь завесу разбавленного молока, он увидел кувалдообразную бабу, похожую на бульдога с мокрыми, ярко-клюквенными брылами, которая знаком повелела возлюбленной Андерса следовать за ней, и в коридоре, стены которого были выкрашенном в цвет застарелых фекалий, знаком же, приказала ей зайти за грязную матерчатую перегородку...

В сознании Андерса бессильная ярость внезапно уступила место какому-то провалу. Окружающие предметы, словно покрытые толстым слоем снега, начали сливаться в ровную белизну... и наконец пропали в ней без остатка.... Слабый писк в ушах, тонкое произвольное позванивание перетекло в четкий ритмический перезвон, в carillon; Андерс понимает, что это кирха вызванивает свою полуденную музыку (было светло), и кидается к окну.

Сначала ему приходится повозиться с довольно тугим шпингалетом, и вот он уже пытается распахнуть окно, что не так-то легко: на карнизе, широком и ровном, словно каминная полка, лежит толстый слой младенчески пухлого снега. Новорожденный, снег нежно излучает хрупкую розовость и влажную фарфоровую голубизну. Половинкой окна, будто широким застекленным совком лопаты, с хрустом (и сожалением) сминая богатый меховой воротник, Андерс медленно оттесняет снег к самому краю, и –хоп! – где-то внизу – уже слышен глубокий и сыроватый щенячий плюх. Симметрично дублируя этот звук, Андерс проделывает то же самое другой оконной половинкой.

И вот холодный и свежий поток широко течет в спальню, окна которой, с утра, пока Андерс еще не проснулся, по самый край уже были наполнены свежей морской синевой. Море, незнакомое Андерсу, но о происхождении которого он догадывается (Великое Море Викингов, – так сразу называет он эту гигантскую акваторию), – да, Великое Море Викингов, сородичей фризов, начинает синеть сразу за кирхой: оно сияет от подошвы уступов до самого горизонта – летнее, праздничное, даже курортное. А по берегам, под лазурными лугами небес, под юным небесным куполом (где на дальнем краю сбились в стадо тучные белоснежные овцы), гордым королевским горностаем разлеглась пышная зима скандинавов.

Женственно смягчая уступы скал, сплошь в серебре прошвы, полотнища богатых снежных мехов вразброс украшены ярко-красными бусами крыш, разноцветными брошами фасадов. Вблизи броши оборачиваются облицовкой ровных, уютных, как детские кубики, стен; каждая стена являет собой идеальный образчик цвета: спелая малина – персик – малина со сливками – листья салата – шоколад с молоком – июльское яблоко – снова спелая малина – сок абрикоса – девственный вереск – мед – незабудка – срез банана – слоновая кость...

Андерс-подросток (примерно четырнадцатилетний) взбирается на подоконник, прихватив альбом, бокал с прозрачной водой и гимназический набор акварельных красок. Пока светит солнце, надо, во что бы то ни стало, хоть немного – наскоро, но про запас – напитать свое зрение (словно можно утолить его нечеловеческий голод!) – и все же крайне необходимо вобрать до предела и закрепить на бумаге эту простую вещественность счастья: редкую чистоту линий, распахнутую и ясную улыбку дня.

Резко встав с корточек, он уже почти полностью выпрямляется на подоконнике, когда земля и небо, быстро поменявшись местами, но словно не довернувшись, зависают наискосок, – он вылетает куда-то – видимо, кувыркаясь, – потому что тело не успевает схватить определенности направления, но в ту минуту, когда его мозжечок, вращаясь волчком, вдруг замирает, в последний миг серой предобморочной тошноты, сознание Андерса наконец нащупывает нечто конкретное: он стремительно летит вверх. Ровным вертикальным солдатиком, с вытянутым «по швам» руками, – вот как пловцы прыгают вниз, чтобы уйти в глубину – точно так же он уходит вверх. Сначала берега и воды, словно балуясь, словно играя друг с другом (и еще включая в эту игру человека), несколько раз стремительно меняются местами, как это бывает, когда отчаливает корабль, и пассажир, перебегая с борта на борт, быстро теряет ориентир. Но вот полоса берега, еще покачиваясь, начинает занимать назначенное ей положение. Оно тоже непрочно: теперь суша – казалось бы, безграничная суша – начинает стремительно уменьшаться; стоит отвести взгляд, и вот, в следующий миг, словно в обратном бинокле, Андерс видит ее уже крошечной, точечной, словно нездешней. Море, все более отчуждаясь, утрачивает наконец не нужную ему связь с человеком – и вот, посреди первобытной дикости вод, суша, к ужасу предоставленного самому себе Андерса, становится вдруг целиком обозримой.

Это остров.

Он весь подставлен небу и глазу, такой беззащитный и почему-то единственный. Словно погружаясь в море, остров неостановимо тает... Андерс, напрягая до предела силы, пытается – якорьком глаза – зацепиться хотя бы за последнюю точку земной тверди... но вот истаивает и точка.

Море, единовластное море Земли, ровным цветом заполняет все видимое пространство. Море сияет само для себя, потому что именно так живет кровь планетарного тела – однако в часы отлива оно милосердно дает возможность ощутить почву – тем, кто без нее не выживает, и вот Андерс уже видит свою жену (сначала сверху, потом со спины), – да, он видит ее, стоящую словно в другом измерении: она, *уже переведенная* через тридцатиметровую демаркационную зону, отвечает на вопросы пограничника в американской форме. Войдя в свое тело, мгновенно обжив

его внутренность и поверхность, Андерс обнаруживает себя рядом с женой... Вот они, вразброд, делают несколько шагов к *выходу*... Пограничник, приветливо улыбаясь, машет им вслед... Оторопело, двумя парами чужих ног, они *пересекают незримую черту.*

За этой чертой уютно пахнет всем сразу на свете – эрзац-кофе, ванильными булочками, карболкой, жженой бумагой, конской колбасой, дустом, керосином, масляной краской, селедкой, американской тушенкой и жидкостью от клопов: *они уже ЗА турникетом* – там, где идет, как и шла, будничная, привычно не сознающая себя жизнь. Андерс медленно сползает по стене возле выхода – но в последний миг резко валится на бетонное покрытие. Из его виска и уголка рта начинают тоненько вытекать, переплетаясь за ухом, две красные нитки. Пограничник рывком достает из своего френча шелковый носовой платок и – будто приобщая Андерса к избранически малочисленной касте живых – или в знак успешного завершения инициации – туго обвязывает белоснежной материей его лоб.

***

Geniet het goede ten dage des voorspoeds.

Во дни благополучия пользуйся благом.
(Екклезиаст, гл. 7, ст. 14)

***

Часть вторая
1951 и 1956

ER IS EEN TIJD
OM VERLOREN TE LATEN GAAN[*]

1.

На Пасху тысяча девятьсот пятьдесят первого года, взяв с собой Фреда и Ларса, пятилетних близнецов, и оставив Ирис, годовалую дочку, на попечение няни, они отправились поездом во Влаардинген, к матери Андерса

Да, это было именно так: сначала жена надела шелковое, прелестное, совсем уже летнее платье – с расцветкой из анютиных глазок, словно бы даже с запахом анютиных глазок – но он нашел, что вырез чересчур велик, и она, не споря, переоделась. Он отлично помнил, как она, равнодушно пожав плечами, слегка повела вверх левым уголком рта (над ним, крупинкой корицы, темнела родинка) – типичная ее гримаска, которую он любил до болезненного сжатия сердца. Да и вообще уголки губ ее – влажные, в смуглых подпалинах, – всегда немножечко лезли верх, будто уноворожденного щенка...

2.

Гости Берты ван Риддердейк расселись in een woonkamer[**] на мягком бежевом диване и в таких же креслах. Женщины и дети предпочли воду с сиропом; мужчины, а также и сама меврау ван Риддердейк, мать Андерса, сошлись (каждый по четверти рюмочки) на jenever.[***] Подняв рюмочки и бокалы, все, как на осмотре дантиста, с готовностью обнажили резцы, клыки и даже премоляры (малые коренные), затем, нестройно хехекая, протянули бессменное proooooost! – и каждый

** Время - терять. (Нидерландск.) Екклезиаст.*
*** В гостиной. (Нидерландск.)*
**** Нидерландская можжевеловая водка.*

сделал свой маленький мертвый глоток. Lekker?.. Lekker!.. Lekker?.. Lekker!.. Dat is waar!.. Heel lekker!.. Oh, mmm... erg, erg lekker!..*

Внешне все шло как обычно. В этом помещении (знакомом Андерсу со времени, когда он начал себя помнить), как и всегда в это время года, возле окна, на специальной подставке, стояло наряженное за месяц заранее маленькое пасхальное деревце. Оно состояло, по сути, из покрытых лаком и плотно приклеенных к искусственному стволу искусственных веточек. На каждой веточке, усыпанной набухшими почками, похожими на бородавки, а кое-где и листьями, сделанными все из той же бумаги, висели, каждое на шелковой голубой ленточке с бантиком, по три прелестных крошечных яичка, аккуратно и разнообразно раскрашенных. Узоры яичек, несмотря на пестроту, имели четко выдержанный стиль; все они находились в рамках голубовато-сиреневой гаммы. (Андерс хорошо знал магазин, где продавали именно эти яички: он пестрел витриной своей ровно через квартал.) На подоконнике стоял также хорошо знакомый Андерсу цыпленок в голубом, с оборочками, чепчике – и с голубым бантиком на шее; он держал в клювике-защепке пестрый веер поздравительных открыток, полученных матерью от родственников, соседей и знакомых в предпасхальные дни. Такие открытки в семьях их круга обязательно выставлялись на всеобщее обозрение: смотрите, как у нас много *социальных контактов.*

Рядом с утенком покоилось пушистое гнездышко из белоснежных перьев, на дне которого блестели прелестно-гладенькие шоколадные конфеты – в виде крохотных, ровной формы овальчиков; все они были завернуты в тончайшую фольгу нежно-зеленого, золотисто-лимонного, серебряного, ярко-малинового и небесно-синего цвета. В детстве Андерс называл их «кроличьи какашки». Там же, на подоконнике, стоя на задних лапках, глядел в окно плюшевый, серый с белым, кролик по имени Дерек; подняв переднюю лапку, он делал прохожим: dag!**

Столик для аперитива был сервирован как обычно. Его украшало большое, размером с дыню, голубое яйцо на золотистой ножке, расписанное по всей поверхности маленькими золотыми курочками – и золотым узором по «экватору»: в этом месте яйцо можно было открыть; верхняя часть, откидываясь на миниатюрных петельках, демонстрировала ярко-синюю шелковую подкладку (тайный внесезонный подгляд пятилетнего Анди). Сегодня внутренность яйца была, разумеется, не пуста. В небесных шелках нежилась овальная бутылочка sherry, наряженная еще при покупке в белоснежное, с вырезанными в нем кружевами, бумажное платьице (имитирующее белок) и ярко-желтую (имитирующую желток) розетку по центру. Увидев бутылочку, каждому взрослому надлежало сказать prachtig!*** – и каждый взрослый это сказал. У подножия подставки, на которой красовалось яйцо, стояла бутылка jenever, а также четыре бутылочки мандаринового лимонада и три маленьких пузатых графинчика с фруктовым (рубиновым, янтарным, изумрудным) сиропом. Каждый графинчик был снабжен крошечным краником, работавшим, как пипетка. Возле графинчиков стоял большой графин с водой, а в специальном деревянном пенале блестели серебряные ложечки. Возле пенала красовался (подарок Андерса) новомодный откупориватель бутылок по прозвищу «де Голль»: после ввинчивания в пробку, его горизонтальная конструкция раскрывалась, напоминая распахнутые руки, – типичный, закрепленный в миллионах газет и журналов, жест легендарного генерала, всегда одновременный с его восклицанием: «О, моя Франция!» Невысокой стопочкой аккуратно лежали тисненые бумажные салфетки нежного канареечного цвета. Рядом, сияя, испускала лучи хрустальная вазочка с голубоватыми кубиками льда и серебряными щипчиками. Тут же голубела маленькая, размером с солонку, фестончатая розетка с жареными, уже очищенными, арахисовыми орешками. Крошечные, размером с наперсток, емкости для een borrel drinken,**** а также бокалы для безалкогольных напитков, выполненные в одинаковом стиле, были взяты из одного и того же праздничного набора на двенадцать персон.

** Вкусно?.. Вкусно!.. Вкусно?.. Вкусно!.. Да, это так! Очень вкусно! О, ммм, действительно, очень, очень вкусно! (Нидерландск.)*

*** Привет! (Нидерландск.)*

****Прелестно! (Нидерландск.)*

***** Пропустить рюмашечку. (Нидерландск.)*

3.

Наступил предсказуемо-неприятный момент: за неимением темы для общего разговора все принялись сосредоточенно покашливать, поправлять одежду и как бы поудобней устраиваться. Некоторые даже стали смущенно чихать, вызывая шквал участия: им наперебой желали здоровья – и прилично хехекали. Кто-нибудь малосведущий, например, иностранец, мог бы подумать, что присутствует в самый разгар эпидемии гриппа, а то и приема гостей во время чумы; более проницательный (и все равно не вполне правый) решил бы, что тут собрались совершенно не знакомые друг другу люди, – но в этот момент, к счастью, вошла большая дымчатая кошка, сфокусировав огонь острых умов на себе. Всегда хорошо, когда в доме есть кошка. У нас была кошка, но теперь нет. У нас теперь нет, но вскоре будет. У нас мыши, это плохо. Когда будет кошка, мышей не будет. Да, но пока нет кошки, мыши обычно есть. Кошка всегда немножечко линяет, это плохо. Я знаю средство для хорошей уборки. О, правда? Кошки иногда громко мяукают, это плохо. Да, это так. Это значит, им нужен партнер. Говорят, русские грозятся лет через десять запустить кошек в космос. О, правда? Мне так кажется, они собрались запустить собак. О, нет! Собаки существуют не для того, чтобы их запускать в космос. А разве кошки существуют для того, чтобы их запускать в космос, хе-хе? Если кошке не предоставлять мужа, она будет везде гадить. У русских, видимо, полно денег. Не в этом дело. Если б у меня были деньги, разве я бы отправил свою кошку в космос? Я бы тоже не отправил, а ты? Я бы тоже. А ты? И я бы нет. Ее даже кастрировать довольно дорого, а не то что в космос. Очень дорого ее кастрировать! А что бы ты сделал с этими деньгами? С какими? Ну, если бы тебе дали деньги, чтобы отправить кошку в космос. А сколько? Десять миллионов гульденов. А ее обязательно туда отправлять? В том-то и дело, что не обязательно. Тогда я бы... ну, я бы... хе-хе... а ты?..

4.

Перешли в столовую.

Здесь тоже было все как обычно в такой день. Смешанные букетики тюльпанов, похожих на слепые и хищные головки птенцов – белые, красные, лимонные, розовые и лиловые – стояли на своих традиционных местах: один букетик – слева на подоконнике и один – в углублении орехового буфета. Большой круглый стол, накрытый двумя скатертями (бежевой, толстой, как ватное одеяло – скрадывающей звуки, а поверх нее – розовой, более тонкой, и более короткой, с оборками по подолу), был украшен плоской вазочкой со специально закрепленными в ней свежесрезанными золотыми нарциссами; в центре букета красовались три плотных лиловатых цветка, называемых «змеиные головки».

Рядом с вазочкой стоял графин, на три четверти наполненный водой. На той же столешнице, по кругу, красовались белые плоские тарелочки, в каждой из которых лежал янтарно-желтый ломтик дыни, брусочек белого куриного мяса и два тонких, как зеленые нитки, перышка весеннего лука. Тарелочек было девять, ровно по числу обедавших, куда, кроме самой хозяйки, Андерса с женой и двух их сыновей, входили: старший брат Андерса, автомеханик Пим со своей женой, домохозяйкой, а также младшая дочь Берты ван Риддердейк, двадцатипятилетняя Криста со своим лысым, обжорливым сорокапятилетним Йоханом, владельцем крупного обувного магазина.

5.

Жена Пима, кстати сказать, приходилась жене Андерса землячкой (что соответствовало даже и нидерландским понятиям, основанным на тысячекратно меньших расстояниях): обе женщины происходили из русскоязычного Полесья, села их проживания были соседними – полтора часа пешего хода между. Более того: жена Пима, пройдя через самосуд над «изменницами родины и коллаборантками» и вовремя ужаснувшись перспективам возвращения, тоже бежала из рухнувшего Рейха – и тоже с фремдарбайтером (в ее случае с бельгийским французом, коммивояжером), который, все более трезвея от любовного хмеля по мере приближения к Льежу и потому решив

пустить в ход природную смекалку, довольно вероломно бросил ее – конечно, не желавшую с тем ни в коей мере смириться, ринувшуюся за ним вслед, и, уже на подходах к Бельгии, оказавшуюся в Нидерландах. Там, в небольшой эйндховенской пивной, где она, с целью передохнуть пару дней, взялась было мыть щербатые кружки и драить полы (приняв также условие о некоторых экстра-услугах приватного свойства для владельца), ее и приметил находившийся в деловой поездке Пим ван Риддердейк.

Следует заметить, что, будучи еще недавно компатриотками иных равнин, людьми, хотя и не знакомыми ранее, но имевшими вполне общее прошлое, и, в целом, являясь женщинами со значительно сходными судьбами (а, может, именно из-за всего этого), жена Пима и жена Андерса не только не дружили, но даже словно бы сторонились друг друга – факт, несколько удивительный и даже необъяснимый для их новообразовавшихся родственников.

6.

Кстати сказать, Пиму, в отличие от младшего брата, удалось не угодить в немецкий трудовой лагерь – причем исключительно по причине того, что он сумел вовремя откупиться у некого среднего немецкого чина, выкрав из буфета матери дорогостоящий китайский чайный сервиз (последним она невероятно дорожила как частью своего приданного). Поэтому именно не *забрав*, а *выкрав*: он знал, что мать ни за что не отдаст эту вещицу – даже для спасения старшего сына. (Равно как, впрочем, и для спасения младшего.) Вышколенная родителями-протестантами в жесткой и безоговорочной атмосфере «кальвинистской трудовой этики» – и, несмотря на переход при заключении брака в католицизм, – Берта ван Риддердейк считала, что ее сыновья *не развалятся*, если уедут поработать хорошенечко куда-нибудь за границу – хотя бы и в нацистскую Германию, что с того: любой труд им только на пользу пойдет.

После данного эпизода отношения матери со старшим сыном оказались на много лет прерваны. Когда же он вдобавок женился на голозадой девахе, да еще приблудной... (Кстати, сказать, гнев сходной причины со стороны меврау ван Риддердейк никак не распространялся на жену Андерса: та имела в своем характере *нечто*, вынуждавшее подходить к ней с иной линейкой.) Но что касается старшей невестки, этой размазни, этой голубоглазой водоросли... В итоге меврау ван Риддердейк (внедрявшая, с самого их младенчества, в своих наследников житейскую мудрость *бедный отец – не беда, а вот бедный тесть или бедный свекор – настоящая катастрофа*) – меврау ван Риддердейк дала деве Марии клятву забыть старшего сына навеки. Поэтому первое за долгие годы приглашение ею Пима, да еще с *этой босячкой* (послабление, обязанное, видимо, гибели Барбары, старшей дочери меврау ван Риддердейк, – гибели, случившейся два года назад), вносило в данный пасхальный обед дополнительную натянутость.

7.

Сели за стол.

Меврау ван Риддердейк, энергично демонстрируя гостям пол-амфитеатра своих фальшивых зубов, сказала по-английски (для жены Пима, которую она упорно продолжала считать иностранкой): «Now we have The Special Moment», – и все, включая жену Пима и жену Андерса, быстро и сдержанно перекрестились, а затем, сложив лодочками ладони, опустили глаза. Так прошла минута, и Андерс успел всем сердцем поблагодарить Святую Марию за Ее терпение и щедроты – и попросил не оставлять его семью Своим милосердием. После этого меврау ван Риддердейк снова перекрестилась, а за ней остальные. Затем она, спросив каждого, поочередно: «Wil jij?» (а жену Пима: «Would you like?»), – разлила по бокалам водопроводную воду. Захрустели накрахмаленные салфетки, приглушенно зазвякали ножи и вилки.

Дети, Фред и Ларс, вели себя очень хорошо, и Андерс ими втайне гордился. Оба мальчика внешне были поразительно похожи на жену, и Андерса до слез умилял еще один вариант ее прекрасного облика, четко проступавший в лицах и повадках двух маленьких мужчин.

8.

За пасхальным столом речь повелась о том, что сегодня погода немножечко хуже, чем вчера. Но завтра, кажется, будет немножечко лучше той, которую мы имеем сегодня. А послезавтра, кажется, будет опять немножечко хуже.

Разговор плавно перетек на цены. Оказалось, что есть вещи дорогие, и таковых много. А есть очень, очень дорогие, таковых меньше, но это все равно плохо. Потому что, когда ты должен платить много денег, из своего кармана, это всегда глупо и очень для тебя плохо. Когда ты покупаешь недорогие вещи, это всегда для тебя лучше, так ведь? Гораздо, гораздо лучше. Но и недорогих не так много. Потому что все хотят купить подешевле, а? О, йа-а-а... И поэтому необходимо правильно делать свой выбор, хотя это трудно. Да, это оч-чень трудно. Зато если покупаешь вещь подешевле, такая покупка экономит твои деньги, и это для тебя хорошо. Йа, нату-у-у-урлих!.. Но надо при этом видеть и качество вещи. Потому что если качество вещи плохое, то это значит просто выбросить свои деньги на ветер! А ведь это же деньги! Йа, нату-урлих!.. Разве это не глупо, а? Просто подарить кому-то свои деньги!.. Тогда уж лучше купить вещь немножечко подороже. Потому что если покупаешь вещь немножечко подороже, но вещь хорошего качества, то это, в конечном итоге, будет для тебя, значительно дешевле, так? Йа, безусловно. Не так уж глупо, а? Хе-хе. И это экономит твои деньги, а? Йа, йа, хе-хе-хе. А если ты покупаешь сразу несколько вещей, по скидке, то это также экономит и твою энергию, а? О, йа-а-а-а... Потому что ты покупаешь вещи один раз, а не много раз. Йа... Йа... Если покупать вещи много раз, но помалу, то скидка меньше. А если скидка меньше, это глупо. Нату-у-у-урлих. Надо стремиться к тому, чтобы скидка была большой, так? Да, это правда. Каждый человек к этому стремится, ту-урлих. Потому что когда ты получаешь большую скидку, это экономит тебе больше денег. Маленькая скидка экономит тебе меньше денег, это ведь очень плохо, йа-а-а? Поэтому когда вещи большие, хорошие и с хорошей большой скидкой, это лучше всего.

9.

За столом шутили. Йохан, супруг Кристы, рассказывал, как на прошлой неделе, в ресторане, официант забыл включить в счет мороженое, и как он, Йохан, показав ему пальцем на пустые вазочки, сказал: «А за это, дружок, ты собираешься платить из своего карманчика, да?» Все очень смеялись, особенно хозяйка дома, а багровый Йохан, трясясь от смеха, все повторял: «Из своего карманчика, да?»

Затем было любимое блюдо Андерса: вареный, очень горячий, приятно горчащий witlof,* обернутый тонким срезом молодого сыра, нежно на нем таявшем, а поверх еще обернутый аккуратным розовым платочком ветчины (которую и склеивал с witlof этот плавно таявший сыр). На стол, кроме того, было поставлено блюдо с крупнонарезанным салатом и два флакончика с густым и пряным, фисташкового цвета, соусом.

Когда все закончили свои порции, было предложено взять добавку. Каждый гость, улыбаясь и перемигиваясь с другими, слегка покачал округленной кистью возле своей щеки, что означало heel lekker, delicious, leuk!** Наконец закончили и добавку. На десерт каждый получил свой кусочек шоколадного кекса с долькой апельсина.

Когда все закончили свой десерт, меврау ван Риддердейк, снова подчеркивая чужеродность жены Пима (которая уже седьмой год понимала по-нидерландски), снова сказала «Now we have The Special Moment» (у нее был типичный «steenkool Engels»***); затем – легонько мазнув себе средним пальцем лоб, грудь, плечи, – оцепенела; снова легко и сухо перекрестилась; синхронно с ней все это проделали остальные.

** Витлоф. Распространённый гарнир. Салатный листовой цикорий, или эндивий. (Нидерландск.)*

*** Lekker (Нидерландск.) Вкусно. Delicious (Англ.) Здесь: восхитительно.Leuk (Нидерландск.) Здесь: классно, чудесно.*

**** «Каменноугольный английский». Так в Нидерландах иронично называют примитивный английский – имея в виду язык голландских простонародных эмигрантов (прошлых времён), которым те пользовались в Англии, нанимаемые, главным образом, в угольно-добывающую промышленность. (Прим. автора.)*

10.

Закончив основную часть пасхальную трапезы, гости Берты ван Риддердейк неторопливо вернулись в гостиную – то есть со стульев вокруг обеденного стола, проплыв сквозь дверной проем, плавно перетекли на кожаный, упоительно пухлый диван и в мягкие кресла вокруг экономно сервированного кофейного столика.

Дети, по их просьбе, были отпущены в маленький садик, находившийся прямо за раздвижною стеклянною дверью. Взрослые сели: кто на диван, кто в пухлые кожаные кресла возле низкого столика перед камином. На столике уже стоял деревянный, оснащенный ручками, поднос с двумя горками чашек, маленькой сахарницей, молочником в форме гномика и блестящим металлическим кофейником. Отдельно на подносе располагалась чайная группа (особенно привлекательная для Андерса, никогда не пившего кофе): по случаю Пасхи в ней красовалась маленькая оранжевая жестяная коробка с английским чаем. Рядом стоял фарфоровый дельфтский чайничек (на боках которого маленькие синие конькобежцы раскатывали по белому, с блеском, озеру, а вдали торчали синие заячьи уши мельницы).

Меврау ван Риддердейк взяла чайничек, сняла крышку, открепила висящее на цепочке серебряное дырчатое яйцо и откинула его верхнюю половинку. Потом она вытащила из орехового (сильно потемневшего от старости) пенала дозировочную ложечку, открыла жестяную коробку, и, несколько раз зачерпнув этой ложечкой сухих ярко-черных чайных личинок (встряхивая при том ложечку после каждого зачерпывания, чтоб та не была с горкой), она осторожно пересыпала заварной чай в серебряное яйцо, наполнив его чуть меньше, чем наполовину. Затем она закрыла яйцо, прицепила его к краю отверстия, тем самым подвесив внутри чайничка, и налила в чайничек из другого, более крупного никелированного чайника, вскипевшую воду. Дельфтский чайничек она быстро закрыла крышкой и водрузила на фарфоровую, тоже дельфтскую, круглую подставку в виде крепостной стены, внутри которой, посверкивая сквозь маленькие бойницы-сердечки, горели, согревая свежеприготовленный чай, три круглых, плоских, как таблетки, парафиновых свечки, vaccines. А никелированный чайник она отнесла на кухню.

На пути из кухни меврау ван Риддердейк подошла к ореховому буфету, отперла дверцу и, выложив из него в вазочку несколько мелких песочных печений, мгновенно сочла их глазами.

Печений оказалось десять.

Затем она, так же – молча, глазами, – сосчитала, сколько людей находится в гостиной.

Вместе с нею количество людей было равно девяти.

Она вернула одно печенье в буфет, закрыла дверцу и заперла замочек на ключ.

11.

Вот здесь-то, в гостиной, это и произошло.

Андерс даже запомнил точное время, когда это случилось. Возвращаясь впоследствии к этой страшной картине, он отчетливо видел часы с маятником, настенные, в темно-шоколадном футляре, висевшем между ореховым буфетом и двухметровым фикусом в зеленой кадке. Они были прибиты над тем же комодом, куда, пряча игрушки между вещами матери (перешедшими ей, в свою очередь, от ее матери и бабки), Андерс держал «на потом» терявшие, по мере его взросления, жреческие атрибуты детского царства.

Когда это случилось, те же самые часы над комодом показывали восемнадцать минут девятого. (Андерс запомнил это так хорошо, потому что часы оказались именно тем предметом, на котором он остановил, не зная, куда его деть, свой ошарашенный взгляд.) Затем, когда вступила в права, казалось бы, вечность, часы бухнулиполовину, и это словно отрезвило тех двоих, которые создали катастрофу: они рассмеялись и перестали. После этого Андерс, картинно ударив себя по лбу, сказал громким голосом, что детям надо бы лечь пораньше, они с утра нездоровы, и стал звать одеваться ничего не понявших, поднявших тут же отчаянный рев, детей. Под этот громкий отвлекающий рев, и свой, еще более громкий педагогический комментарий, стараясь не замечать растерянно-вопрошающего взгляда жены, он и ретировался на улицу.

12.

...Godverdomme,* шагая к станции, восклицал про себя Андерс, это нельзя было сравнить ни с чем! Абсолютно ни с чем! Он быстро волок к станции изобретательно упиравшихся, полностью одинаковых мальчиков, по мальчику в каждой руке, а она шагала по другому берегу канала – значительно, даже демонстративно отстав, вздернув плечи и засунув руки в карманы плаща, что не было в ее привычке. Так они шли, разделенные каналом, до самой станции «Vlaardingen Centrum».

Водворенные в поезд и посаженные друг против друга, дети отвлеклись заоконным мельканием и наконец успокоились. Она, отвернув голову, тоже стала было смотреть в окно, но в другое, в противоположной стене вагона, хотя там вскоре ничего уже не было видно, кроме все четче проступавшего изображения их же самих. Тогда, чтобы это не выглядело подглядыванием, она стала смотреть в пол.

Андерс, как бы заботливо разглядывавший своих мальчиков, на самом деле оставался сидеть все еще там, в материнской гостиной, онемевший и ошарашенный; он продолжал пребывать именно там, судорожно и отчаянно пытаясь найти трезвое решение. Случившееся казалось ему беспрецедентным. Он поправил шарф одному сыну, и тут же, машинально, поправил его другому, – и вот, этим привычно удвоенным действием, он наконец осознал себя едущим в вагоне – и словно подтолкнул упиравшуюся память, которая на самом-то деле уже давно держала наготове повтор.

13.

В этом самом месте, за долгие годы размышлений, память Андерса наловчилась делать некий трюк – точнее, крюк – с невозмутимостью завзятого лицемера ловко обходя момент катастрофы. И поэтому – сразу после того, как Берта ван Риддердейк обнесла всех печеньем, четко назвав каждого по имени (раньше, при жизни мужа, она всегда начинала с него, притворно-вкрадчиво произнося «Яаааанн?..», а затем, так же полувопросительно мяукая, *вступала в контакт* с остальными) – сразу же после того, как мать, следуя новому распорядку, поднесла печенья сначала жене Пима и самому Пиму (для ободрения и поощрения реабилитированных, а также демонстрации своей лояльности), затем мужу дочери и самой дочери, а уж потом жене сына, самому сыну и их сыновьям, которых специально позвали в дом, – итак, сразу после того, как Берта ван Риддердейк все это наконец проделала и завязался необременительный разговор (small talk) – Андерс – и это повторялось многократно – сразу же видел себя с женой и детьми уже в поезде из Влаардингена на Роттердам.

Защитное малодушие – главное свойство сынов и дочерей Божьих – то ли засветило на пленке его памяти, то ли «смыло» оттуда, то ли целенаправленно выстригло монтажными ножничками все *неприятные, травматические* эпизоды того особого, отдельно стоявшего вечера. И потому, когда Андерс в дальнейшем прокручивал эту зловещую пленку – точнее, когда пленка прокручивалась в его голове сама, самостоятельно, неизвестно откуда взявшаяся, и Андерс не мог ее ни остановить, ни убрать – ему, тем не менее (и как ни в чем ни бывало), *показывали* сначала, крупным планом, пол-амфитеатра фальшивых зубов его матери, обносившей печеньем гостей, а затем – сразу вслед за тем, встык, – Андерс уже видел жену, детей и себя все в том же поезде из Влаардингена в Роттердам.

Да, именно так. В Роттердаме, как всегда, они сделали пересадку. Поезд на Утрехт, едва отъехав от последних городских огней, вдруг остановился посреди темного поля. Дети дремали. Андерс потихоньку смотрел на отражение жены, которая, кажется, тоже спала, а может быть, притворялась.

** Буквально: «прокляни меня Бог». Переносно: «чёрт подери!» Однако это выражение в нидерландском несопоставимо сильнее, чем в русском – и, по степени «обсценности», а также эмоциональности, соответствует русскому мату. (Прим. автора.)*

Притворялась? Она не делала этого никогда. По крайней мере, Андерс так чувствовал. И очень в ней это ценил. Значит, надо ценить и эту ее, с позволения сказать, сегодняшнюю «откровенность»? Фортель, который она, вместе с женой брата, час назад отколола? Уж лучше бы она надела свое то, с дырою для сисек, потаскушечье платье! (О, святая Дева, о чем он, о чем!! как может он такое произносить даже мысленно?!..)

Андерс взглянул жене прямо в лицо. Она спала. Он принялся открыто разглядывать ее черты, знакомые до бесчувствия, которые, как он это понимал всем своим существом, не могут быть заменены ничьими другими до конца жизни – так же, как не могут быть заменены его собственные черты в ежеутреннем зеркальце для бритья. Ее и его черты могут только стареть, но не меняться по сути – зачитанный текст ветшающей книги. Зачитанный текст? Но эта ее выходка, мой Господь?! Это коленце, фортель?!

Поезд тронулся. Голова жены качнулась, и она открыла глаза.

Теперь – зевнув и поерзав, словно удобней устраиваясь на сиденье, – закрыл глаза Андерс. Но на изнанке его век только ярче вспыхнуло то, чего он отчаянно не хотел видеть.

14.

...Через несколько лет – точнее, лет через пять, когда он уже привыкнет к своему несчастью, как человек привыкает к отсутствию денег, еды, крова, близких, Андерс, мысленно переместившись в тот утрехтский поезд, вспомнит еще одну деталь, от которой, в момент этого видения, сон бесповоротно встанет где-то снаружи от его мозга.

В тот момент внезапной вспышки, озарившей это воспоминание, Андерс будет лежать в постели, рядом со спящей женой, и, закрыв глаза, играть в свою самую любимую игру, никому, кроме него самого, не ведомую: он будет восстанавливал в памяти одежки своей жены.

Механизм этого *восстановления материи из ничего* никогда не был понятен даже ему самому. Он ни разу не давал себе какого-либо специального задания, вроде того, что сосредоточься, дескать, только на красных или только на серых вещах, только на летних или только на зимних – или так: только на платьях или только на блузках... Вовсе нет. Он не пытался вычленить из потока времени какой-то конкретный период жизни, предоставляя тем самым в помощь своей памяти подпорки тех или иных незабываемых происшествий. Он не пытался вызывать к жизни овеществляемое *ничто* даже какими-либо заклинаниями или приемами, то есть переводить его в *нечто,* малодушно включая в процесс грубую работу условных рефлексов. Более того: он никогда не брался как-то «по-особенному» сосредоточиться на самом процессе этого восстановления, даже просто сосредоточиться – или хотя бы отделиться от лгущей, отвлекающей, бесперебойно крадущей секунду за секундой «реальности настоящего» (той самой «реальности настоящего», которая, как цыганка, отработанно задуривая клиента, стягивает с его запястья золотые часы.

15.

Начал Андерс свою игру когда-то с того, что пытался восстанавливать в памяти вещи собственные – причем вперемешку, как получалось, – детские, взрослые, юношеские, подростковые... Но вскоре он понял, что восстановленная вещь, уже с новой волной времени, снова относится в *никуда* – тускнеет, расплывается, исчезает... Переключившись однако на вещицы жены (что было, к его сожалению, не так «волшебно», как охота за вещами своего детства – ведь знакомые наряды жены были ему доступней во времени), Андерс продолжал свои магические сеансы.

И вот он станет привычно лежать рядом с женой – верный, любящий муж – а другой человек – отдельный, абсолютно независимый, а может быть, даже и ни в чем не совпадающий с первым – станет пребывать бог знает где – там, где возрождается прошлое.

Таким образом Андерс навыуживал за несколько лет этой игры довольно объемный ворох

жениных атрибутов – юбочек, платьев, туфелек, блузок, кофточек, свитеров, пальто, варежек – короче говоря, нарядов, которые он мог вспомнить с того времени, когда они вместе спаслись, – шляпок, шарфов (с конца сороковых их побывало у нее полно! она обожала легкие длинные шарфы, так что они были самым трудным для Андерса «заданием»); он воскресил как-то шубу из серенького каракуля, хотя это как раз не составило труда: шуба, за все эти годы, была у жены одна и воспринималась тогда, как нечто живое (даже заполучила имя: Grijsje); после нее жена стала носить только драповые пальто с меховыми воротниками. Андерс, улыбаясь, удивляясь себе, вспоминал даже ажурные чулочки, которые стоили кучу денег и покупались крайне редко, и конечно, рвались, и он ясно видел на некоторых из них (будто прозрачная стена времени явилась увеличительной линзой) даже поломку узора, резкую и уродливую, обусловленную вынужденной починкой.

Средств в их семье, начиная с пятидесятых, появилось достаточно (спасибо Америке, как с весьма двойственным чувством говорили окружающие), но, несмотря на это, жена с внешней легкостью переняла традиционную в их кругу скорбную и непреложную скуповатость, а потому (и, конечно, в силу природного дара) без каких-либо затруднений значительно усовершенствовала свои навыки в шитье, вязании, даже вышивании (проделывая эти чудеса домоустройства ловко, весело, виртуозно) – так что выглядела она, к гордости Андерса, как принцесса. Скромная, как принято в Королевстве, и оттого вдвойне прекрасная.

Он наслаждался, вытаскивая из небытия, – да, из полного, безнадежного, казалось бы, небытия, разнообразные, имевшие только ее запах, предметы; он научился восстанавливать их до таких мелочей, что отчетливо видел на ее одежках, скажем, двенадцатилетней давности не только фактуру самого материала, но мелкие особенности пуговиц, или плохо скрытые следы перелицовки (к примеру, на драповом пальто песочного цвета), или едва заметную потертость от узкого кожаного ремешка на платьице из темно-каштанового, в крупный рубчик, вельвета, или штапельные нити, еще торчавшие из клетчатого подола свежеподрубленной юбки.

16.

Той ночью, в июне тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, как раз после того, как они отметят одиннадцать лет со дня свадьбы, Андерсу придет богатый улов. Он неожиданно выудит из небытия темно-лиловую, в черных капроновых кружевах, шелковую camisole, привезенную им для жены из Марселя (это была одна из первых в его карьере деловая поездка за рубеж).

Но сразу вслед за тем, после такого, казалось бы, мирного начала, перевозбужденная память сыграет с ним жестокую шутку. Сначала ничего не подозревавший Андерс даже почувствует – не носом, но мозгом – запах этой французской camisole: легкий аромат ванили, лилии и гиацинта; жена, спиной к Андерсу, будет стоять перед трюмо, сняв с себя по его просьбе это платье, с узором и запахом анютиных глазок, малоуместное из-за большого выреза на груди, и, пока она так будет сначала стоять, а потом примется искать в платяном шкафу подходящую замену (Андерс в первые годы их супружества никак не мог привыкнуть, что ее платьица, блузки, юбочки – все это разнообразно-прелестное, капризное, милое, женское – тесно, даже бок о бок, висит вместе – да, *вместе* с его вещами; часто, когда ее не было рядом, он открывал дверцы шкафа, садился напротив и, как деревенский дурачок, неотрывно любуясь, тихо смеялся), – пока она примется искать замену, Андерс, на экране памяти возьмется потихоньку – не как законный муж, а как гимназист, краснеющий от волнения подросток, – разглядывать ее точеную, словно не тронутую родами фигурку, – она, эта фигурка, будет обтянута лиловым, в черном кружеве, шелком, – вот жена энергично, с совещательным выражением повернет к нему голову, – густые, отливом в платину, гладкие волосы (снова отросшие после того, как она состригла косу), – гордые полудлинные волосы, своей упругой силой отщелкнув с затылка черепаховую заколку, тяжким шлемом спадут ей на плечи.

...Наконец жена выбрала, в тон к глазам, длинное платье тончайшей темно-синей шерсти. В этом строгом наряде, в каком она словно бы родилась, ее фигурка казалась такой тонкой, такой беззащитно грациозной, что хотелось плакать. Жена приколола к левому плечу маленькую серебряную розу. Вот эта самая брошечка, которую жена потом потеряла, про которую Андерс, казалось, забыл, бесконтрольной своей иголкой резко и глубоко вонзилась ему прямо в мозг. Память, рванув узду, взвилась, как ужаленная, и Андерс вдруг увидел знакомый уже эпизод *из другой точки*: да, именно это платье, с этой розочкой, было на жене тогда, *еще до* их нахождения в поезде Роттердам-Утрехт – и даже раньше – *еще до* их нахождения в поезде Влаардинген – Роттердам – и раньше, раньше – да, раньше, а именно: в гостиной его матери, на Пасху тысяча девятьсот пятьдесят первого года, когда, неожиданно подсев к жене Пима, жена Андерса обняла ее за плечи – и запела.

И, почти сразу, жена Пима точно и сильно подхватила песню. Она сделала это так просто, будто они – жена Андерса и жена Пима – пели вместе ежедневно, привычно – так же естественно, как дышали. Более того, они пели совместно так, будто были дружны, взаимно любимы, даже родны. (А ведь дело обстояло как раз наоборот, и Андерс отлично знал это!)

Они пели так, будто осознали свое неизбывное, свое сладостное сиротство в этом непостижимом мире.

Они пели только для Бога.

Словно в последние минуты своей земной жизни.

А иногда они пели так, будто привычный земной мир виделся им каким-то иным. Наверное, таким же, каким был внутри них самих.

Они были слитны нерасторжимо.

Они пели.

17.

...Андерсу выпало особенно жестокое испытание, потому что он не знал их языка. Если б он знал язык, на каком они пели, он бы, возможно, еще мог защититься. Ведь в песне, которую принято называть народной, слова существуют лишь для того, чтобы как-то прикрыть душераздирающий смысл мелоса. В силу гибельной тайны, которой всегда обладает мелодия песни, ее словесный покров простодушно, как может, пытается отвлечь, отвлечь, увести слушающего в сторону от ужаса, то есть от истинного содержания: ох, ве-е-есел я, ве-есе-е-ел – в но-о-онешний ве-е-ечер!!!.. ох... ро... зычка... алая-а-а... Ну и весел, ну так что? – а *на самом деле* это про такое-то уж про отчаянное, про такое-то уж отпетое, лютое веселье смертника, когда до петли – шаг. (Да, может, он уж и сделан – иначе откуда там эта «розычка» похоронная?) Или – еще не легче: лютики-цветочки, зелены садочки, черемуха белая, ягодка спелая, в огороде репка, во поле береза... Вроде бы, все нормально, все пребывает на предписанных Богом местах, – а мелодия, отдельно и внятно, плачет-сиротится, жалится-вздыхает – о том, что счастья нет и не будет в помине, что и быть-то счастья не может, а есть лишь безнадежная тоска-разлука, лишь прощание на веки вечные; да и что такое жизнь человечья? печенка овечья. (Или, по словам классика, вот она, тройная формула существования: *неизбежность, недостижимость, невозвратность*.)

А что будет, если слова, в целомудренном своем милосердии скрывающие смысл песни, в силу каких-то причин (чужой язык) не могут отвлечь – влекомого к боли – сердца? Тогда пойманный – без наркоза, весь как есть, голышом – оказывается подставленным чудовищному, ни с чем не сравнимому разрушению. Мелодия песни, воспроизведенная голосом человека, проникает слишком глубоко – она, как пуля со смещенным центром тяжести, рвет человечье нутро по всем направлениям, и, покуда уж не оголит его до самого основания, не разворотит полностью, – до тех пор не успокоится.

18.

Андерс совсем не был к этому готов. Его мать, у которой, несмотря на формальный переход в вероисповедание мужа, кальвинизм был очень силен (пожалуй, именно он, без каких-либо примесей, и составлял ее скудную, плоскую, несгибаемую суть), – его мать, формально обращенная в католицизм не чаявшего в ней души супруга (а на деле, своей беспрекословной протестантской постностью нивелировавшая его личность так же добросовестно и успешно, как это делает асфальтовый каток), – меврау ван Риддердейк воспитывала детей в том непреложном духе, что петь-де уместно в гимназии (на уроке пения, под руководством учителя пения); можно и даже нужно петь – по нотам, в кирхе или соборе (где существуют специальные, предназначенные именно для пения, моменты службы); не возбраняется также иметь приличное хобби, а именно: занятия в хоровой группе, где люди совершенствуют свои навыки в пении по нотам, и эти навыки затем применяют в кирхе или соборе (в особый момент богослужения, предназначенный непосредственно для пения). Андерс никогда не слышал, чтобы дома, кто-либо из членов семьи, пел. Пело иногда радио, радиоприемник, но на студии петь вполне уместно, потому что это работа людей, которые получают за нее деньги и платят из них налоги.

19.

Один раз, он это хорошо помнит, пели гости.

Весной тысяча девятьсот тридцатого года отмечался сорокалетний юбилей его отца, Яна Хендрика, – в том же самом Влаардингенском доме. Это был год некоторых перемен: отцу предложили службу старшего бухгалтера в роттердамском порту; купив себе подержанный желтый Renault, он уезжал в свой офис до самой ночи; Барбара, заканчивая уже предвыпускной класс женской гимназии, пристрастилась к написанию стихов (тайное стало явным): двенадцатилетний Пим, напротив того, из-за беспробудной своей тупости в гуманитарных предметах, был из гимназии переведен в обычную школу; десятилетний Андерс посвятил свободное время моделированию яхт; в помощь меврау ван Риддердейк, для ухода за пятилетней Кристой, была нанята орраs:* Лили, молоденькая вольнослушательница Королевских курсов живописи (которая, кроме того, взялась давать бесплатные уроки рисования для Барбары).

Итак, гости, их было шестеро (drie steltjes),** съели по кусочку маленького апельсинового кекса, выпили по наперсточку домашней наливки и, со значительными лицами, выстроились полукругом. Один из них, видимо, избранный главным на этом мероприятии, объявил сидевшим на диване хозяевам, что сейчас их вниманию будет представлен «малюсенький сюрпризик». И, хотя хозяевам было абсолютно понятно, о каком именно «сюрпризике» шла речь (все участники секстета уже держали ноты, и на листах большими черными буквами было отпечатано название псалма), они принялись – как бы ничего не понимая – делать домиком брови, по-коровьи вывертывать губы, в изумлении надувать щеки, с придурковатым видом переглядываться – и, пускать в оборот главный компонент их политеса – самоуничижительное похехекивание, которое должно было переводиться как «ах, что вы, что вы, мы не стоим подарков». После этого ритуала, длившегося, в целом, минуты две (так как хористы похехекивали ответно – причем так же, с подчеркнутым смущением, по-коровьи вывертывая губы, – что должно было означать «ах, вы стоите гораздо, гораздо большего, чем наше скромное любительское пение»), – итак, после этого неизменного ритуала, лица, запланировавшие петь, на протяжении одной минуты добросовестно манипулировали своими голосовыми связками, строго контролируя регламентированную воодушевленность. Лица у них были сосредоточенные, как у налоговых чиновников, – но, вдобавок к тому, они были скромные и благостно умиленные – как у порядочных, всеми уважаемых, никогда не знавших нравственных колебаний людей, которые сейчас исполняют свой честный долг, а, возвратившись в свои дома, удовлетворенно поставят соответствующую галочку в своем богоподотчетном гроссбухе.

* *Няня. (Нидерландск.)*

** *Три парочки. (Нидерландск.)*

После этого культурного (и, кстати, что немаловажно, бесплатного,) приложения к десерту – родители прилично поаплодировали, поохали, понадували щеки, вперебивку и как бы изумленно квохча «lekker!.. lekker!.. leuk!..», мелко поблеивая «perfe-e-ect!. perfe-e-ect!..», а участники секстета снова, сообразно своему положению, прилично похехекали.

20.

...Анди, говорит он себе, боже, боже! Разве это твои глаза, твои уши? Что произошло? Почему? Зачем? Твоя душа свой прочной, надежной, как корабельный канат, пуповиной, изначально и навсегда привязана к этой намывной, бедной земле – к рукотворным польдерам, растительность которых лишена запаха (словно оскоплена на корню), – к этим дамбам, кажущимся иностранцам (а теперь и тебе) воплощением сумасшедшей инженерной мысли марсиан-осьминогов, – к этим скудным полям, где горизонт обрывается на расстоянии вытянутой руки; твоя душа навеки принадлежит этим ландшафтам, сумрачной, словно нищей, погоде этих ландшафтов, а главное – она принадлежит обитателям этих ландшафтов. Коротка пуповина, короток твой поводок – а при этом глаза твои смотрят на родную твою землю, на самое твое гнездо, на дом твоего детства – так отчужденно, с такой далекой, словно уже за границами жизни, дистанции! Поводок-пуповина, как ни рвись, не отпускает – но и дистанцию отчуждения, как ни старайся, не сократить... Андерс, Андерс! Как это могло с тобою случиться? Почему? Зачем?

Анди, говорит он мысленно, вернись к себе, прежнему! Как? Никто не знает, как именно. Но ты постарайся, Анди! Сейчас... Сейчас... Надо предельно сосредоточиться... Вот, например, по поводу жены... Если бы я был прежним, то есть до встречи с ней, что бы я подумал в связи с выходкой этой женщины?

Я бы подумал: бывают, конечно, к примеру, пьяные. Взять хоть бы футбольных фанатов: нахлещутся пивом, как свиньи, а потом горланят бог знает что – и песни, и не песни. Но ведь сейчас для таких случаев – например, в Амстердаме – впереди толпы – беснующейся, ревущей, готовой крушить материальные ценности – на расстоянии трехсот от нее метров – едет специальный отряд конной полиции, оперативно разбирающий стеклянные конструкции трамвайных и автобусных остановок, а сзади толпы, тоже на расстоянии трехсот метров, следует другой специальный полицейский отряд, который эти же конструкции оперативно собирает. Так что от такого пения никто и ничто не страдает, как если бы люди и вовсе не пели.

Однако моя жена не была *в тот момент* пьяной! (Она не бывала даже навеселе – никогда.) И та, которая с ней пела, жена брата, тоже пьяной совсем не была! А это еще хуже. Если б они были пьяны, к ним можно было бы отнестись снисходительней. Но они не были пьяными, не были даже навеселе! Так что же тогда?..

Нет, это понятно: у каждого человека есть свои темные стороны... животные проявления... Но ведь существует вполне определенное место и время, где и когда эти стороны позволено проявлять! Если тебе так уж охота поглядеть канкан, или, скажем, вывернуться наизнанку, то есть сплясать его на столе самолично, так иди в соответствующее заведение, благо таких после войны развелось, как блох! Но отплясывать канкан (*а это было куда разнузданнее канкана*) – но выворачиваться наизнанку – в приличном доме, перед матерью и родственниками собственного мужа! Что ты этим хотела сказать?! Что именно, in godsnaam,* ты хотела?!

И снова – они поют.

21.

и они поют,
и они поют,

* *Ради бога. (Нидерландск.)*

и цветет алой розой у каждой
разверстая влажная рана горла,
и цветет жарким цветом,
маковой пьяной кровью,
цветет разверстая рана горла,

и они поют,
и они поют,
словно целуются-любятся,
словно совокупляются,
да: бесстыже и жадно совокупляются своими влажными ранами,

и они поют,
и они поют,
и каждая вплескивает свою дикую кровь в другую,
и не может остановиться,
и каждая заглатывает дикую кровь другой,
и не может наглотаться,
и обе они захлебываются-заливаются, жены поющие,
и обе они захлебываются-заливаются, жены грешащие,
и обе они захлебываются-заливаются, жены ликующие,

и все глубже,
все глубже,
все глубже дышат;

и они поют,
и они поют,
и первая впадает в кровоток второй –
и словно бы тонет
для жертвоприношения Жизни,
и вторая впадает в кровоток первой –
и словно бы тонет
для жертвоприношения Смерти,
и обе они тонут,
и тонут, и тонут,
и обе, необузданные, выныривают,
и обе выныривают, неугомонные;

и они поют,
и они поют,
и вливают дыханье друг другу уста-в-уста,
и проводят друг другу открытый массаж сердца,
и прижимаются сердце-к-сердцу,
и, в едином ритме сердцебиенья,
кричат от боли и кричат от восторга,
кричат от Жизни и кричат от Смерти;

и они спасают друг друга,
и они друг друга губят,

и они голубят друг друга,
и они друг друга терзают,

и они любовно истязают друг друга,
и они беспощадно друг друга нежат,

алая кровь наступает, черная подчиняется,
черная берет верх, алая усмиряется;
алая побеждает, черная иссыхает,
черная закипает, алая леденеет.

они обе – две женки-зверины,
они мехом покрыты,
да, лохматых две женки-зверины,
они мехом заросши,

и женки плачут-поют:
для чего, для чего густой надобен мех?
да, и поют они, плачут:
для чего, для чего нужен-понадобен мех тот красивый?

мех понадобен, чтобы любить,
гладить и целовать,

мех понадобен, чтобы убить,
шкурку содрать,

и одна из них, из женок поющих,
жена Андерса,
сильная она, бархатная, теплая,
и она ловит-улавливает другую жену
своим мягким голосовым жгутом;
и зааркanивает ее своей ворсистой голосовою петлею,
и обвивает ее нежным ворсом, и связывает, и ведет за собою
в любовь-рабство,
в освобождение-смерть;

и другая жена из женок поющих,
жена Пима,
истерзанная, слабая,
шелковистая, льдистая,
и подает она голос свой
всегда нежданно, словно нечаянно;

и она высоко-высоко вскрикивает,
и резко взлетает в сильнейших мгновениях боли
прямо в смерть,
и страшно взлетает в сильнейших мгновениях боли
прямо в бессмертие,

и снова покорно умирает,
и снова медленно затвердевает в ледяной сукровичный кокон;

но та, первая, жена Андерса,
бросается поперек этому колдовству,
этому смертному оледенению,
и терзает-пытает ее, вторую,
ручьем-кипятком,
ручьем-кипятком
своей червонной, черной своей крови;

и та, первая, жена Андерса,
она низкогласая властолюбица, вот она кто,
и она стонет-взыхает, вот она как,
и она воет-скулит, вот она как,
и она рычит-повизгивает, вот она как,
и захлебывается блаженством боли,

но та, вторая,
исплакавшаяся водоросль, вот она кто,
обездвиженная, замороженная, вот она какова,
поначалу безвольная, вот она какова,
и она медленно-медленно заледеневает потверже,
потверже, погорше, ой да погорше заледеневает она,

и та, вторая,
она безучастно пронзает,
да, безучастно,
и вот она, ой, безучастно пронзает,
бубновое сердце
той, первой,
ой, да, первой,
ой, да, той, первой,
ой, да, она безучастно пронзает
бубновое сердце
той, первой,

сталью высокого,
ой, да, какого у жен не бывает,
ой, да, какого у птиц не бывает,
ой, да, какого у флейт не бывает,
голоса-льда,
ой, да, льда-голоса,
ой, да, голоса-льда

22.

...Тогда, в утрехтском поезде, собрав все самообладание, стараясь говорить как можно более спокойно и ровно, он сказал ей: знаешь, мне кажется, если кому-то нравится петь, танцевать, или, скажем, заниматься спортом... то для этого есть специальные места... люди там собираются

группой, специальные люди... может быть, для твоего пения лучше всего подошла бы хоровая группа?

Его речь преследовала сразу несколько целей. Главное, надо было прервать это дурацкое, тягостное молчание. Потом... ему очень хотелось услышать ее голос. Он соскучился... и ему было страшно. Он хотел убедиться, что голос этой... женщины... тот же самый, что у жены... Кроме того, ему, этим подчеркнутым спокойствием своей интонации, хотелось немного ее поддеть. Он был бы рад, если бы она стала кричать – даже орать, надсаживаясь в этом пустом вагоне, – выть всем животным нутром, без стыда и срама, – как она не позволяла себе при нем, наедине, никогда, но позволила при всех, когда пела. Он хотел убедиться, что и он, ее муж, ее законный муж, может вырвать из нее вместе с криком эту ее потайную, затаенную нечеловеческую суть. Да, он, ее муж, может вызвать в ней эту страшную, неведомую ему ранее внетелесную страсть. И на самом последнем месте (это было так на него не похоже!) действительно было желание как можно скорей загасить раздор.

В это время поезд подъехал к Утрехту. Она легонько растормошила детей и стала надевать плащ.

«Ну так что же?» – спросил ее Андерс в проходе вагона.

«Ты прав, – сказала она, не поворачивая головы. – Я буду ходить в хор. – И, выйдя на платформу, добавила: – Кстати, я уже договорилась».

Вот с этой самой минуты, о чем он, конечно, не знал, судьба Андерса Виллема Францискуса Марии ван Риддердейка, включив триггер ускоренного продвижения, необратимо встала на путь гибели.

***

Dat ook de mens zijn tijd niet weet,
gelijk de vissen, die gevangen worden met het boze net;
en gelijk de vogelen, die gevangen worden met den strik;
gelijk die,
alzo worden de kinderen der mensen verstrikt,
ter bozer tijd,
wanneer derzelve haastelijk over hen valt.

Человек не знает своего времени.
Как рыбы попадаются в пагубную сеть
и как птицы запутываются в силках,
так сыны человеческие уловляются в бедственное время,
когда оно неожиданно находит на них.
(Екклезиаст. гл. 9, ст. 12)

***

Часть третья
1954 и 1958

ER IS EEN TIJD
OM TE KERMEN, TE WENEN, TE ZWIJGEN, TE GENEZEN[*]

* *Время - сетовать, плакать, молчать, врачевать. Екклезиаст.*

1.

У нее были огромные глаза, притом неправдоподобно прозрачные: казалось, ее лицо – насквозь – пробивают каналы неземного зрения, – так что, всякий раз, глядя в глаза жены, Андерс видел лишь воздух за ее головой.

Он заметил это не сразу – нет, далеко не сразу.

После памятной Пасхи прошло три года.

Жена Андерса уже три года ходила в хор.

Регулярно, без единого пропуска.

Вторник, пятница.

Вторник, пятница.

Вторник, пятница.

Вторник, пятница.

Эти дни стали для Андерса пыточными. Вот как бывают присутственные дни, так для него были привычно-пыточные. А дни между ними, что еще тяжелей, – обратились в мучительное ожидание неизбежного. Боль стала единственным, вытеснившим прочее, рутинным содержанием жизни. Боль, черными гвоздями, намертво, вбитая в каждый час ее скудного расписания.

2.

И вновь наступила Пасха.

И вновь оба брата и младшая их сестра, со своими семьями, собрались во Влаардингене у своей матери, Берты ван Риддердейк. И вновь гости сидели в гостиной, в столовой, в гостиной. Все было то же самое.

Хотя... Андерс поймал себя на том, что у него постепенно увядает желание участвовать в этой speling.* Ну да: het sop is de kooktoestel niet waard.** По крайней мере, в нем нарастало именно это чувство, которое, по правилам той же speling, надлежало строжайшим образом камуфлировать.

С каждым годом Андерс все ясней замечал, как разительно его жена отличается от его же родни. Одета она была так же, как все они, – в неброскую, но, тем не менее, достаточно дорогую одежду – да, в праздничную одежду людей среднего достатка, фантазии которых не дозволено простираться далее установленных их кругом границ. Говорила она почти без акцента, на те же самые темы, однако...

Это было уже не впервые, когда, после девятилетней совместной жизни, Андерс отмечал это «однако» – какую-то неспокойную разницу... На сей раз, сидя за пасхальным столом (сам не зная почему), он заставил себя мысленно сформулировать, в чем же данная разница заключается.

Ему удалось это не вполне, не всеохватно. Он остановился на частностях. Например: когда жена поддерживала разговор о погоде, она не надувала глубокомысленно щек, не морщила озабоченно лба, не вздымала брови как бы в порыве редчайшего изумления, в которое приходит мыслитель, сталкиваясь с неразрешимым метафизическим сюрпризом, – она просто называла данные погоды. Когда речь заходила о той же погоде, но уже с оттенком *как бы личной оценки*, она не вздыхала смущенно, не подкатывала глазных яблок, не пожимала робко плечиком – то есть не проделывала всего того, что проделывали другие, которые (вплывая в опасный океан *вольных мнений)* неизменно сопровождали этим мимико-пантомимическим кривляньем любую «отвлеченную фразу» – а именно: фразу, не касавшуюся денег. Она не делала того, что проделывали все другие, неизменно сопровождавшие этими лживыми жестами *кальвинистской скромности* любую элементарную фразу с оборотом «volgens mij».*** Более того: она не была озабочена тем, чтобы загромождать гулкие, нежилые пространства якобы диалогов или общих бесед такими (обязательными для всех других) клоунскими (то есть ханжескими) словесными построениями как: *ах, я этого не знаю достоверно... ах, я, конечно, могу ошибаться... ах, я не смею настаивать*

**В этой игре. (Нидерландск.)*

*** Соус не стоит керосинки. Тождественно выражению: игра не стоит свеч. (Нидерландск.)*

**** По-моему. (Нидерландск.)*

на своем сугубо частном мнении... ах, простите мне эту запредельную дерзость мысли... ах, кто я такой, чтобы судить об этом... Нет, она не делала этого никогда.

Например: «Вы не слышали, какая сегодня температура на улице?» Ответ почти всякого из сородичей и компатриотов Андерса был бы таков: «Я посмотрел сегодня утром, часов в одиннадцать (жесты, мимика: *ну, может, было не одиннадцать... я не утверждаю, что было ровно одиннадцать...*), – я посмотрел на уличный термометр за окном (жесты, мимика: *хе-хе, за окошечком...да-да-да...)* ну-у-у-у-у, я не знаааю (жесты, мимика: *ах, там, снаружи, было так много сложного, так много проблемного, о чем умолчу...*) – термометр показывал, по-моему, плюс семь градусов, или что-то вроде того... я не зна-а-а-аю...

А других тем для общих бесед в их кругу не было. Ну, налоги. Ну, как их по возможности уменьшить. Ну, скидки. Ну, типы страхования. Ну, автодорожные штрафы. Ну, распродажи. Так ведь на эти темы говорить – только нарушать здоровье. Поэтому о погоде – лучше всего: если уж зарядил дождь, то это случается не потому, что ты свалял дурака – что-то там продешевил, упустил, прохлопал – а с налогами-то ведь именно так... Со штрафами – тем более... Или с покупкой предмета за шесть гульденов, когда он, тот же самый предмет, продается в соседнем же магазине на тридцать центов дешевле.

Но в поведении его жены не было стандарта. Правда и то, что она не совершала ничего из ряда вон, это так, – однако риск некой непредсказуемости, как это постфактум осознал Андерс, витал вокруг нее непрестанно.

3.

Для Андерса трафаретные формы поведения, присущие его соотечественникам, перестали казаться сами собой разумевшимися (то есть не замечаемыми) – вскоре после его угона в Германию. До войны, дважды совершая летние туристические поездки в составе студенческих групп, он не заезжал дальше Польши. Именно там, в Германии, он впервые встретил людей, живших до своего пленения где-то намного восточней Польши, – людей, о которых он никогда прежде не думал, хотя довоенные газеты время от времени и печатали о них какие-то странные материалы. В трудовом лагере Третьего Рейха он начал улавливать *иной* интонационный фон и ритм речи, совсем не похожий на таковой в немецком языке, который он знал превосходно, или в английском, который он знал хорошо и очень любил, или в понятном ему французском. Он, конечно, не знал тогда, что этот фон мимики и жестов войдет в его жизнь своевольно и навсегда – и не только лишь с памятью.

4.

...Вернувшись в одиннадцать часов вечера с пасхального обеда, который закончился ровно в девять, уложив детей и слегка посмотрев телевизор, супруги легли в постель. Жена сразу уснула, что было ясно по ее дыханию – еле слышному, ничем не обремененному, ритмичному – такому, какое бывает только у молодых беззаботных зверей. Привычно установив этот факт, Андерс с какой-то даже веселой злостью отдался на произвол своей фирменной, не ведающей пощады бессоннице.

«Вот одинаковое же едим, жена, одинаковое пьем, одинаковым воздухом дышим, – думал он про себя, пока его пальцы с растерянной робостью поглаживали в темноте ее голову. – Откуда у тебя там такое?»

Он принялся было играть *в восстановление материи из небытия*, но почему-то, вместо одежек, с пугающей отчетливостью, увидел тот, трехгодичной давности, эпизод в утрехтском поезде – да-да, именно так: она сняла плащ...

Она сняла плащ, так как в поезде было жарко. Но, сняв плащ, она не знала, куда девать полуобнаженные руки: это платье было без карманов. Тогда она, удовлетворяя свое желание уединиться, прикрыла глаза. Поезд слегка убаюкал ее. Дети постепенно угомонились.

Когда поезд остановился, где-то посреди черного поля, Андерс увидел, что мальчики крепко

спят.

Он посмотрел жене прямо в лицо.

Она спала.

Он взялся открыто разглядывать ее черты, знакомые до бесчувствия...

Поезд тронулся, голова жены, качнулась и...

И... оскалила зубы?

5.

Когда-то у его матери была кошка, предшественница существующей: она умерла, когда Андерсу было уже шестнадцать. Та кошка была рыжая, почти сплошь рыжая, с белым нагрудничком, в белых носочках. Ее звали Lenore (в честь знаменитой Lenore Ulric, бродвейской звезды, на которую мать, соблазненная газетной накипью, тщетно пыталась походить во дни своей юности). Надо ли говорить, что этой Lenore позволялось абсолютно все: она даже обедала вместе со всеми, прямо на столе. На обеденном столе, который числился материнским приданым! Еще бы: ведь Lenore была членом семьи. Отец так и писал матери из своих деловых поездок: поцелуй (далее следовал хронологический порядок по нисходящей) Барбару, Пима, Андерса, Кристу и Lenore. А иногда даже так: Lenore, Барбару, Пима, Андерса и Кристу.

В представлении Андерса, который начал что-то соображать, когда Lenore была уже взрослой кошкой, она являлась, конечно, неотъемлемой частью – дома (как крыша), и мира (как мама), – и была она, разумеется, *человеком.* (Только самой лучшей породы.)

Так длилось до определенного момента, пока Андерсу не минуло, кажется, шесть. В тот день он как раз помогал матери купать Lenore в зеленом тазу с выщербленной эмалью, потом они вытерли ее белым пушистым полотенцем с желтыми цыплятами, причесали и положили греться (и облизываться) на красный бархатный пуфик возле печки.

Было *навечерие* (канун) Святого Николаса, и в гостиной, готовой для завтрашнего детского праздника, уже затопили печь. Через некоторое время Андерсу захотелось проверить, высохла ли Lenore. Он открыл дверь. Довольно большая, почти пустая комната откликнулась волнующим сердце эхом. Lenore на пуфике не было. Он стал звать ее, не заглядывая пока под диван, но слышал только собственный голос. Тогда он заглянул под диван, но не обнаружил ее и там.

С подоконника, держа в глиняных ручках игрушечный, туго набитый мешочек, на Андерса, улыбаясь, в упор смотрел Черный Пит. На смоляном, круглом, как сковородка, лице его рот казался особенно красным; белые, довольно-таки вытаращенные, пуговичные глаза, не спуская взгляда с лица Андерса, жили отдельно от улыбчивых губ. Андерс почему-то не выдержал его странной улыбки, и, отведя глаза вбок, увидел рыжий хвост Lenore: он выглядывал из-под занавески – в том углу, что служил гардеробом. Голубой, в белых оленях, плотный материал, наверху пышно сосборенный, свисал до самого пола с полукруглого металлического крепления под потолком, образуя темный, пахнущий странной одеждой гостей, закуток. Слева его еще защищала толстая и довольно высокая (для сидящего на полу Андерса) боковая стенка дивана: это была крепостная стена. Справа это пространство отгораживал деревянный бок мощного сундука, за которым, весь в бело-голубых изразцах, сиял (в тот вечер особенно жаркий) бок печки. Конечно, Андерс считал это укромное, самое уютное в доме место своим Королевством.

Он отдернул занавеску: Lenore, передними своими лапками, стояла на ящичке для обуви. Изо рта у нее свисала веревочка, шнурок от ботинок. «Ну что, высохла уже, mijn poessje?*» – Андерс протянул к ней руку, но тут веревочка как-то сама по себе дернулась... Lenore нежно разжала зубы: об пол влажно шмякнулась мышь; из ее оскаленного старческого, детского ротика полилась кровь. Дергаясь всем своим тельцем, мышь смотрела прямо на Андерса. Lenore игриво наклонила голову и, вытянутой лапкой в белоснежном носочке, ловко поддела мышь, но та не побежала, а только, перевернутая на другой бок, сильнее задергала хвостиком. Lenore пару разочков ударила в пол вытянутой лапкой, наклонила к мыши голову, еще раз обнюхала ее и принялась есть.

* *Моя кошечка. (Нидерландск.)*

Андерс, конечно, слышал, что кошки едят мышей. Он видел даже картинки в книжках. Но то – кошки. Разве можно представить, чтобы мышь съела, например, мама?! Lenore не была кошкой и, кстати сказать, для Андерса ею так никогда и не стала. Но, нечаянно выдав свою природу нечеловека, так и не став кошкой, она превратилась в некое *существо*, которому Андерс не знал названия.

Переборов истерику, он не мог перебороть рвоты - позже, за столом, на котором это *существо* сидело как ни в чем ни бывало, жадно лакая молоко из материнского блюдца. Но родителям Андерс так ничего и не сказал. Он по опыту знал, что отец будет кричать: «Что из тебя получится, Андерс!» – и хорошо еще, если дело ограничится криком.

Через несколько дней врач, не нашедший у Андерса никакой определенной болезни, посоветовал родителям отсадить сына от общего стола. Он решил, что у Андерса развивается вариант невроза (то, что в дальнейшем будет называться детской и подростковой анорексией), – невроз, вызванный, в данном случае, отвращением к быстрому взрослению сестры и брата – и нежеланием следовать им. Андерс постарался и в дальнейшем, вплоть до своего отбытия из дома родителей, сохранить за собой привилегию отдельного столика, а его перемену к Lenore никто не заметил.

...Так вот: тогда, в утрехтском поезде, взглянув, как впервые, на ровные, словно жемчужинки, зубы жены, Андерс с ужасом, понял, что, скорее всего, он имеет дело совсем не с женой... не со своей женой... но с кем же тогда?

6.

Пастор, долгие годы служивший во Влаардингенской Grote Kerk, отец Лоренс ван Бретт, худой, остроносый, противоестественно румяный, с неподвижной улыбкой в нижней части лицевого черепа, походил на тщательно вымытый, причесанный, хорошо загримированный труп. Убранный сегодня с особым блеском, он казался уже полностью приуготовленным к обряду погребения, так что оставалось загадкой, почему, зачем (и, главное, каким именно образом) его мертвое тело сохраняет вертикальное положение.

Андерс поймал себя словно бы не на своих мыслях. Он постарался сосредоточиться на белом одеянии отца Лоренса, служившего литургию. Этот белый цвет должен был, по идее, вывести мысли Андерса на путь чистоты и благочестия. Отчасти Андерс на этот путь и вернулся – ему (под нажимом больной совести) стало даже немного казаться, что – похожий в этой препоясанной альбе на Райского Акушера – там, за белыми с золотом рассветными облаками, – там, в сверкающей горным хрусталем Вечности, – отец Лоренс оказывает радостное родовспоможение вновь прибывающим.

Но... Глядя в лица прихожан, Андерс поймал себя снова словно бы на чужой на мысли, а именно: они, эти реальные люди, занимали его сегодня почему-то гораздо больше, чем невидимый Господь. Было в их лицах нечто такое, что вызвало к жизни одно детское воспоминание...

7.

Однажды его, семилетнего, отец повез в роттердамский зоопарк. Это было первое для Андерса посещение зверинца, – то есть места, еще издали пронзавшего ноздри и мозг диким, призывным воздухом настоящих тропиков – то есть ароматом жареного в джунглях мяса (brasserie* находилась сразу у входа) – и восхитительно-грубым, необузданным в своем мощном размахе смрадом навоза.

О, эти сказочные – экваториальные и транс-экваториальные звери! Там были дышавшие, как печи, бизоны в устрашающе-огромных шубах, там были разлинованные тушью матросо-матрасные зебры, лихо встряхивавшие смоляными гривами с бело-розовыми, вплетенными в них, цветами (что придавало им, африканкам, нечто японское); там были две двигавшихся серокаменных

* *Закусочная. (Фр.)*

горы: пара медленно сходившихся и расходившихся, неправдоподобно равнодушных слонов...

Зоопарк, что отметил отец, оказался устроен как малая модель планеты: звери и птицы были расселены там в том же соответствии, в каком их непоработенные собратья обитают в своих естественных регионах... Андерс был поражен всем сразу и – каждой божьей тварью в отдельности... Он даже стал позевывать от счастливой, не по плечу ребенку, усталости, когда увидел, как объяснил отец, *гориллу,* сидевшую за толстой прозрачной перегородкой.

Волшебно неподвижная горилла сначала была обращена к зрителям огромной своей спиной – черной, косматой, угрюмой... Но вот она резко повернулась на чей-то визг: на ее морде, черной и складчатой, как старый футбольный мяч, была написана брезгливая усталость и запредельное отвращение. Глядя на это существо (которому дети и взрослые, барабаня в перегородку, строили рожи), Андерс внезапно разрыдался – так громко и безнадежно, что смущенному отцу пришлось быстро увезти его домой.

Тогда Андерс, конечно, не мог еще объяснить, даже себе, причины своих слез. Сейчас, почти через тридцать лет, он, как никогда ясно, вспомнил тот день. ...Ему тогда показалось (если расщепить глухую тоску ребенка бесстыдно-опытным языком взрослых), ему показалось, что толщина прозрачной перегородки, достаточная для необходимой прочности (а на самом деле всего в два мужских пальца), – это воплощение некоего... («межродового», – как подсказал себе взрослый Андерс) барьера. То есть, еще до появления этого несчастного существа на свет (да уж! «на свет»! что за желчная фигура речи!), – еще тогда, в дозародышевом безначалии, данный барьер бесповоротно отделил его жребий – от жребия тех, кто может на него теперь невозбранно глазеть из *принципиально иного* пространства, из другого измерения... Всего два пальца... три сантиметра.... и это существо могло бы стоять вместе со всеми, с *этой* стороны прозрачной перегородки... и жить жизнью непойманного человека...

Но есть барьер. И вот перед нами как бы недочеловек... заарканенный недочеловек со всеми вытекающими...

8.

Всматриваясь в лица прихожан, большинство из которых он знал достаточно хорошо, Андерс не мог отогнать чужую, словно *вставленную* мысль. Это была даже не мысль, а ясная фраза, которая звучала в его голове так четко, что хотелось прокричать ее вслух, исторгнуть – может быть выблевать. Да, именно так. Впервые в жизни Андерс не пошел к причастию. Это не было сознательным жестом отказа, нет. Просто он, завороженный, не мог сдвинуться с места.

...Прихожане, причастившись, уже потянулись назад, к своим скамейкам... Вот они медленно, со значением, идут – высоко, как бы отдельно, неся над своими туловищами просветленные лица (несколько деформированные от прижатых к небу хлебных облаток, не проглоченных со скупой каплей вина, сухих, как наждак), – эти лица отмечены выражением покорности и негромкого, то есть вдвойне ценного, мужества – совсем как у человека, которому дантист, только что варварски выдрав зуб, напихал полный рот ваты.

Они идут, умиленные своей полуторачасовой кротостью, своей благонамеренностью, своим несгибаемым добронравием, а попробуй-ка – подойди к ним, когда они в тишайшем, скучнейшем приличии поглощают свой, безусловно, праведный, свой заслуженный, свой глубоко приватный обед, скажи: я умираю с голода! даже рухни перед ними в голодный обморок – они, оскалясь в улыбке – такой же трупной, как у отца Лоренса – скажут: «О'кей!» – и продолжат вкушать себе хлеб свой насущный, – вот что хотел прокричать Андерс. Нужна ли была вся эта долгая «эволюция духа» (если кто верит в такие штуки), вся мучительная история человеческого развития, полная фантастических жертв, взлетов, падений, океанов крови, безмерных слез, беспримерных предательств и подвигов, чтобы в конце Истории (а ее конец, к счастью, ясен и ощутим как никогда) прийти к тем же безусловным, простейшим рефлексам, то есть остаться наедине со своим голодом, похотью, страхом смерти?

9.

Когда жена рожала второй раз, она вела себя мужественно и немного грустно. А в первый раз все было наоборот. Она была очень весела сначала, но затем, по мере нарастания схваток, все ее настроения исчезли, исчезла и она сама, оставив Андерсу от той, кем была она прежде, лишь крик, черный распяленный рот и страшные мгновенья тишины – перед последующим криком. Это были крики животного, которого терзают, неизвестно за что, почему, и Андерс сходил с ума от того, что не знал, где же находится рычаг, который следует рвануть, чтобы все это разом закончить.

Он навсегда запомнил, как стоял у изголовья жены, не смея смотреть в ту сторону, где разверзлась огромная, словно бы первозданная рана. Его жена внезапно оказалась состоящей из трех черных ран-отверстий: исковерканного рта (который она, в крике, затыкала намотанной на кулаки простыней) – затем того, главного, в межножье (обритом, таком странно голом, желто-буром от йода, корейском, китайском, совсем чужом) – и того, что располагалось под ним: еще более страшного, никогда таким дотоле не виданного, грубо вздутого, синюшно-черного (от естественно разбухших вен, как попытался успокоить доктор).

Андерс избегал смотреть в ту сторону не от страха, а потому что жалел гордость и красоту жены – и, вот что было главное: потому что он тихонечко целовал плечи и руки жены, гладил ее голову. Когда жена, в промежутках меж схватками бессильно закрывала глаза истончившимися потемневшими веками, он тихонечко целовал ее родные, ненаглядные веки.

Через какое-то время врач предложил было делать кесарево: ожидалась двойня. Однако жена сделала жест рукой – всего один жест – и это сняло с повестки дня решение врача, который он довольно долго обсуждал до того с заведующим отделением.

Андерс запомнил еще вот что. Когда, в кратком промежутке между схватками, он выскочил за врачом в коридор, когда сказал – если бы я мог взять эту боль себе, когда добавил: ведь этот ужас даже представить себе невозможно, врач усмехнулся:

«Отчего же. И мужчина может себе это вполне представить. И даже испытать».

«Как?» – Андерс был уверен, что доктор шутит.

«Взять, например, инфаркт, – продолжал доктор. – Это ведь те же схватки, только в сердце. Этиология болевого синдрома, по сути своей, та же самая. Боль возникает потому, что мышечная ткань сердца (как и мышечная ткань матки) страдает от недостатка питания. Состояние ткани, в сущности, близко к некротическому. Внутри клеток нарушается процесс аэробного окисления... Эта патологическая биохимия, посылая сигнал в мозг, и ведет к острому болевому синдрому.

Разница между маточными схватками и инфарктом миокарда состоит лишь в том, что матка спазмируется по команде от половых гормональных регуляторов, пережимая своими же мышцами кровеносные сосуды, которые несут мышцам питание. Но, конечно, в правильных, неосложненных родах до инфаркта маточных мышц никогда не доходит...»

(«А при неправильных?!» – вскрикнул про себя Андерс.)

«А вот в спазме сердечной мышцы, – уже увлекся доктор, – сексуальные гормональные регуляторы, конечно, ни при чем.... Здесь правит бал гормон мышечной мощи, адреналин. Или другой вариант инфаркта миокарда: гладкая мускулатура коронарных сосудов спазмируется не мышцей сердца непосредственно, то есть не механически, а сама, в силу своих сепаратных причин, но результат тот же самый...»

Тут снова дико закричала жена, и этот вопль – какой-то новый, словно предсмертный, – мгновенно выбил из головы Андерса медицинскую блиц-лекцию.

Да он бы, в этой теории, и так ничего не понял.

Понял он это только на практике, когда десятого февраля тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года с ним, тридцатисемилетним, случился инфаркт.

10.

...Жена, ты помнишь пылающий Дрезден? Ты помнишь ребенка, выскользнувшего из рук своей матери – прямо в океан пламени, – и саму мать, которая безвозвратно ринулась за ним следом? Ты помнишь ли огненную дорогу из Дрездена, дикую пляску смерти, ее ликующий, идущий вразнос, оглушительный триумф? Ты помнишь ли ту долгую – и одновременно краткую – дорогу из ада в ад, – дорогу, полную крови, нечеловеческих криков? Ты помнишь ли ярко-красные, зеленые и синие человечьи кишки, висящие, как праздничный серпантин, на ветках деревьев, белых-белых от взорванного прежде мучного склада (а словно бы от ужаса)? Ты помнишь дорогу, где нам обоим, еще не знавшим друг друга (к счастью – еще не знавшим), удалось уцелеть только благодаря заваливавшим нас трупам? Ты помнишь ли, жена, во что превратился весной цветущий сад герра Цоллера? Ты помнишь ли своих соотечественников? Ты помнишь, как братья терзали и насиловали своих сестер?

Знаю, что помнишь. Оттого мы никогда и не говорили об этом. Я знаю, отчего ты, крича в голос, долгие годы просыпалась посреди ночи, а сердце твое колотилось так сильно, что дрожала кровать, но я вынужден был сначала бежать к проснувшимся детям – и только потом возвращаться к тебе, чтобы успокоить, убаюкать тебя в своих объятьях. И ты – ты тоже знаешь – отчего я, долгие годы, просыпался с криком и стоном, и уже взрослые дети, перепуганные, робко стучались в нашу спальню, а ты говорила им, сквозь дверь, – *все в порядке,* и долго утешала меня, как ребенка, в своих нежных объятьях. *Все прошло, Анди*, говорила ты, *все прошло, забудь...*

Не одна то ли, да не одна да во поле дорожка,
Во поле дороженька она про... пролегала, пролегла...

Ничего не прошло, жена. Но я не хочу и не буду перечислять реалии рукотворного ада, превосходно организованного богобоязненными, законопослушными, *несшими свет* европейскими гуманистами. Коммунистами, фашистами, англиканцами, католиками, кальвинистами. Кем еще? Какая разница. Массовый человек любую науку, идеологию, религию – всегда перекроит в таком ключе, чтоб сподручней было брата своего отправлять к праотцам.

И вот, несмотря на все это, мы с тобой выжили. Мы выжили, несмотря на то, что вся логика истории, весь ее механизм настроен на убийство, на убийство, исключительно на убийство. Механизм, работающий бесперебойно, с краткими, словно запрограммированными антрактами для воспроизводства объектов и субъектов убийства. Мы выжили в бойне, где сам воздух, сам воздух с выжженным в нем кислородом, был против нас. Мы выжили чудом. Мы родили детей – наверное, для следующих войн. Не думать. Лучше об этом не думать.

Попробуем жить сегодняшним днем. Какой сегодня, кстати, день недели, жена? Пятница? Не может быть. Пятница? И ты, жена, не пошла в хор? Ты не пошла в хор?! Ты сидишь тут, рядом со мной? У тебя на глазах слезы?..

Любимая, прости меня, что я так сильно мучаюсь – и этим мучаю тебя. Прости меня, что я, глава семьи, лежу на больничной койке, как последнее бревно. Нет, хуже бревна: бревно не гадит под себя, не отрывает от дел семью, не тратит на свое восстановление нужные семье деньги.

Я просто попробую объяснить тебе природу моего страдания. Видишь ли, я убежден, что Господь начисляет каждому вполне определенное, зафиксированное в специальной Его книге, количество страдания. Да: твердо зафиксированный размер страдания – в каких-то там единицах. Суммарное количество этих единиц человек изменить не в силах: это и есть Судьба.

Однако человек может менять форму страдания. Условно говоря, на этом свете для человека существует гуманный («свободный») выбор между глыбой льда и сковородкой: в результате он может оказаться вмороженным в лед, а может, по своему желанию, быть зажаренным. Ну, вариантов здесь, конечно, больше, чем два. Гаррота или «испанский сапожок», «вилка еретика» или «ведьмино кресло» – ну и так далее – почитай историю инквизиции.

Заросла то ли, да заросла да во поле дорожка,
Во поле дороженька она за...заросла, заросла...

Это я говорю опять же для того, чтобы показать тебе, сколь искренне мое чувство вины: я ведь предполагаю, что если бы не твой хор, для меня было бы мучительным что-то другое. Может быть, Господь назначил бы мне, эквивалентом, какую-нибудь изматывающую болезнь – кто знает? Просто назначил бы – и все. Потому что я счастлив моей любовью к тебе, а на этом свете так, видно, нельзя.

А могло бы случиться нечто еще более странное. Ты замечала ли, жена, что фантазия Господа нашего не беспредельна? Это особенно заметно – я имею в виду: заметно невооруженным глазом – на представителях животного мира – или на образцах растений – деревьев, цветов, плодов.

Он, Господь наш Вседобрый, иногда позволяет Себе лениться, потому-то и не изобретает ничего нового, а использует то же самое – только в чуть-чуть иных комбинациях. То есть комбинации эти – в том-то и дело – состоят из прежних, давно известных элементов.

К чему я клоню? А к тому, повторим, что Господь наш Непревзойденный иногда ленится. Да, Он бывает ленив. (А то с чего же ленивы бываем мы сами, созданные «по образу и подобию»?)

И вот сейчас, жена, я скажу очень важную вещь. Может быть, самую важную. Понимаешь, Он, Господь наш Всемудрый, в силу Своей лени, *не всегда снисходит до мотивации страдания.* Ее, мотивацию, ведь еще придумать надо, изобрести. А Ему, Создателю Вездесущему, лень. И вот тогда Он назначает индивиду страдание – щедрой рукой, полной мерой – просто так – *безо всякой причины.*

Я видел таких людей (страдающих как бы «без причины»: то есть без причины, *понятной* даже им самим) – сколько угодно. А ты, ты – разве не видела таких людей, жена?.. Видела. Где?.. Здесь.

Как по той, то ли да, как по той да по дорожке,
По той по дороженьке ни... ни проехать, ни пройти...

Именно. Я знал, что ты именно так и ответишь: *здесь* видела, а на своей бывшей родине – нет, никогда. Там мотивация всегда груба, зрима, а потому страдание словно бы легитимно. Блокадные очереди, очереди с передачами в тюрьмы, очереди на крестины, свадьбы, похороны – *сколько в одни руки?* И ты, жена, – не возмущайся, пожалуйста, это ведь ты же сама мне и сказала, только, видно, уже не помнишь – ты сказала мне как-то: *всю жизнь подворовывать и ни разу не попасться – вот оно, русское счастье.* Твоего отца, конечно, же, расстреляли, – и тот факт, что ты являешься моей женой, матерью моих детей и живешь на родине их отца, со своим мужем, сыграл здесь не последнюю роль – хотя (как ты сказала сквозь рыданья) «шпокнуть» его, как и любого каждого, могли бы и *за просто так,* не удосуживая себя, на манер Господа нашего, изобретением «причин». Твоя мать умерла с горя. И у тебя есть – понятные твоим людям – истоки для скорби.

А мне для страдания назначен твой хор. Ну, это помимо того, что мы пережили с тобой вместе – понятного всем без исключения: «война – это не есть хорошо для ее жертв». Чувствительность к боли, жена, – чувствительность вообще, как таковая, – у всех разная. В этом смысле не убедительно измерять боль длиной блокадных очередей (уххх! вот ему бы, этому Андерсу твоему, – то, это и то! ему бы вот *нашенское* попробовать! уххх! поглядели бы мы на него, на голубчика!). Боль, жена, сантиметром не измеряют. Страдание можно измерить только силой сострадания – если уж за то браться.

А сейчас, жена, действительно главное. Это все было вступление. Что же является для меня «действительно главным»?

Не ходи в свой хор, жена. Я прошу тебя. Я тебя молю. Если бы я мог сейчас, я бы рухнул перед тобой на колени, пал бы ниц. Сегодня же ты не пошла? Вот и не ходи потом. Не ходи больше. Пожалуйста, не ходи никогда.

Я даже не говорю: почему бы тебе не ходить нидерландский хор? Я знаю, тебе это совсем не надо. Есть то, что есть: ты вспоминаешь свою страну с неизменным страхом, а ходишь в ее, этой страны, хор.

И знаешь, я понимаю, в чем тут дело, хотя не могу сформулировать.

Но, как бы там ни было, я прошу тебя: не ходи в этот хор.

Жена, мы пережили с тобой мировую бойню. А вот хор твой мне не пережить. Я не знаю почему. Есть как есть.

Ты же видишь, меня убивает это. Что я могу сделать? Что добавить мне к сказанному? Я люблю тебя как последний дурак. Пожалуйста, не ходи в хор.

Вот что сказал бы Андерс ван Риддердейк, на следующий же день после срочной госпитализации, то есть одиннадцатого февраля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, лежа в палате кардиологической интенсивной терапии, принадлежащей Университетскому Медицинскому Центру (Universitair Medisch Centrum) города Утрехта. Вот что сказал бы он, если бы не был с ног до головы опутан датчиками и прозрачными трубочками. Если бы не спал – а он как раз спал – под воздействием седативных препаратов (даже во сне, тем не менее, слыша пение хора). Вот что сказал бы он, если бы умел говорить бесстрастно, красноречиво и складно. А он этого не умел, то есть говорить он стеснялся (хотя на бумаге изложить бы мог). Но Андерс бы все же попробовал сказать хоть что-либо, если бы рядом с ним имелся адресат этого монолога, жена. Но жены рядом с ним как раз не наблюдалось. Была пятница: закончив работу, жена пошла в хор.

Зародилась сильна ягодка во сыром она бору, только бору,
Заблудилась красна девица во темном лесу, только лесу.
Приблудилась красна девица ко быстрой она реке.
Выходила красна девица на крутенький бережок.
Расстилала бел-шелковенький платок, ой, да платок.
Выставляла водочки крепкий полуштоф, да полуштоф.
На закуску выкладала бел-рассыпчатый пирог.
На забаву доставала яблычкав спеленьких пяток.
Закричала шельма-девчонычка своим звонким голоском,
Перявощик, а ты, перявощик, переправь меня, девчонычку,
На ту сторону реки, на ту сторону реки.
Там в зеленом хуторочке, что на самом на ярочке,
Мои миленочек живет, мой миленочек живет.
Перявощик, а ты перявощик, ты скажи мне, девчоначке,
Что возьмешь за перявоз? Что возьмешь за перявоз?

II.

В больнице, когда ему стало получше, Андерс тоже играл иногда по ночам в восстановление материи. Но теперь он воскрешал из небытия уже одежки своих детей. Почему-то первой выплыла пижамка Фреда – как раз того их с Ларсом возраста, четыре года назад, когда они начали запойно читать. Это была салатно-зеленая фланелевая пижамка в белых слониках. Каждый слоник держал хоботом темно-зеленый мяч. У Ларса пижамка была голубая, вспомнил Андерс, где каждый белый слоник держал хоботом синий обруч.

Однако пижамка Ларса была уже не в счет. Именно ночная одежонка Фреда дала толчок памяти, из которой, без каких либо родовых схваток, возникло воспоминание.

...Четырехлетняя Ирис осталась в своей спальне под присмотром матери, а он направился к мальчикам.

«Почитай, папа, почитай!» – запрыгали в своих кроватях Фред и Ларс.

«Немедленно ложитесь! – сказал Андерс. – Вы уже взрослые. Завтра рано вставать».

Он услышал свой голос словно со стороны. Звук был очень похож, как ни пытался Андерс себя обмануть, на материнский – только, разумеется, несколькими тонами ниже.

Он увидел такой же воскресный вечер, с его неизбывной тоской и страхом понедельника – этими обязательными составляющими краткого выходного дня, которые особенно сильны в воскресенье утром, а к вечеру как раз сглаживаются: нет смысла страшиться неизбежного. Ему вдруг стало невыносимо тошно от простой и ясной мысли, что, желая того или нет, он повторяет незамысловатую в своей пошлости партитуру родительской жизни – и его дети тоже ее повторят...

«Что вам почитать?» – спросил Андерс.

«Ур-ра-а-а!» – заорал Ларс.

«Нянины рифмы!» – выпалил Фред.

«Вот для этого вы точно взрослые», – *притворился взрослым* Андерс.

«Ну пожа-а-алуйста, па-а-апочка», – заканючил Фред.

«И не стыдно? – сказал Андерс. – Вам же по восемь лет!..»

«Папа, а давай прочитаем их в английском оригинале, – с важностью выговаривая слово *оригинал,* предложил Ларс. – Вон они стоят», – он точно указал на высокий розовый корешок.

(«И совсем они не одинаковые, – в стотысячный раз отметил про себя Андерс. – Ларс немного серьезней, зато Фред...»)

«Nursery Rhymes!.. Nursery Rhymes!..» – уже хлопал в ладоши Фред.

И Андерс, раскрыв большую книгу, приятную для рук формой и весом (она была широкая, но не толстая, не тяжелая), и прохладой гладкой обложки, – розовую книгу с желтыми, зелеными и голубыми картинками, прочел сыновьям «Baa, baa, black sheep», и «Bobby Shafto's gone to sea», и «Ding, dong, bell», и свой любимый стишок «Eena, meena, mina, mo», – и те, что знал наизусть – «Georgie Porgie, pudding and pie», и «Hickory, dickory, dock», и «Hush-a-bye, baby, on the tree top», и еще с полдюжины штук.

Последнее стихотворение было предложено выбрать наугад.

«Я буду выбирать!..» – резко сел Ларс.

«Не-е-ет, я-а-а!!» – заскулил Фред и, видя, что отец колеблется, запустил в брата подушкой.

«Раз вы еще не научились уступать, – Андерс подошел к книжной полке, – придется, видно, выбирать мне самому».

Он вытащил книжку, зажмурил глаза, раскрыл наобум страницу и ткнул пальцем.

«Что там, что?!» – братья попытались заглянуть в книгу. Андерс, прикрывая страницу ладонью, вслух прочел:

Solomon Grundy,
Born on a Monday,
Christened on Tuesday,
Married on Wednesday,
Took ill on Thursday,
Worse on Friday,
Died on Saturday,
Buried on Sunday.
This is the end
Of Solomon Grundy.

«Married – это женился?» – важно спросил Ларс.

«Да, – сказал Андерс. – А остальное – понятно?..»

«Да», – сказал Фред.

«Ничего тебе не понятно», – огрызнулся Ларс.

«Тебе самому непонятно!!. – выпалил Фред. – Wednesday – это среда,

Sunday – воскресенье, Thursday - четверг...»

(«Вот, полюбуйся! – озлился на себя Андерс. – Надо с ним больше заниматься спортом! Может быть, у него есть способности к спорту?..»)

«А давай переведем на нидерландский», – предложил Ларс.

«Соломон-Мельник...» – неуверенно, в шутку, начал Андерс.

«Рожден в понедельник!!» – мгновенно подхватил Ларс.

Фред растерянно закрутил головой: он не был готов к словесному состязанию.

«Во вторник – крестился...» – наконец мрачно выдавил он.

«А вот и не в рифму!!» – победно заорал Ларс.

«Дальше будет в рифму, – успокоил его Андерс. – В среду – женился...»

Дети захохотали от удовольствия.

«В четверг – заболел...» – пробубнил Ларс – и тут же сморщил нос, показывая, что понимает недостаток этого варианта.

«Ага, у тебя у самого не в рифму!!» – злорадно заверещал Фред.

«Все в рифму, – успокоил Андерс. В этой жизни – все в рифму. – В пятницу – совсем ослабел...»

«Ура-а-а!!» – заорали братья...

«Сейчас опять будет не в рифму», – после маленькой паузы признался Ларс.

«Да ты же видишь: не в рифму в этом мире не бывает! – сказал Андерс. Как там у тебя?..»

«Я не знаю... – смущенно сказал Ларс. – Я не знаю, как лучше... В субботу... В субботу... В субботу – приказал долго жить!..»

«Это что?» – спросил Фред.

«То! – сказал Ларс. – Бабушка Анна, мамина мама, приказала долго жить, помнишь письмо?»

«А, это...» – протянул Фред...

«В воскресенье – его повезли хоронить», – честно перевел Андерс.

«А как лучше перевести “This is the end of Solomon Grundy”? – спросил Ларс. – Надо по рифме, чтоб было в конце “простить”, “любить”... но не подходит по смыслу... Да, па?»

«Такова была Мельника глупая прыть», – сказал Андерс.

«Что это – прыть?» – спросил Фред.

«Скорость, – сказал Андерс. – У него была высокая скорость жизни».

«И его оштрафовал полицейский?» – хихикнул Фред.

«Дур-р-рак ты! – вдруг побагровел Ларс. – Это совсем не смешно».

«А по-моему, смешно», – из вредности сказал Фред.

«Нет, не смешно! – повторил Ларс. – А ты, папа, как думаешь?»

«А, по-моему, смешно», – сказал Андерс.

Он поцеловал детей, погасил свет и вышел из комнаты.

12.

После инфаркта Андерс отправился восстанавливать силы в Шотландию. Такова была настоятельная рекомендация Брендона Спрея, семейного врача. Для своей практики он, втайне этим гордясь, выписывал несколько международных медицинских журналов – по проблемам кардиологии, невропатологии, ревматологии, психиатрии; в одном из них, английском, было сказано, что микроклимат некоторых частей Шотландии, с ее холмами и цветущим вересковыми растениями, прекрасно восполняет энергию истощенных нервов.

По совету жены, которая отдавала должное мечтательной («какой-то не стопроцентно голландской») натуре Андерса и где-то видела убедительную рекламу, он снял номер в недорогом пансионате километрах в двадцати от Эдинбурга. Пансионатом оказался маленький, очень уютный – и, кстати сказать, недавно отреставрированный – замок XV-го века, живописно розовевший меж береговых скал богатой форелью речушки Северный Эск.

В один из дней, запомнившийся Андерсу до конца его жизни, он пошел прогуляться – и за-

брел довольно далеко.

...Андерс шел вдоль шоссе, что пролегало в полях, когда вдруг понял, что потерял дорогу. Он не расстроился и не смутился, поскольку догадался, что просто делает круг, и решил не возвращаться к точке, из которой, видимо, взял неправильное направление, а просто подойти к пансионату с другой стороны. И продолжил свой путь.

Был очень солнечный день, первое мая. Стояла любимая погода Андерса: солнечная и нежаркая. Синее небо было не лаково-голое, не анилиновое, не бесприютное, а мягкое, словно одомашненное, словно лениво дремавшее меж рубенсовских облаков, меж бокастых и добрых рубенсовских бабищ, лежавших на свадебных своих перинах; яркое солнце было не палившее, а только веселое, будто нарисованное ребенком, – и свежий, прохладный, даже холодный ветерок убавлял, убавлял, убавлял, убавлял – с каждым шагом – груз нажитых лет. В сравнении с превратным поведением апрельских лучей, световые потоки юного мая обнаруживали новое качество: надежность. Весна решительно закончила отношения с капризным апрелем и демонстративно предпочла ему более зрелого соперника.

Голубой ветерок по-ребячьи теребил рубашку, причем Андерс постоянно чувствовал ласковую природность ее материала и словно бы возрожденную молодость своего тела. Поля были огромны, именно огромны, совсем не такие, как в его стране, то есть неоглядны – и вдобавок восхитительно разнообразны: почти через каждую сотню шагов то слева, то справа на горизонте всходила новая череда пологих холмов с россыпью деревушек у подножий и на склонах, и даже отдаленно расположенные земли разворачивали напоказ щедрые свои телеса – зелено-голубая планетарная ширь, все более расширяясь, расправляясь, набухая, распирала существо Андерса телячьим, бычьим напором жизни, он готов был уже лопнуть в этом все прибывавшем блаженстве, но продолжал глотать и глотать плотный поток ветра, чувствуя себя счастливо затерянным в мире, где небеса безбрежны и где полно места для всех, а любой фут земли прочен, пригоден, уютен – живи, Андерс, живи!

Для вереска было еще рано, он зацветал здесь в июле-августе, зато сейчас, в альпинариях садов и по склонам скудных прежде холмов – везде, словно в тайном сговоре с давно обещанным счастьем, – пылала матово-чистым цветом щедрая шотландская эрика: на фоне темно-зеленых и светло-зеленых листьев – по-детски нарядно, наивно и празднично – красовались белые, розовые, лиловые, пунцовые кисти соцветий...

Андерс шел той стороной дороги, которой ходят на материке, то есть стороной встречного транспорта, но здесь, на острове, все было наоборот: иногда огромные грузовики с грохотом выныривали именно из-за его спины, это было странно, как-то совсем не с руки, но Андерс не решался перейти дорогу, чтобы этим бытовым действием нечаянно не разрушить то чудесное – понездешнему хрупкое, – что можно было бы назвать внезапным забросом его, Андерса, в какое-то иное пространство. (Или просто: счастьем.)

Это был зазеркальный мир. Оказывается, он существовал именно на острове. Переплыв Ла-Манш, пробравшись по суше на север, Андерс словно бы проник сквозь амальгаму – и попал наконец туда, куда все свое догимназическое детство так упорно мечтал войти. И вот сейчас он вертел головой и смеялся, как holy fool.* Хотелось почему-то идти все быстрее, быстрее, быстрее! – и он двигался все стремительней, почти уже несся – как авиалайнер на взлете, на взлете! Андерс уже не помнил ни детей, ни жены, они еще не появились в этом заново сотворенном мире, врученном ему одному – как огромный, размером с Землю, зелено-голубой подарок, как приз – да, приз, – бог знает за какую такую победу. В новорожденном мире был только он, и где-то – совсем рядом! – незримо, но тем более ощутимо – любимые, совсем молодые родители - красивые, любящие друг друга, счастливо смеющиеся...

На одном перекрестке, который, казалось бы, не представлял собой ничего особенного, Андерс остановился как вкопанный. Странное и в то же время очень конкретное взаимодействие цвета и света... может быть, даже температуры... да, температуры и воздуха... дыхания и сердце-

**Юродивый. (Англ.)*

биения... звуков и запахов... и каких-то еще неведомых параметров, от называния которых причина не делается яснее... вернули Андерса в одно из лучших ощущений детства.

13.

...После Шотландии Андерс почувствовал себя обновленным, счастливым, полным сил, что было особенно необходимо, так как дома его ждали перемены: в июне родилась девочка, которую назвали Анна-Маргарет; жена перестала ходить в хор, всецело отдавшись воспитанию малышки, этот факт оказался своеобразной терапевтической реабилитацией для Андерса: врачи уверяли, что омертвелая ткань сердца полностью зарубцевалась, притом почти без нарушений сердечной функции; двенадцатилетние Фред и Ларс, добровольно, занялись дополнительным (в школе был пока только английский) изучением языков: Фред – французского и польского, Ларс – немецкого и шведского; восьмилетняя Ирис стала брать уроки танцев; через полгода, к Рождеству, Андерса значительно повысили в должности, он стал зарабатывать в два раза больше; они с женой продали прежний дом и купили – там же, в Утрехте – более просторный, где малышке сразу была выделена отдельная комната; жена уговорила Андерса взять девочке няню, он сделал и это; и вот наступил очередной вторник, и жена неожиданно пошла в хор; и наступила пятница, и жена – в приподнятом настроении, помолодевшая, красивая, как никогда – пошла в хор; и наступил вторник, и жена – уже привычно, естественно, совсем как обычно - пошла в хор; и наступила последняя пятница лета тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, и с Андерсом случился второй инфаркт.

14.

стозевное, многоочитое чудо,
чудище дивное, чудище лютое,

хор встает, как восход,
хор стоит, как пожар,
хор стоит как пожар до самого неба –
грозный, громокипящий, предвечный;

хор,
пылающий монолитный метеорит,
одинокий титан,
изгой неведомых чужедальних галактик;

ты, частица его,
ты не видна в этом слепящем сиянии,
ты не слышна в этом штормовом, бушующем огневище,
твои черты мелькнули, исчезли,
да ты ли это была?

твое лицо – что это было?
безучастный лик идола,
увенчанный увесистым, словно булыжник,
суррогатом венца,
грубым, громоздким,
схожим –
излишеством,
грузным величием –

с грубым азиатским роскошеством,
с украшением
сфинкса, скифа, мертвеца-фараона;

твое лицо
кажется мне совсем незнакомым,
земноводным,
ноздри и чешуя,
твое лицо в этом страшном тяжеловесном уборе
уже не отличимо от чужих;

меня, наверно, забросили
на кольцо Сатурна,
я один,
кругом ночь и холод,
я теряю сознание,
и навигатор утерян,
да и к чему он?

бессчетное множество раз в эти годы
я оказывался в глубоком нокауте от своей догадки,
что и после до-ре-ми,
после распевки,
что и после фа-соль-ля-си,
после репетиции,
после выступления,
после аплодисментов,
после занавеса и погашения света,
и затем, после вашего дикого сабантуя,
я не смогу вычленить тебя
из монолитной стены,
где, поверх каменных лиц,
вьются, извиваются, пляшут
языки,
языки-язычища пламени;

бессчетное множество раз
я признавался себе,
что ты уже не вернешься ко мне,
не вернешься вовек,
но даже не это было самым страшным,

знаешь, мне казалось,
вот что самое жуткое,
не совместимое с дыханием,
не совместимое с биением сердца:
мне казалось,
я не встречал тебя никогда,
ты не была даже рядом со мной никогда,

и даже сон о тебе был чужим;

и ты останешься там,
с ними,
за ними,
в них,
по полному праву,
ты просто останешься там, где существовала всегда,
безликой частицей пламени,
на веки вечные,
до скончанья времен,
понимаешь меня? –
конечно же, нет

хор стоит как пожар до самого неба

***

Het hart zal ook in het lachen smart hebben;
en het laatste van die blijdschap is droefheid.

И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль.
(Притчи Соломона, гл. 14, ст. 13)

***

Часть четвертая
1959

ER IS EEN TIJD
*OM TE ZOEKEN EN TE SPREKEN**

1.

Коренной наследник древних батавов (с небольшой частью фризской крови), то есть *в некотором роде* (коль подходить формально) *типичный нидерландец,* Андерс вознамерился приложить все разумные силы для выхода из ловушки.

Но что значит – «типичный нидерландец»? Такая формулировка неизбежно ввергает ее пользователя в пучину пошлости. А оттуда не видно вообще ничего.

Тем не менее, отрицать, что такой стереотип существует – пошлость тем более густопсовая, что сдобрена ханжеством. Поэтому скажем так: да, такой стереотип (наравне с прочими) существует, отражая взгляд на нидерландцев других европейских народов (главным образом, соседей), и диктует он, в основном, следующее: типичный нидерландец – это человек, в первую очередь, непреложного («клинического», «паранойяльного») здравомыслия, а также рационализма – притом рационализма такой плотности, который готов к своему овеществлению в курьезный туристический сувенир; это человек дисциплинированных повседневных чувств, умеренный абсолютно во всем, и, главным образом, позитивист.

Иначе говоря, он доверяет своей голове и своим рукам. Исходя из этого, поверит он ни в коем случае не цветистым сентенциям книг (даже священных), не изречениям мудрецов (будь то, помимо авторитетов его конфессии, хоть знатоки суфизма, хоть эксперты ламаизма), а голове и

* *Время – искать и говорить. Екклезиаст.*

рукам наиболее знакомых ему людей.

Притом Андерс, к чести его надо сказать, не подпадал под изречение автора знаменитого «The Devil's Dictionary», Амброза Бирса, а именно: «Советоваться – это значит искать одобрения уже принятой линии поведения».

Никакой «линии» у Андерса не было и в помине.

Он просто не хотел погибать.

И потому – пытался отчаянно сопротивляться сложившейся ситуации. Говоря конкретно, он пытался сопротивляться тому, что второй инфаркт привел его к инвалидности, что после второго инфаркта он стал зарабатывать гораздо меньше, потому что со стрессами (которые предполагала прежняя его должность) уже справляться не мог и даже должен был их заранее исключить; он должен был сопротивляться тому, что жене, вследствие этого (дабы выплачивать деньги за дом, в который они совсем недавно переехали), пришлось брать дополнительную работу (у нее была маленькая пекарня); он изо всех сил должен был сопротивлялся тому, что уже не так, как прежде, радует жену в вопросах телесной любви; что в свои тридцать девять стал панически бояться инсульта (и всего, что с ним связано), что хор, так или иначе, приведет его к третьему инфаркту – хорошо, если смертельному.

Главным образом, он пытался сопротивляться тому, что жена, несмотря на его никчемное здоровье, снова пошла в хор.

При этом Андерс, разумеется, понимал, что виноват в его смерти будет не хор, а восприятие этого хора им, Андерсом.

Ну да: нас мучают не сами предметы, а наши представления о них. (цитата.)

И Андерс (вот в чём единственно и проявило себя его рацио «типичного нидерландца») решил посоветоваться с кем-нибудь более-менее близким на тему: как изменить это восприятие. (Что, конечно, является вопросом интимным, но, например, коллеги по работе, не особо стесняясь, довольно часто обращались к нему со своими «интимностями». А, кроме того, новый, прогрессивный стиль поведения в обществе гласил: любая проблема может – и должна! – обсуждаться публично, в человеческой природе нет ничего постыдного, *будем прозрачны.)*

Итак: как изменить восприятие? Если не удается уничтожить стену между женой и собой – как притвориться, что между ним и женой нет стены? Если не удастся и притвориться – как принять существующее положение вещей? (Или: как притвориться перед собой, что оно принято?)

Андерс сразу решил для себя, что при встрече с намеченным человеком (он наметил пока только одного, но несколько других было в запасе) – в самом начале разговора он предупредит: только не надо, пожалуйста, советов в духе «мне бы твои заботы» и «голодающим детям Африки еще хуже». А именно такие-то ответы он, конечно, предполагал получить в первую и, возможно, единственную очередь, ибо люди, в массе своей, не особенно изобретательны – чему исключением не служат и проявления их пошлости. Единственный друг, конечно, так никогда не сказал бы, но единственным другом для Андерса была его жена, а с ней-то... из-за нее-то... даже пусть из-за самого Андерса – но в связи с ней...

А может, он не видит чего-то прямо перед своим носом? Или: может, есть хитроумные пути забыться? Разговоры с католическим Богом почему-то совсем не помогают. Так, может, какие-нибудь тибетские медитации? Стояние на голове? Сидение в позе лотоса? Беспрерывное распевание мантр? Переход к вегетарианству? Умеренная левитация? Или: чтение на ночь снабженных фотодокументами книг о диких режимах тоталитарной Азии?

Может, действительно поможет чье-нибудь слово, даже самый глупый совет – просто примером от противного? Нельзя, нельзя сдаваться, пока не исчерпаны все ресурсы! А ресурсы далеко не исчерпаны. Надо посоветоваться с людьми.

И Андерс решительно ступил на эту тропу в земной юдоли.

2.

Хотя виделись они нечасто, Герард де Йонг считался добрым приятелем Андерса – просто потому что других близких знакомых у того не было – да еще потому, что когда-то, в частной мужской гимназии, они сидели за одной партой. Кроме того, и это являлось главным фактором в естественном поддержании их отношений, Герард был соседом Андерсовой матери и, поскольку его собственная мать умерла рано (а еще раньше скончался отец), Герард так и остался там, в том же самом кирпичном домишке, глядящем на улицу тремя окнами. Поэтому когда Андерс бывал у матери, то есть в доме своего детства, он, почти всегда, видел Герарда. Тот не был женат, что Андерс относил на счет его привязанности к своей покойной матери, – привязанности, искоренившей любую конкуренцию,

В годы войны немцы не угоняли Герарда: по счастливой для него случайности – как раз за несколько дней до вторжения «moffen»* – он уехал погостить к родственникам в Швейцарию, да так и пересидел там опасное время.

Герард торговал чулками. Четыре дня он делал это в собственной галантерейной лавке, устроенной на первом этаже его домика, а по вторникам и пятницам – занимался тем же самым на местном базаре. Андерс привык видеть лицо Герарда на фоне задранных женских ножек – и, видимо, такая картинка должным образом отпечаталась в его, Андерса, подсознании. Скорее всего, поэтому, а также и потому, что он не хотел втягивать в свои дела членов семьи, то есть, в первую очередь, брата, Андерс направился не к Пиму, как задумал вначале, а именно к Герарду.

3.

Было воскресенье. Герард, в свой выходной, сидел дома и пил пиво. Андерс, который давно бросил курить (табачный дым вредил голосовым связкам жены), не знал, чем занять свои руки. Герард потянулся было налить ему кружку пива, но Андерс пива не пил, а более из напитков у Герарда на сей день ничего не было.

«Налей просто воды», – попросил Андерс.

Он сделал глубокий вдох и взялся пить воду. Зубы позорно клацнули о стеклянный край, кружка подпрыгнула в руках.

«Ты чего?» – благодушно покосился Герард.

В одной из комнат наверху что-то упало – не очень тяжелое, весом с телефонный справочник.

«Что это»? – спросил Андерс.

«Кошка, – сказал Герард. – Как дела идут?»

«Превосходно», – машинально сказал Андерс.

«Вот и отлично. У меня тоже. А что ты скажешь об этом?»

«Красивая штука», – вежливо заключил Андерс, вглядевшись в поставленное ему под нос плечо Герарда. На его бицепсе боевито синел мощный легионерский факел.

А что он еще мог сказать? Если бы он мог, если бы мог...

«Герард, послушай...»

«Да?»

«Ты вот хорошо разбираешься в женщинах...» («Боже, что я несу?!»)

«Я? в женщинах?» – Герард громко заржал.

Наверху опять что-то упало.

«Godverdomme», – процедил Герард.

«Ты прав, тут женщины ни при чем...»

«И чего ты пива не хочешь? – сказал Герард. – Это же *Grolsch*! Мммммм, порно!..»

Андерс привык, что всё, так или иначе стоящее похвалы, Герард – так уж повелось у него со старших классов – награждал именно этим словцом...

---

* *Мофен - презрительная кличка немцев, вошедшая в нидерландский обиход со Второй мировой войны. (Прим. автора.)*

«Слушай, Герард, а ты... ты ведь в Восточной Европе бывал?..»

«Ну», – сказал Герард.

«А где?»

«Да в Польше. Позапрошлым летом».

«Да-да-да, – вспомнил Андерс. – Я, кстати, тоже там бывал до войны. А ты слышал, как они поют?»

Герард расхохотался. Неожиданно тонюсеньким голосочком, словно изображая милую, трогательно-слабоумную в своей мечтательности славянскую пейзаночку, он повел:

Poszła Karolinka do Gogolina-a-a!..
Poszła Karolinka do Gogolina-a-a !..
A Karliczek za nią, a Karliczek za nią!..
Z flaszeczką wina-a-a!..
Z flaszeczką wina-a-a!..

«Тебе что, не понравилось, как они поют?»

«Почему? Нет, нормально. А пиво той же крепости, что у нас, стоит в пять – в пять раз! – дешевле... Классное! И без этого, знаешь, цветочного запаха! Порно!..»

В это время на лестнице послышались шаги. Спускался человек – крупный, грузный, судя по звуку.

Наконец он вошел. Это был похожий на застывшую вулканическую лаву портовый грузчик, которого Андерс частенько видел возле кабаков Старой Гавани. Природа не обидела габаритами и Герарда, но этот парень был крупнее раза в полтора. Бугристый его торс обтягивала черная майка; на левом бицепсе у него синел такой же победительный псевдоримский факел, низ его торса декорировали синие купальные трусики, а ноги – красные дамские чулки, уже слегка рваные – словно из тех, что Герард пускал к концу базарного дня за пару центов. Мощные уступы этих кроваво-красных ног завершались расшнурованными альпийскими ботинками.

«Знакомься, Анди: это Рон», – сказал Герард.

«Рональд», – без тени улыбки уточнил тот и, пожимая руку Андерса (ее будто прищемило дверью), внимательно посмотрел ему в глаза.

До Андерса стало потихоньку доходить. Смысл просачивался медленно, словно нехотя; ему противодействовала универсальная, почти непроницаемая в своей тупости фразочка-заглушка: *ну и что*?

«А вот меврау ван Риддердейк о нас говорить бы не надо... – сказал Герард. – Слишком благочестивая, чтобы внимать... – Он плеснул себе еще пива и громко, по-лошажьему отхлебнул. – Но мы с тобой ведь тоже благочестивые и набожные, да, Ронни? Тебе налить?»

Рональд поморщился. Он скрутил сигаретку и, чтобы ее заклеить, высунул мокрый напряженный язык.

«Хотя священник сказал, что Господь наш изблевывает из всепрощающих уст Своих таких парней как мы...– продолжал Герард. – Даже Он изблевывает, каково? А я, кстати, в это не верю...»

Он уже крепко набрался.

«Кончай ты, Герри, – сказал Рональд. – И дай-ка чего-нибудь пожрать. Я к Маартену тороплюсь».

«Может, не пойдешь сегодня к Маартену?..» – как-то полувсхлипнул Герард.

«Чего это я не пойду? – сказал Рональд. – Еще как пойду».

«Может, вместе пойдем? – предложил Герард. И, не дав тому отозваться, опередил: – Хочешь, я свой свитер черный шотландский тебе подарю? Новый совсем! Чистая шерсть! Порно!..»

«Иди в задницу», – сказал Рональд.

«А почему мне к Маартену нельзя»?

«Тебе никто не сказал: нельзя. Хочешь смотреть – иди».

«Я люблю тебя, Рон», – простонал Герард.

«Я люблю тебя, Герри», – словно паролем ответил Рон.

Герард мгновенно размяк:

«А я, знаешь, – самодовольно бросил он Андерсу, – скоро с чулочками-то завяжу-у-у...»

«Почему?» – из ложно понимаемой вежливости спросил Андерс. Ему давно надо было уйти: он чувствовал себя, как полумертвый гуманитарий, ошибкой забредший на лекцию по физике твердого тела.

«А мы с Рони кое-что другое будем продвигать... есть некоторые рыночные ниши... они не заполнены...» – он вопросительно посмотрел на Рональда; тот махнул рукой – ладно, валяй, под твою же ответственность...

...На йодистой фотографии в стиле двадцатых годов белели три фигуры. Слева был юноша, почти мальчик, очень худой, с трогательно-беззащитным, как у молодого подраненного оленя, очерком всего тела; он лежал спиной на письменном столе, украшенном мраморной миниатюрой Колизея. Как и две другие фигуры, он был полностью обнаженным; ноги его, по-женски закинутые назад, к голове, и широко разведенные, были захвачены за лодыжки нежными его кистями – четко виднелись обкусанные ногти на худых влажных пальцах, украшенных множеством дешевых перстеньков. В мальчиков зад, торсом вплотную, то есть *заподлицо,* был мощно вклинен стоявший на мраморном полу Герард; его ловкая прическа брюнета-соблазнителя казалась дьявольски прилизанной, словно намазанной бриолином и вдобавок «отлакированной», как у звезды экрана этого времени, Валентино. Очень рельефно, со всеми тенями и полутенями, выделялась мускулатура его торса; одной рукой он придерживал мальчика за бедро, другой опирался о стол, но лицо его была красиво полуповернуто назад и вниз: там, в недрах его тела, хладнокровно орудовал каменным, беспощадным своим долотом не менее выразительный Рональд. Последний был монументален, обрит наголо и прекрасен, как викинг. При этом его полусогнутые руки были легко, почти невесомо, закинуты за голову – сознательно выведенные из действия, они позволяли Рональду сфокусировать максимум ощущений на своем половом органе. Лицо Герарда, полуповернутое к Рональду, – лицо полусамца-полусамки, оскалившееся болью, перекошенное звериной ненавистью, нежностью, страстью, наслаждением, молило: да, да! глубже! еще, еще!..

...А все-таки не зря я к нему сходил, – соврал себе на улице Андерс. – Хоть на часок отвлекся.

Наиболее же искренняя мысль формулировалась трудно... Хотя бы потому, что она была вполне банальна, а потому, скользкая, увертывалась, – и, главное, потому, что она, эта мысль, совпадала с конкретной причиной, приведшей его к «другу детства»: я ничего – ровным счетом ничего – не знаю о человеке, которого считал близким... Считаю?.. Нет, все же – «считал»...

Вернувшись домой, Андерс, в одежде, чего с ним никогда не бывало, прямо посреди бела дня, рухнул в постель. Властный и ласковый осьминог, обволакивая его мозг, впрыснул туда свой густой, обильный сок сна.

4.

Старший брат Андерса, Пим ван Риддердейк, являлся тем, кого называют duivelskunstenaar.* Он был произведен на свет, скорее всего, лишь для того, чтобы стать преданным слугой механики, автоматики, развивавшейся электроники – то есть, обобщим – техники в любых ее проявлениях. При этом, относясь к технике с подобострастием дикаря, он вовсе не воспринимал ее как некое промежуточное звено в процессе освобождения человеческого духа – а ровно наоборот: подчиняясь технике самозабвенно, сладострастно, всем естеством своим, он, похоже, практически (хотя и бездумно) предвосхитил такое положение вещей, при котором хомо сапиенс рождается (или выводится in vitro) только затем, чтобы *обслуживать* Глобально-Самодостаточную, Священную Систему Высоких Технологий.

* *Дословно: дьявольский искусник. Более точно: мастер на все руки. (Нидерландск.)*

Над широким, почти в половину фронтальной стены, окном своей гостиной Пим укрепил металлическое вертикальное жалюзи, два белых полотнища которого, вздрогнув (и всегда заставляя вздрогнуть редких гостей), с леденящим душу звуком (словно от крыльев летучих мышей в кладбищенском склепе), ровно в семнадцать часов тридцать минут, раздвигались. (Так срабатывало компактное – находчиво закамуфлированное разросшейся фуксией – хронометражное устройство с моторчиком.) Следует добавить, что, абсолютно синхронно с фронтальным, раздвигалось и жалюзи, находившееся на строго противоположном окне гостиной (скрывавшее до того – и, соответственно, затем открывавшее) вид на «сад» размером в две детских песочницы.

Таким образом – ровно за три с половиной секунды – гостиная внезапно оказывалась открытой «навылет» (выражение одного американского гостя, дальнего родственника Пима). С этой секунды любой прохожий имел возможность воочию, по ходу дела, проконтролировать все происходившее в гостиной и даже в «саду» – то есть увидеть жизнь одного из налогоплательщиков (семьянина, подданного королевы, члена различных благотворительных обществ) насквозь. А любой из обитателей гостиной и «сада» – мог, таким образом, наглядно отчитаться в публично зафиксированном добронравии, здоровом конформизме, тотальной лояльности и благочестии. И нечего удивляться: здесь вам, слава Богу, geen de Verenigde Staten van Amerika.* (Менее «продвинутые» домовладельцы проделывали традиционную процедуру предобеденного обнажения гостиной, конечно, вручную.)

Но главные достижения Пима подкарауливали его визитеров после обеда. Проявления технического гения, хотели того гости или нет, попадались им на каждом шагу. Можно сказать иначе: гости, конечно, этого категорически не хотели; более того: они даже страшились сделать пару шагов, дабы не столкнуться с проявлениями означенного технического гения, но попадались в ловко расставленные силки этих проявлений чуть ли не на каждом вздохе.

Вот, например, индивид, до роковой минуты – солидный, уважаемый, законопослушный гражданин – имеет опрометчивость войти в мирно журчащий ватерклозет. И вот, через пару мгновений, стоя – назовем по-солдатски – без штанов, он, этот солидный индивид, превращается в бесплатного циркового болвана. Новообращенный клоун, он не умеет в этом мире самого простого – оторвать клочок туалетной бумаги, воспользоваться водосливным бачком, вымыть руки, пшикнуть ароматизирующим аэрозолем (дарящим сладкую иллюзию, будто наградой благочестию является способность испражняться цветами) – и, главное, клоун-прозелит, этот гаер без короля, не имеет представления, как из отхожего места выбраться.

А между тем на все перечисленные действия в туалете существуют хитроумные пусковые устройства, которые срабатывают, правда, после набора определенных кодов. Коды записаны в блокноте хозяина (письменный стол, его содержащий, находится в кабинете на третьем этаже) и продублированы, на крайний случай, в блокнотах двух его ближайших соседей по улице.

(До эпохи карманных компьютеров еще далеко. Когда она – забежим вперед – наступит, идейные потомки Пима будут делать электронные записи следующего свойства: «Сегодня, 01.05.1998, перед отходом ко сну, в 22:30, поцеловать супругу».)

Однако вернемся к заложнику Пима, т. е. к пленнику ватерклозета. В стене модернизированного нужника – силами, разумеется, того же Пима – гуманно вмонтировано переговорное устройство. Оно начинает работать уже от учащенного дыхания пленника, приблизившего к нему свои дрожащие в унижении губы. Два сигнала, воздушный и тепловой, преобразуясь в звуковой, дают в итоге сирену, по силе не уступающую пожарной. От бычьей мощности ее децибелов дрожат мелкой дрожью не только жалюзи, но и поджилки гостей. Однако гости, лучезарясь толерантностью, пограничной с олигофренией, демонстрируют тщательно отбеленные «зубы улыбки» – а некоторые исходят заливистым смехом такой степени счастья, что являют обзору и самые отверстия глоток.

Хозяин энергично поднимается на третий этаж (водяным лифтом, который иногда застревает меж этажами) – и, если добирается до кабинета благополучно, то, взяв блокнот, начинает давать

** Не Соединённые Штаты Америки. (Нидерландск.)*

пленнику указания по переговорному устройству. Если же лифт все-таки застревает, за дело (без особой на то радости) вынуждена браться жена Пима. Архаично (т. е. ногами) – она поднимается на третий этаж, где, благодаря системе обнаруженных кодов, вызволяет сначала мужа (в кабине лифта тоже вмонтировано переговорное устройство); если вызволить мужа ей все же не удается (женщины от природы, увы, туповаты в технике), она производит сначала een bevrijding* пленника ватерклозета. Если же и это не удается, она звонит одному из соседей, в блокноте которого коды продублированы. Если же ни одного из соседей не оказывается на месте, по телефону вызывается пожарная команда; ее расчет сначала выламывает дверь ватерклозета, затем – брандспойтом – смывает содержимое унитаза, затем варварски корректирует работу водяного лифта.

Кстати, о телефонных аппаратах Пима ван Риддердейка. Они обретались в его доме целыми стайками и, казалось, размножались с интенсивностью кроликов. Опередив свою эпоху, брат Андерса ввел такую систему телефонной коммуникации, которая позволяет выходящему на связь абоненту наилучшим образом сэкономить свое время. Андерс, имевший несчастье иногда звонить брату, с ужасом вступал в лабиринт, где хотя и не рисковал быть заглоченным Минотавром, но вероятность попадания в объятия Атэ, великой греческой богини безумия, оставалась для него все же немалой. «Если вы звоните по производственному вопросу, наберите *один*, – безынтонационно отчеканивал и без того абсолютно пресный, механический голос брата; – если по частному, наберите *два*; все поздравления – *три*; все приглашения – *четыре*; все соболезнования – *пять*; если вы не можете сформулировать цели звонка – наберите *ноль*. По производственному делу: если вы мой шеф – *один*; остальные – *ноль*. По частному делу: если вы моя мать – *один*; если брат – *два*; если сестра – *три*; если сосед Симон – *четыре*; если сосед Кейс – *пять*; если знакомая моей жены, Эльза, – *шесть*; все остальные – *ноль*. Если моя мать звонит по поводу моего здоровья – *один*; по поводу своего здоровья – *два*; по поводу важнейших скидок и бонусов – *три*; по поводу обсуждения текущих автодорожных штрафов – *четыре*; по поводу выгодных изменений в страховках – *пять*; по поводу выгодной смены страховых фирм – *шесть*; обсуждение ежегодной налоговой декларации – *семь*; обсуждение программ телевизора – *ноль*». Ну и так далее.

Но – вернемся к эпизоду вызволения обогащенного техническими навыками гостя из поучительного сантехнического узилища. «Поучительного» – в том смысле, что гости Пима обычно предпочитали умереть, нежели подвергать себя подобным испытаниям, – а потому пилиели сугубо символически, да и с визитами наведывались до крайней степени редко. Возможно, именно этот бесценный результат и являлся постоянным бессознательным стимулом для вдохновения технического гения, свившего прочное свое гнездо в бережливом** мозгу умельца на все руки. Тем не менее, после такого урока весь состав гостей (куда входила Берта ван Риддердейк, Андерс, жена Андерса, их дети, Криста с мужем – и Эльза, незамужняя приятельница пимовой жены), - весь состав гостей, будучи довольно-таки возбужденным и не зная, чем это возбуждение погасить, иногда даже осмеливался намекнуть на дополнительную чашечку кофе. Что тоже было непросто: для приготовления оной, на пути хозяйки (чья неловкость за мужа стала второй натурой) – на этой опасной тропе – в интимные недра буфета (дополнительный сахар), в холодильник (дополнительные сливки), к кофемолке (дополнительный кофе), к кофеварке (дополнительная газовая энергия) – везде не на жизнь, а на смерть безмолвно вставали кодовые замки и замочки, а код замков и замочков менялся хозяином еженедельно, а блокнот с новыми кодами хранился в кабинете хозяина, а путь в кабинет лежал через водяной лифт, а водяной лифт... Ну и так далее.

Правда, иногда пожарная команда находилась все еще неподалеку.

И все же, несмотря на описанные перипетии, ровно в девять часов тридцать минут (весной и летом) – или в восемь часов тридцать минут (осенью и зимой), издав звук, схожий с таковым,

** Освобождение. (Нидерландск.)*

*** Бережливый. Это выверенное веками слово (речь идёт о коренных жителях, притом в их же окружении) обычно употребляется по-английски, дипломатичными иностранцами, во избежание слов «скаредный», «скупой», «прижимистый» и т. п. (Прим. автора.)*

производимым крылами летучих мышей в кладбищенском склепе, жалюзи обоих окон автоматически задвигались.

Гости снова вздрагивали. Однако уже в следующий миг, приходя в себя, с благодарностью оценивали прогрессивно поданный знак о конце приема.

5.

Встреча Андерса с братом – организованная первым, по предварительной договоренности со вторым, шестью неделями заранее (Пим настаивал именно на таком сроке) состоялась в амстердамском кафе «De Brug». Андерс дальновидно дал Пиму знать, что платить будет он, включая компенсацию трат на бензин.

«У меня тут возникла одна проблема...» – сказал Андерс и отпил вина.

«О'кей», – сказал Пим и дунул на пену.

«Это касается моей жены...» – сказал некурящий Андерс и закурил.

«О'кей», – сказал Пим и глотнул пива.

«Точнее, жены и меня...» – сказал Андерс, сделал затяжку и закашлялся.

«О'кей», – сказал Пим и глотнул еще пива.

«Как ты знаешь, она ходит в хор...» – сказал Андерс и выдохнул дым.

«О'кей!» – сказал Пим и отмахнулся от дыма.

«Я чувствую, что мы стали чужие...» – сказал Андерс и сделал глоток.

«О'кей», – сказал Пим и допил свою кружку.

«Тут дело – в стене...» – сказал Андерс и сделал затяжку.

«О'кей», – сказал Пим и вытер губы.

«Вот, собственно, все», – сказал Андерс и допил свое вино.

«О'кей!» – сказал Пим и заказал еще кружку.

«Но я не могу так жить», – сказал Андерс и погасил сигарету.

«О'кей!» – сказал Пим и поторопил обера. *

«Я стараюсь что-либо изменить...» – сказал Андерс и взял спички.

«О'кей!» – сказал Пим и дунул на пену.

«Пока не получается...» – сказал Андерс и закурил.

«О'кей!» – сказал Пим и сделал пару глотков.

«Но я надеюсь...» – сказал Андерс и выдохнул дым.

«О'кей!» – сказал Пим и отвернулся от дыма.

«Я вижу, ты спешишь», – сказал Андерс и сделал затяжку.

«О'кей!» – сказал Пим и допил второе пиво.

«До свидания!» – сказал Андерс и стряхнул пепел.

«О'кей!» – сказал Пим и потрепал его по плечу.

«Спасибо, брат», – сказал Андерс и слегка ссутулился.

«О'кей!» – обернувшись на ходу, сказал Пим – и белозубо улыбнулся.

Был самый конец летнего вечера. Андерс смотрел на закрытые черные зонты от солнца, paraplu's, торчавшие возле греческого ресторана. Издали они выглядели, как вытянутые вверх, стоявшие словно бы на ходулях, кладбищенские статуи. Или даже так: дидактически-жуткие, беспощадные, словно иезуиты, укутанные в складки своих черных плащей, одноногие птицы погоста. Они были особенно зловещи сейчас – в длинных закатных лучах, похожих на ручьи крови. Все это – на крошечной, словно театральной, абсолютно пустой, средневековой площади...

6.

Андерс шел к сестре берегом Oostsingel, одного из каналов Дельфта. Стоял сероватый, теплый, вареный какой-то день... Августовский канал напоминал своим цветом застарелый огуреч-

* *Официанта. (Нидерландск.)*

ный рассол... Казалось, сейчас, как ни в чем ни бывало, проплывет мимо парочка мятых, словно разношенных огурцов...

Йохан, как всегда, сидел перед телевизором, словно баобаб перед озерцом – объемистое туповатое растение, которое здесь родилось, бессмысленно набухло избыточным соком, здесь и засохнет. На легком журнальном столике перед Йоханом стояла батарея пустых пивных бутылок; в последней еще лопалась ленивая крупнопузырчатая пена. Новая бутылка, только что початая, торчала навытяжку, зажатая меж его жирных чресел, словно бы пародируя боеготовность Йоханова фаллоса (то есть, словно бы насмешничая, ибо в реальности, если судить по давно угасшим глазам Кристы, дело обстояло прямо противоположным образом).

...«Хорошо, Анди! Она – в хор, а ты – на футбол», – вполне предсказуемо откликнулась Криста.

(В глубине души она, как это бывает у множества женщин, недолюбливала жен своих братьев. Особенно, конечно, жену Андерса. Слишком красива. Слишком горда. Подумаешь тоже, королева! Деревенская ведьма она – и никто больше... Хотя, увы, и не меньше: она, братца-то, *onder de duim houdt.*[*]

«Я не люблю футбол», – тихо отозвался Андерс.

«Ну, я не знаю, в бассейн... Или на велосипеде покатайся... Или там, ну... сам понимаешь. В общем – она для себя приятное, и ты для себя приятное».

«Но дело ведь не в этом – приятное, неприятное...»

«Да если бы Йохан хоть куда-нибудь, хоть разочек в неделю уходил, – не слушала Криста, – господи, какое облегчение! И потом: сколько свободного времени открылось бы тогда... Да я бы... Да я бы... Это же счастье, счастье...»

«Дело не в этом, Криста... Между ней и мною – стена...»

«Ах, да я бы на твоем месте...» – Криста прочно впала в мечтательность.

7.

Андерс уже давно не слушал сестру. Решив пойти к ней, он возлагал надежды разве что на чудо. Он хорошо знал Кристу, хотя после того, как в юности упорхнул из родительского гнезда, с ней толком не общался. Сейчас он смотрел на ее беззвучно открывавшийся рыбий рот (звук он выключил сам, имелся у него такой ловкий навык самозащиты), думая о том, как мало Криста похожа на старшую сестру, Барбару, умершую в тысяча девятьсот сорок девятом году и, казалось, прочно в семье забытую.

Андерс прочно запомнил день самой ее смерти. У Барбары, в ее тридцать семь, случилось обширное мозговое кровоизлияние. Это было диким, ужасающим, совершенно неправдоподобным – тем более, что в их роду, с обеих сторон, таких случаев не наблюдалось. Барбара влачила бездетный брак с весьма сумрачным человеком, который заведовал адвокатской конторой в Зейсте. Жили они там же, в Зейсте, как и Пим с женой, что являлось простым совпадением,– причем их дом, Барбары и ее мужа, опять же по совпадению, располагался в двух минутах ходьбы от жилища Пима.

8.

Прошел слух, будто удар случился с Барбарой сразу после того, как анонимы сообщили ей, что Лили (учительница рисования, бывшая няня Кристы) уже давно подрабатывает в качестве bucolique.[**] Неизвестно, находились ли эти две молодых женщины в тех отношениях, которые принято называть интимными – или само несовершенство мира, сфокусировавшись, как в лупе, на бойкой Лили, многократно усилило мощь своего воздействия - и прожгло тем самым мозго-

** Дословно: держит под большим пальцем. (Нидерландск.) Поговорка, тождественная русской: он у неё под каблуком. (Прим. автора.)*

*** Проститутка, работающая на природе: в лесу или в парке. (Фр.)*

вые сосуды Барбары. Фактом остается лишь то, что скончалась красавица Барбара не сразу. С диагнозом «обширный инсульт» она была госпитализирована в госпиталь Святого Франциска, где ее, превратившуюся в растение, подключили к системе жизнеобеспечения. Через пять дней муж Барбары, успевший за это время провести консультацию со своим адвокатом, проверить страховые полисы и уладить дело с меврау ван Риддердейк, дал согласие семьи на отключение системы. После чего человек в белом халате подошел к стене – и вытащил вилку из розетки.

Было шестое декабря, детский праздник. Андерс с женой, то и дело пропуская через дорогу рослых Санта-Клаусов с белыми волнистыми бородами и дико размалеванных Черных Петеров с увесистыми мешками, а также, что было самым раздражающим, целые ватаги отвратительно визжащей детворы, как раз заехали к Пиму. Совпадение заключалось в том, что в этот день они посещали по делам Зейст; Андерс захотел, просто так, подарить шоколадные буквы Пиму и его жене – просто в память о детстве (своих детей у тех не было).

Из уличного автомата, находившегося как раз возле дома Барбары и ее мужа (откуда, кстати, был виден дом Пима и его жены) он позвонил Пиму. У последнего в те времена телефон предлагал всего три опции: «mijn gezien» (моя семья), «de collega's» (сотрудники), «de overigen» (прочие). Нажав кнопку 1 («mijn gezien»), Андерс спросил у Пима разрешения заехать, и тот, проверив на Андерсе все кнопки звукосигналов, наконец разрешил.

9.

Когда Андерс с женой зашли к в гостиную Пима, у него резко зазвонил один из трех телефонов, а на белом плато, прикрепленном к стене, начали ритмично мигать два красных слова: «MIJN GEZIEN». Пим жестом пригласил гостей присесть, затем взял трубку, сказал:

«Пим ван Риддердейк».

Потом «да» – и снова «да». Потом:

«Мои соболезнования. У вас найдется секундочка? – получив утвердительный ответ, он повернулся к Андерсу с женой и сказал: – Барбара скончалась».

После этого, снова в трубку, произнес:

«Благодарю вас за информацию».

А затем:

«У вас есть рядом ручка?.. Великолепно. Записывайте».

И затем:

«Два – четыре – шестьдесят три. Также: два – семь – девяносто один. Также: два – один – пятьдесят шесть. Повторяю...»

И он повторил свои номера:

«Два – четыре – шестьдесят три. Теперь: два – семь – девяносто один. И затем: два – один – пятьдесят шесть».

«Теперь я запишу ваши номера, – продолжал Пим. Так... так... так... это служебный? Превосходно. Теперь приватный... так... так... так... Отлично. Я повторяю...»

И он повторил два телефонных номера того, кто был на проводе.

«С кем это он говорит?» – шепотом спросила жена.

«Не знаю, – сказал Андерс, – а что?»

«Мне кажется, это тот, кто занимается делами Барбары. Ну, поверенный. Или адвокат... Или, может быть, врач?»

«С кем ты говорил?» – спросил Андерс, потому что Пим как раз в это время положил трубку.

«С мужем Барбары», – сказал Пим.

И добавил:

«Э-э-э-э, пардон, со вдовцом. А что?»

10.

Андерс снова обнаружил себя в доме Кристы и Йохана. Он твердо уверился в этом по тому,

что Криста громко сказала:

«Ну ладно, разговоры - разговорами, а мне надо готовить еду».

Обычный компатриот Андерса, вне всяких сомнений, возликовал бы от перспективы заполучить дармовой обед. Но, в силу того, что с Андерсом произошла какая-то мутация – или он чем-то заразился от жены, которая была частицей иноземного хора, – он думал о данной перспективе совместной трапезы с искренним ужасом. (А что еще *искреннего* остается от человека, если, хорошенечко потерев, отскрести от него тонкую патину цивилизации?)

Андерса ужасал не сам обед (хотя наблюдать удовлетворяющего свою пищевую потребность Йохана – и в особенности слушать его кабаньи шутки – являлось рвотным средством само по себе) – Андерса куда больше угнетала подготовка к обеду, то есть действия своей сестры.

Женщина живая, номинально образованная, наделенная кокетливым (хотя и сугубо поверхностным) артистизмом, она полностью эту живость утрачивала, едва прикоснувшись к сковороде. Происходило, буквально, мгновенное перевоплощение: едва взявшись за означенную сковороду, Криста оказывалась плотно укутанной толстой муфтой мысленепроницаемой тупости. Эта муфта была так толста, что изменялись и сами движения Кристы: все они делались толсты, тупы, неповоротливы. Каждое ее движение будто говорило: видите? Видите, как я, готовя пищу для семьи, *кладу на это свою жизнь*? Как *бессловесно жертвую собой*? Видите, что я делаю во имя Величайшей Женской Миссии? А знаете, почему? Потому что мне известна Высшая Кухонная Мудрость бытия, а все вы – все до одного! – попрыгунчики и шалопайчики.

С каждой минутой эта ужасная муфта вокруг Кристы, все более уплотняясь, превращалась словно бы в громадный чугунный кокон. Криста, слепая личинка этого кокона, становилась еще более тупой, максимально тупой, тупой беспредельно – и при том словно бы «скорбной» (познавшей некую скорбную истину): это был апофеоз животной тупости.

Йохан никогда не разговаривал с Кристой во время этих ужасающих, сравнимых разве с процессом отела немолодой коровы, ежедневных эпизодов – они, как можно догадаться, вообще разговаривали друг с другом крайне мало: что-нибудь вроде – куда ты дел зелёную крышку от серой кастрюли – или: где мои носки. Однако, случалось, у них бывали гости (в основном, приятели из постоянных клиенток Кристы: она занималась шитьем на заказ). В таких ситуациях гости разговаривали, главным образом, с Йоханом, но иногда, приличия ради, просто для демонстрации того, что не забыта и хозяйка, бросали малозначащие реплики в сторону Кристы – которая, каменно ступая, совершала свой тяжкий, кровавый, коровий отел здесь же, в гостиной, вмещавшей в себя кухню. Однако даже эти пустоватые, ничтожные реплики из светского политеса лавочников натыкались на такую броню молчаливой и грузной кухонной мудрости, что у гостей сводило скулы от ужаса – как если бы всю гостиную внезапно заполнил собой гигантский скалоподобный сфинкс.

Несколько раз Андерс и его жена, которые заезжали к Кристе по делу (в области модных фасонов и выкроек), останавливались в ошеломлении на середине фразы: если в это время Криста бралась за сковороду, то любая фраза обрывалась – потому что любой, произнося что-то очень для него важное и натыкаясь при этом на мутный, ничем не пробиваемый, обращенный к капусте, гороху и репе, взор кухарки, чувствовал, что за ней, этой кухаркой, стоит энигматическая земная истина, несокрушимая мощь и вселенская правота; он чувствовал кроме того, что она, кухарка, является сердцевиной данного мира, его осью и его основой (хотя с позиций здравого смысла такая комбинация невозможна), а он, мелящий языком, – так себе, не к месту расшалившимся карапузом. Да что там говорить! Даже царь Соломон, окажись он перед Кристой в момент кухонной ее готовки, почувствовал бы себя ни кем иным, как лопоухим шалопайчиком.

II.

Андерс отсидел весь обед по той причине, что все еще надеялся на чудо. Обидно было ему, уже не вполне мальчугану, который ужа раз плюхаться в давно уготованную лужу. Сестру он знал хорошо, но почему-то – может быть, с отчаянья – понадеялся, что ее житейская мудрость, упло-

щающая всё и вся, переводящая в двухмерность даже Господа Бога, – эта житейская мудрость, такая же спокойная, медлительная и неодолимая, как асфальтовый каток, облегчит его боль пусть кратковременно – хотя бы как первая помощь тяжелораненому.

Однако вышло иначе. Ненавистным ему ритуалом готовки он оказался ранен еще больше, а уйти не смог, поскольку, сразу по приходу, опрометчиво заявил, что располагает временем (так что Криста немедленно прикомандировала его чистить картошку и лущить бобы).

Вышло иначе – еще и потому, что после обеда Криста дала ему один полезный адрес, которым он мог воспользоваться в случае надобности.

А третье непредсказуемое обстоятельство заключалось в том, что Андерс, чистя картошку, внезапно заметил на кухонной стене een tegeltje,* который раньше висел на том же самом месте лет пятнадцать. И для Андерса, все эти годы, он оставался невидимым. А тут вдруг het tegeltje словно сам, собственной волей, четко вычленился из роения и тесноты мелких предметов кухни:

VAN HET CONCERT DES LEVENS
KRIJGT NIEMAND EEN PROGRAMMA.**

Сказать по правде, Андерс, в душе своей, всегда немного иронизировал над тяжеловесной мудростью крестьян, любых *едоков картофеля*... Этот многозначительный тон казался ему всегда чем-то самим собой разумеющимся – ведь полуграмотность неизбежно сращена с пафосом – притом мрачным, неповоротливым, самопародийным. Однако до градуса ехидной насмешки его бархатистая ирония никогда не доходила – все-таки домашнее воспитание Андерса было вполне традиционным, то есть следовавшим наиглавнейшему правилу (тех же *едоков картофеля*) – правилу, также высеченному на кухонных скрижалях: «Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg».***

Конкретно это означало вот что: не имей мнений; не выделяйся; извиняйся с придурковато-вежливой улыбкой перед туристом-японцем за свое незнание японского языка; извиняйся с вежливо-придурковатой улыбкой перед беженцем-угандийцем за свое незнание языка ачоли; ни в коем случае не одалживай денег у частных лиц; ни в коем случае не одалживай денег частным лицам; не читай заумных книг (а лучше не читай книг вообще – ну разве что Библию); не позволяй какому-либо хобби превратиться в страсть; не задумывайся глубоко (а лучше – не задумывайся вообще); копи деньги; время для печенья с чаем – восемь часов вечера; в Испании – жаркий климат; в Румынии – бедное население; хорошая погода всегда лучше плохой; иметь много денег всегда лучше, чем иметь мало; вкусная еда всегда намного вкусней, чем невкусная – и т. п.

Андерс прислушался к внутреннему голосу и услышал, что это голос жены. И он вновь убедился, что с какого-то неуловимого времени у него не стало внутреннего голоса, даже того, робкого, ущербного – изначально полузадушенного вышеозначенным краеугольным нидерландским правилом «поступай обычно», которое практически осуществлялось через подчинение мамаше, директору гимназии, декану отделения в колледже, немецкому надсмотрщику на дрезденском заводе, вышестоящему боссу на страховой службе, приходскому священнику, Господу Богу – не стало даже того робкого, очень приличного полузадушенного голоса, а вместо него в сознание Андерса вселился отчетливый, постоянно звучащий голос жены (хотя она никогда ничего подобного в реальности не произносила).

Он убедился, что у него не осталось даже и своего зрения, его кто-то подменил зрением жены, но ужас заключался в том, что его душа, душа Андерса ван Риддердейка, оставалась прежней – он, Андерс ван Риддердейк, с макушки до пят, остался сыном этих обширных водных пространств, этих крошечных домиков (которые дураки-туристы считают «кукольными», «игрушечными», почти сувенирными, не понимая, что они таковы от бедности и тесноты, от скудости, от нехватки пространства – самого важного, что необходимо всему живому); все привычное, прежнее, свое

** Изразец. (Нидерландск.)*

***На концерт жизни никто не получает программки. (Нидерландск.)*

**** Поступай обычно, это уже достаточно безумно само по себе. (Нидерландск.)*

- стало ему, Андерсу ван Риддердейку, немилым, чужим – и вот он чахнет, он медленно умирает от этого несоответствия между своими же собственными свойствами: его душа словно безоговорочно отторгается телом.

Он снова взглянул на het tegeltje – глазами жены – какими ж еще – и, к ужасу своему, уловил, какой-то иной, новый, прежде ускользавший от него смысл.

12.

Себастиан ван дер Аалс, учитель той Влаардингенской мужской гимназии, где добывал знания Андерс, был родом из Фландрии. Он преподавал нидерландский язык и литературу. Кроме того, если заболевал историк, человек крайне желчный, хромой – и вдобавок заика, господин ван дер Аалс, к шумной радости гимназистов, брал в руки и курс Всемирной истории, ловко выуживая из подведомственной ему канализационной Леты множество таких (специфически помогавших Провидению) деталей, как сексуальные забавы греческого философа – или циклопический половой орган римского полководца – или различие в размерах молочных желез у леди Помпадур, etc.

Во время Первой мировой войны, живя еще в Бельгии, он получил осколочное ранение в спину, из-за чего в ней пострадало несколько грудных межпозвоночных хрящей; это привело поврежденную ткань к атрофии (усыханию), а самого увечного – к необходимости пожизненного ношения жесткого корсета. Наличие под бельем *загадочного корсета* (о котором знала, конечно, вся гимназия) проявляло себя в спесиво закинутой голове, противоестественно выгнутой шее, паранойяльной палкообразности всего тела – и зловещем отсвете словно бы неизбежного рокового конфликта. Короче говоря, благодаря корсету, Бас (как его называли приятели – и, за глаза, ученики) внешне напоминал сразу двух трафаретных сценических персонажей, типичных для увеселительных летних павильонов в провинции, а именно: белогорячечного гусара, маниакально алчущего дуэлей, дебошей и мордобоя – а, наряду с ним, как ни странно, – дидактичного, железного, несгибаемого дурака-резонера.

Из классического гусарского набора в его характере присутствовало, пожалуй, лишь волокитство, но зато волокитство это, словно восполняя отсутствие всех прочих гусарских свойств, было отменным.

Ну что значит – «отменным»? Представим себе давным-давно впавший в анабиоз, принципиально безбурный, занудный, большей частью дождливый кальвинистский городок. Всех событий от Пасхи до Пасхи – сломанная рука градоначальника да похороны ветеринара.

Но зато... Зато ближе к вечеру можно съездить в Амстердам или в Хаарлем – или, скажем, в Гаагу, если на то пошло.

Вот, например, медицинские женские курсы Святой Гуделлы (Sint-Goedele). Они расположены в здании одного из бывших амстердамских женских лицеев – как раз между реформаторской кирхой и австрийским кафе «Sacher». Этот промежуток тротуара под липами, при хорошей погодке, – лучшее место для уловления молодых душ, недостаточно укрепленных Господом в их неравной борьбе с желудком. А он, то есть желудок, жаждет венских пирожных – воздушных и одновременно пышнотелых – да к тому же нарядных, как избалованные невесты.

Позвольте вас угостить, юффрау. Ах, ну что вы, мениир. Нет, в самом деле, отчего бы нет, юффрау... как вас, кстати, зовут? Дело в том, у меня, знаете ли, дочурка на вас похожа (шаблонная ложь человека, не искалеченного талантом сочинительства). Ах, как я тоскую по моей Конни! А где же она? Она учится в Париже (да-а-а-а?), в частном пансионе. И, знаете, тоже ужасно любит венские пирожные. Конни может съесть их целых полдюжины в один присест. Ах, правда? Конечно, правда. А вы, стало быть, учитесь на сестру милосердия? Да, это так, мениир. *Die Küchens zergehen auf der Zunge...* (*Пирожные тают во рту*, как говорят немцы и венцы... Впрочем, разница небольшая, хе-хе...), а мениир, пошучивая шуточки, угощает: Indianerkrapfen (круглым шоколадным пирожным), потом обворожительным Mohrenkopf (шоколадным пирожным с кремом)... но самое сладкое... но самое сладкое пирожное еще впереди.

Происходит закрепление знакомства на уровне условного рефлекса: такой занятный (хотя и немножечко нервный), обаятельный, одинокий господин – предупредительный, ласковый, щедрый – подаваемый словно бы на том же подносе, что чашечка горячего шоколада и Windbeutel (восхитительное пирожное со взбитыми сливками). Проходит некоторое время (пару недель), и вот сама же курсистка осуществляет посильный подкуп сторожа, из чего вытекает жанровая сцена под названием «Получение заветного ключа», далее следует проскальзывание в дверь, холод и дрожь тела при прохождении словно бы совсем другими, нежели днем, безлюдными коридорами; арка, еще одна арка, вход в класс, стыдливое совлечение облачений (едва ли не лучшая часть этого мероприятия), жадное пожирание пирожных сладострастия (на учебно-госпитальной койке для истинных сестер милосердия), тошнотворное, однообразное чувство насыщения – и жалкая контрибуция соблазнителя в предвечно переполненную копилку пустых слов: ах, юффрау, должно быть, милосердие вы получили в дар от Господа нашего – да-да, еще при самом вашем рождении!..

А затем, месяцев через пять: что это ты словно бы располнела, дочка? Ах, мама, я ем много пирожных, тортов... вообще много сладкого. Главное же пирожное, наисладчайшее, которое господин ван дер Аалс называл *der Liebensknochen met die ramige Gebäckfülling* (эклер со сливочной начинкой), будучи самой природой закрепленным в его межножье, находилось в этот момент в непосредственной близи от его согнутых чресл. А сами чресла, с начала учебного часа, бывали им, в акте послушливой пунктуальности, водружены на учительский стул, незыблемо стоящий перед учительским же столом, в одном из классов Влаардингенской мужской гимназии.

И – поминай как звали.

За двадцать лет такой практики он не попался ни разу – ни разъяренным родителям, ни их запоздало прозревшим дочерям.

Жил, как все утонченные сладострастники, холостяком.

Получил крохотное наследство, приноровился пользоваться услугами проституток. Это было абсолютно безопасно с точки зрения «скандала в благородном семействе», и... абсолютно скучно для сердца, тронутого червоточиной старомодного авантюризма

Когда-то внушительная шевелюра Себастиана ван дер Аалса к выходу последнего на пенсию стала напоминать мочалку – крайне истертую мочалку – какой по очереди, годы за годами, осуществляет свою тщательную помывку многочадное, все прирастающее семейство клинически жизнелюбивых африканских голодранцев.

На клочок мочалки стал также походить (уже навсегда скрытый от женских взоров) всесильный некогда властелин жизни.

13.

Отношение этого *наставника* к Андерсу-гимназисту – зачерпнем из жуликоватого словаря дипломатов, газетчиков и прочих прохвостов – «являлось несколько неоднозначным». Андерс, сам того не желая, выказывал гуманитарные – в частности, литературные – способности, то есть являлся фигуркой, которой можно было в нужный момент отвлечь внимание директора от беспробудной эмоциональной тупости многочисленных балбесов – в основном, сынов местных фермеров и торгашей. Но причина упомянутой «неоднозначности», ее главная загвоздка, заключалась в том, что, помимо сладострастия, беспокойный Бас терзался грешком графомании (которая, по-видимому, разнузданно управляется одним тем же порочным мозговым центром). И, в силу этого, господин ван дер Аалс ненавидел Андерса ван Риддердейка как настоящего соперника – притом люто, беспримесно – ибо даже не мог (дабы не нарушить хрупкой видимости благоденствия в своем классе) эту ненависть проявить.

Кургузых стишат самого Баса хватало лишь на то, чтобы время от времени выманивать на травку какую-нибудь деваху из окрестных фермерских работниц – ну это als het gras twee kontjes hoog was.* Он находил особый нутряной шарм в этих широкоплечих, грубо сколоченных, воз-

* *...если трава была в две задницы высотой (Нидерландская поговорка. Прим. автора.)*

буждающе-сиплых девахах, законно вкушавших – после всех своих густо унавоженных забот – пару часиков вечернего перерыва. В большинстве своем, несмотря на животную жадность детородных утроб, они (к их чести надо сказать) бывали в часы пасторальных рандеву куда более сентиментальными и даже нежными, нежели избалованные амстердамские zoeterkoeien.* (Хоть какой-то прок для порока от скособоченного рифмоплетства: будь стихи подлинными, их невозможно было бы приспособить даже для такого нехитрого дела.)

Когда Бас, уже вышедший на пенсию, узнал, что (вернувшийся из Германии) Андерс ван Риддердейк женился – и, кроме того, встал на путь конторского служащего (то есть утратил потенцию былого поэта-соперника), он постепенно смягчился – и даже стал выказывать Андерсу при уличных встречах явные знаки расположения. Несколько раз они случайно встретились в кафе (Андерс был с женой), и там, втроем, сидя за стойкой бара, пили красное домашнее вино, причем Бас, склеротически разрумянившись (сетка на его щеках напоминала ажурные женские чулочки), – лихо процитировал, почти без запинки, строчек шесть из Найхоффа, а затем, пользуясь тем небесспорным алиби, которое дает старость, слюняво вгрызся в ручку Андерсовой жены.

14.

«Это что, стишки?» – брезгливо поморщился учитель.

«Нет, – удивился Андерс. – Я так не думаю. Просто записал... набор горестей, что ли... Что, где и как болит – в таком, что ли, духе».

«А я думаю, Анди, это стишки. Вот глупость-то несусветная! Или жена у тебя любит стишки?»

«Ну... как сказать...»

«Погоди-ка...» – Бас придвинул поближе листки, поправил очки и, к ужасу Андерса, громко, с омерзительной канцелярской интонацией, мощно сопя от старания, продекламировал:

бессчетное множество раз
я признавался себе,
что ты уже не вернешься ко мне,
не вернешься вовек,
но даже не это было самым страшным,

знаешь, мне казалось,
вот что самое жуткое,
не совместимое с дыханием,
не совместимое с биением сердца:
мне казалось,
я не встречал тебя никогда,
ты не была даже рядом со мной никогда,
и даже сон о тебе был чужим...

Голова Баса, из-за корсета и выгнутой шеи, оставалась, как и всегда, словно бы «вдохновенно откинута», отчего впечатление выходило еще омерзительней.

«А что? Недурственно, если подумать... Все дамы любят стишки – брось ты, Анди, будто не знаешь... Только не надо так мрачно! Вот посмотри, как у меня... сейчас...»

Несмотря на возраст, он ловко, то есть привычно, нырнул в свой канцелярский шкаф. Для этого ему надо было сделать просто два шага по гостиной и открыть дверь кабинета. Папка, которую он мгновенно достал, имела желтоватый (скорее, грязно-белый) цвет, шнурки у нее были оторваны.

Бас сел за фортепиано, поставил на место для нот один из листков и, бегло, слегка даже не-

* *Сладкоежки. (Нидерландск.) Буквально – «сладкие коровы». (Прим. автора.)*

ряшливо, перебирая клавиши, затянул хмельную мелодекламацию:

Женщина – это Леда и лебедь едино.
Да: Леда и лебедь.
Что в ней от Леды?
Предчувствие лебедя.
Что в ней от лебедя?
Шея и белизна.
Крылья и верность.
Да: верность!
О, госпожа!..
Я – твой лебедь...

И – несколько эффектных элегических аккордов вдогонку – словно бы впадающих в истому, в сладкую посторгиастическую дрему. И – откровенно победоносный взгляд в сторону Андерса.

Тот осторожно взглянул на выстроенные в ряд папки – их корешки виднелись в проеме кабинетной двери, тошнотворно напоминая старые, истертые, давно не чищенные зубы. Продукция внутри этих папок наверняка имела запашок хронического кариеса...

«А? так-то, парень, – учитель аккуратно вложил листок назад в папку. – Бабы сыпались, словно град небесный, дай бог ноги. Да, вот так, Анди... Бывали времена... – его глаза вдруг резко покраснели, как у вампира на картинке из детской книжки. – А теперь...– он потянулся к бутылке. – Анди, старина! Меня никто не понимает!..»

«А женщины?» – машинально отозвался Андерс.

«Женщины!.. – презрительно хрюкнул учитель, и его физиономию исковеркал жуткий сардонический оскал, словно он, укушенный заразным псом, вот-вот отдаст концы от клинического бешенства. – Возвышенная поэзия для них, Анди, – всего лишь аперитив к главному блюду... к мясному блюду... к мясному блуду, я хотел сказать...» – его язык уже заплетался.

(«Господи! – с отчаяньем взвыл про себя Андерс, которому поздновато открылась зловещая перспектива собственного визита. – Кто это из классиков сказал, что ни в коем случае нельзя находиться ночью в одной комнате с борзописцем? Ибо затерзает тот до смерти чтением своих опусов? Кто? Кажется, Chekhov?»)

15.

Каспар ван дер Брюгген, психиатр, практикующий частным образом *коммуникативную психорелаксацию,* то есть свой запатентованный метод (притом в те библейские времена, когда психотерапевты в Европе еще не кишели кишмя, как бесы на кончике иглы), мениир ван дер Брюгген, врачеватель, порекомендованный Андерсу Кристой, жил возле зоопарка, в районе Blijdorp.* Этот северный район Роттердама вполне оправдал свое название во время бомбежки тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда души менее счастливых (т. е. проживавших ближе к центру) роттердамцев, мгновенно оказались катапультированы за пределы земных понятий.

Через сорок с лишним лет после той бомбежки, некой ночью, *при крупных летних звездах*, крупнейший поэт эпохи, силой тканевой несовместимости отторгнутый из давшей ему жизнь страны, будет сидеть в центре Роттердама, на самом верхнем этаже небоскреба (который корбюзьевским чертополохом взошел из этой скудной почвы, интенсивно удобренной в одночасье человеческими телами и раскаленным металлом), – этот поэт будет сидеть в фешенебельном ресторане, попивать превосходно расслабляющий напиток из высокосортного винограда; он будет сидеть *на уровне, достигнутом уже взлетевшими здесь некогда на воздух,* – и открытая память, как открытая рана, лютой болью захлестнув его глотку, не даст сделать большому поэту большой

* *Счастливая деревня. (Нидерландск.)*

русский глоток.

...На протяжении монолога, то есть робкого ручейка жалоб, принадлежавшего пациенту, мениира ван дер Брюггена, специалиста в области психорелаксации терзали две мысли. Вообще-то это были, скорей, ощущения, потому что *работал он хорошо*, то есть никакие мысли (издержки рабочего процесса) у него не должны были возникать по определению.

Первое ощущение касалось обеда. К счастью, голоден психиатр не был, а то пришлось бы ему, булькающему желудочным соком, чего доброго, мысленно медитировать, дабы как-то скрыть свой голод и ненависть к пациенту. Но специалист в области психорелаксации был не настолько неосмотрителен, чтобы мучить себя визитерами в непосредственной близости наступающего обеда.

Сеанс с Андерсом ван Риддердейком был назначен на послеобеденное время. Однако – вот незадача – сегодня психиатр растянул обеденную трапезу (она, надо сказать, того стоила), а потому не успел вздремнуть. То есть он поел плотно, очень даже плотно, и, в силу этого (а именно – в силу крови, позорно предавшей мозг и ринувшейся подхалимски обслуживать желудок), психиатр мучительно хотел спать. И «мысль» его (назовем так) – по поводу происходившего – была соответствующей: «Godverdomme, надо было пообедать быстрее – тогда бы успел и вздремнуть... Идиот!»

И вот, борясь с послеобеденным, то есть самым злокозненным Морфеем, психиатр, время от времени (как это делают полусонные водители, будя самих себя, дабы не влипнуть в аварию), бросал Андерсу несколько фраз из своей профессиональной коллекции. Например:

«А теперь повторите все то же самое – с самого сначала и, вот что важно, -гораздо, гораздо медленней».

Или:

«Если у вас возникают мысли о самоубийстве, почему вы до сих пор не осуществили свой план?»

И затем снова:

«А теперь повторите все то же самое – с самого сначала и, вот что важно, гораздо, гораздо медленней».

Или:

«Вам полезно поплакать. Выплакаться вам даже необходимо. Плачьте сейчас, если можете».

«При вас?» – вежливо уточнял Андерс. (Вспоминая одновременно, как в этот зоопарк, что расположен совсем близко, ходил однажды в детстве с отцом.)

«Да-да, здесь, при мне. Я вам вот что посоветую. Прочтите-ка вслух свои жалобы. Читайте громко, нараспев. Салфетки, хе-хе (все мы люди), – вот в этой вазочке, прямо перед вами».

То есть психиатр, предаваясь скромной отраде сна – то с вытаращенными (как бы в сочувствии) – то с полуприкрытыми (как бы в сострадании) глазами, что-то такое, одновременно, сомнамбулически все же артикулировал (как-никак – богатая практика, опыт, профессиональный навык).

А пациент, то есть Андерс, едва начав читать, уже плакал навзрыд. Довольно шаблонно. Содрогаясь всем своим торсом, лая, кашляя, судорожно вздыхая, сморкаясь (словно имитируя влажное хлопанье чьих-то перепончатых крылышек) – и навязчиво прося прощения у спящего психиатра за каждое из этих своих действий.

Но было бы несправедливо считать мозг психиатра спавшим вполне беззаботно, поскольку здесь еще не было сказано о второй терзавшей психиатра мысли. Недавно побывавший у своего дантиста, специалист в области психорелаксации еще не успел привыкнуть к результату сложных, дантистом произведенных перемещений в своей ротовой полости – в частности, таких, когда два коренных зуба, один за одним, словно удаленные с поля желтоватые шахматные фигурки, с ужасающим звуком звякнули о дно никелированной пыточной мисочки, а в глубине рта, с обеих сторон возникло ощущение невосполнимых, противоестественных для телесного состава дыр.

Однако сейчас его беспокоили даже не они, а нечто более привычное – небольшая щелочка между верхним левым латеральным резцом и соседствующим с ним клыком. Именно в это щелке угнездился небольшой кусочек escalopes de dinde aux nectarines.* Проще сказать, застряло там какое-то индюшачье мышечное волоконце. Будучи малым и ничтожным, оно однако доставляло Каспару ван дер Брюггену мучения невыразимые. Он, буквально, умирал от желания выковырять, выдрать этот кусочек сейчас же, здесь же, при пациенте; он уже больно натер кончик своего языка, с маниакальным упорством теребя и теребя этот мерзкий межзубный улов, – и люто ненавидел пациента за то, что в его присутствии не мог позволить себе сделать простейшее действие, в каком так отчаянно нуждался. Бодрствовавший участок его мозга, довольно скромный, но полностью поглощенный страданием – именно в силу страдания не спавший – время от времени продуцировал мысль: «Godverdomme, надо было бы зубочисточкой... Не успел... шикарная индейка...»

Андерс рыдал.

Уже осушив слезы, он, по указанию психиатра, рассказал свою историю с самого начала и вот сейчас безвольно вплывал в третий круг скорби.

«Я принесу вам воды», – сказал Каспар ван дер Брюгген.

«Ах, спасибо!» – скорей, показал, нежели произнес Андерс.

«Не стоит благодарности», – с важной дидактичностью откликнулся психиатр.

Перед зеркалом ванной комнаты (предварительно заперев ее на бронзовую парижскую задвижку в виде русалки) он энергично, с наслаждением, поковырялся в проклятущей зубной щели. Почувствовал облегчение...

Кстати сказать, словно бы испугавшись этого (произведенного зубочисткой) активного действия, сонливость психиатра стремительно капитулировала. Белый флаг вожделенной доселе постельной наволочки лишь мелькнул пред мысленным взором психиатра – и растаял. Он вспомнил про пациента – и налил в стакан воды из-под крана. Тут он, словно бы заодно, вспомнил еще кое-что: взбодрившийся мозг, словно заждавшаяся борзая, жадно набросился на умственную задачу. «Там какая-то путаница с его почтовым адресом... надо незамедлительно уточнить... – произвел интеллектуальную работу мозг психиатра. – Такое уже случалось – кажется, лет семь тому: счет пришел назад! Слава Господу, что я вспомнил про адрес сейчас, а то бы пациент так и ушел!»

...Когда со стаканом воды на подносе, словно слуга из провинциального водевиля, психиатр вернулся в свой кабинет, Андерс, обессилевший от рыданий, свесив одну руку за борт глубокого кресла, измученно спал.

***

Gelijk aan het water
het aangezicht is tegen aan het aangezicht,
Alzo in des mensen hart tegen den mens.

Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку.
(Притчи Соломона, 27 – 19)

***

* *Эскалоп из индейки с «лысыми» персиками.(Фр.)*

Часть пятая
1960 и 2010

*EER IS EEN TIJD OM TE STERVEN**

1.

Из дневника Андерса:

«12-е августа, 1960-го г.

Цикл моей жизнедеятельности, не помню, с каких пор, стал протекать следующим образом.

В магазине я перекладываю продукты, один за другим, с торговых прилавков в тележку. Подойдя с тележкой к кассе, я перекладываю продукты, один за другим, из тележки на прилавок кассы. Заплатив по счету, я перекладываю продукты, один за другим, с прилавка кассы в тележку. Подкатив тележку к багажнику, я перекладываю продукты, один за другим, из тележки в багажник машины. Подъехав к дому, я перекладываю продукты, один за другим, из багажника в большие пакеты. Зайдя в кухню, я перекладываю продукты, один за другим, из пакетов на стол. Открыв холодильник и кухонный шкафчик, я перекладываю продукты, один за другим, со стола на полки холодильника и кухонного шкафчика. Раскрыв рот, я перекладываю продукты, один за другим, из холодильника и шкафчика, в ротовую полость. Из ротовой полости продукты попадают, один за другим, в мой желудок, в мой кишечник, в closetpot.** Когда продукты заканчиваются, я еду в магазин.

Богооставленность – ах, ах – богооставленность! Разумеется, именно такой диагноз поставят мне безостановочно благоденствующие в лоне церкви. Да, именно так скажут они – поквакивая, покрехтывая, попукивая мозгами, поквохтывая... Тараканы вы недодавленные, клопы пучеглазые! Беспробудно тупая, самодовольная моль».

2.

Из дневника Андерса:

«23-е августа, 1960-го г.

Конечно, я плохой христианин. Но, по-моему, честней и, уж всяко достойней, быть *плохим христианином* (или не быть им вообще), чем *хорошим болваном*.

В гимназии я должен был вызубривать наизусть, кто там кого родил, кто от кого родился, кто сколько лет жил. Ну да, вот это: по рождении Малелеила жил Каинан восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей, всех же дней Каинана было девятьсот десять лет...Малелеил жил сто шестьдесят пять лет и родил Иареда....по рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей, всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; (Godverdomme! Зачем мне все это?!); Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха, по рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей, всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; Енох жил сто шестьдесят пять лет и родил Мафусала, Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха, по рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей, всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; Ламех жил... (Чем это копошение имен и цифр укрепило мой дух?)

И попробуй я вякни по ошибке, что не Малелеил родил Иареда, а, скажем, Иаред родил Малелеила. Или что Енох жил не сто шестьдесят пять лет, а сто семьдесят семь. Ох, что было бы! Скандал даже трудно себе представить.

А вот в Дрездене, в середине февраля тысяча девятьсот сорок пятого года, как раз в День влюблённых, *освободители* взяли и укокошили просто так (потому что люди, плоть от плоти всех

* *Время - умирать. (Нидерландск.)*

** *Унитаз. (Нидерландск.)*

этих малелеилов, не могут жить без массовых кровопусканий) – взяли и укокошили просто так (*за милу душу*) – то ли двести пятьдесят тысяч мирных жителей – то ли все пятьсот... какая разница... (А по другим отчетам – всего ничего – каких-то там двадцать – тысяч... капля в море!) И до сих пор боевые друзья-союзнички тычут друг в друга *натруженными указательными,* утверждая, что это было сделано либо по наущению именно противоположной (грешной) стороны, либо для запугивания стороною чужой (грешной) – стороны своей (праведной), либо в том была «объективная необходимость». Да что там Дрезден! А Хиросима? А Нагасаки? А...

Всех-то дел: люди укокошили людей. И будут продолжать в том же духе – ныне и присно, и во веки веков.

Но попробуй скажи, что Иаред родил Малелеила! Или что было ему при наступлении счастливого отцовства не восемьсот тридцать лет, а всего восемьсот двадцать пять (а чем он, кстати, занимался до этого? терпеливо ожидал наступления половой зрелости?). Ой, что будет! Лишат тебя, нерадивого, сначала десерта, а потом и обеда. Воспитание на уровне пищевого рефлекса абсолютно действенно, это надо признать. Если не универсально.

Черт их знает. Да, именно так: если их кто и знает, то исключительно черт. Утверждать, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему – Godverdomme! Да это же самое разнузданное, хулиганское богохульство, до которого только может допереть тупая, хищная, самодовольная обезьяна! Да за такую ересь ведь и на кол посадить мало! А пасторы? Боже, Боже, услышь меня – если Ты есть и даже если Тебя нет! – ведь это же морализаторствующие конюхи! – да и то в лучшем случае, ибо конюх-морализатор – если Ты есть и даже если Тебя нет – уж всяко должен быть Тебе симпатичней, чем обезумевший от наживы коммерсант. (Хотя – кто же знает Твои приоритеты?..)

По образу и подобию, ага. Если допустить, что это не богохульство, а истина в последней инстанции, следует ли мне считать, Господи, что Ты, как две капли воды, похож на тех босховских персонажей, коих зрю ежедневно? С другой стороны, если допустить, что Ты и впрямь на них похож, это многое в мире объясняет – если не все вообще».

3.

САМЕО*

Андерс, мой Андерс, привет, goede dag! Сегодня, десятого апреля, две тысячи десятого года, через девяносто лет после твоего рождения, я стою во Влаардингене, возле дома твоего детства. Его больше нет, как нет, конечно, и твоей матери, Берты ван Риддердейк. Всем тут заправляют чужие, незнакомые тебе люди. Часть твоего дома перестроена в обувную мастерскую, а часть – в маленькое кафе, куда я и захожу сейчас.

Вот, Андерс, я пришла к тебе в гости, хотя ты меня вовсе не звал. Вот, видишь – сажусь за столик – как раз в том месте, где ты обнаружил свою Lenore с мышью в зубах. Помнишь, Анди? Я-то помню, а помнишь ли ты?

Я приехала сюда, во Влаардинген, двадцать минут назад. Я не успела раньше, хотя и торопилась – в прошлом тысячелетии, в прошлом веке, при твоей жизни. Ты поспешил родиться – или опоздала родиться я. Но зачем объяснять это – тебе? Скорее всего, из своих внеземных измерений, ты видишь и понимаешь все куда лучше меня. И, главное, ты видишь скрытое от людей – временем, пространством, скудными человеческими возможностями.

Ты уже не человек. Но ты еще не персонаж. Кто же ты? Я не знаю. Ты некто, мучающий мое сердце очень давно. Могли бы мы встретиться на этой планете?

Кстати, могли бы. Тебе сейчас было бы только девяносто, а люди иногда живут дольше. Знаешь, мне однажды написала некая женщина из Парижа, петербургская княгиня первой эмигрантской волны: ей было сто семь лет. Она жаловалась на слабоватое зрение, прилагала к письму недавно написанные стихи и приглашала в гости. Позже, случайно, я узнала, что в пожилые годы,

* *«A cameo role», или «cameo appearance». (Англ.) Здесь: появление в кадре автора («режиссера»). Кинематографический термин.*

как это иногда бывает, она завела молодого кавалера и потому убавила себе (в документах, не как-нибудь) десяток лет. А значит, на самом-то деле я познакомилась с человеком не ста семи, а ста семнадцати (!) лет. И вот, проявляя невероятное старческое тщеславие, такое же удивительное, как старческая похоть, она горько сожалела об «урезанных» годах: кабы не эта ее выходка *по молодости, по глупости*, она попала бы в какую-то книгу рекордов...

Я это рассказываю тебе для того, чтобы наглядно доказать: мы могли бы встретиться еще здесь, на земле, да! Подожди... более того: я ведь уже довольно долго живу в твоей стране... Когда я приехала, тебе, Андерс, могло бы быть всего семьдесят пять. Всего семьдесят пять! Да: но что значит «могло бы»?

Подожди. Я запуталась. Дело не в том, когда я приехала. Ведь тебя не стало еще в то время, когда я была ребенком. Через год после твоей смерти мои соотечественники запустили в космос человека. А ты – ты-то свой космос к тому времени, наверное, уже освоил.

И вот в этом месте я рискую наткнуться на невидимую преграду. Нас разделяет не только пространство и время. Сейчас, сейчас... Я уже немного выпила... В кафе надо бы расслабиться – и нечего закручивать себе и без того перекрученные мозги... да-да *в рог барана*, как сказал мой лучший друг. С которым я тоже никогда не виделась на этом свете. Почему все наиважнейшие для меня люди (их парочка единиц) – все они уже потусторонние? Ты не знаешь, Анди? Почему я с ними никогда не встретилась в физическом мире? Хотя... так ли это важно? Более того: мне, видимо, повезло, что я с ними не встретилась в физическом мире.

Сейчас попытаюсь объяснить тебе кое-что об этой преграде – той, какую я чувствую между тобой и собой. Здесь имеет место причинно-следственная связь, неподвластная людям, но подвластная мне. Преграда – это моя иллюзия власти. А если моя власть не иллюзорна, то преграда – это мой страх перед ответственностью за эту власть.

Прости, Анди, я выпила. Сейчас... Дело в том, что ты совершил в физическом мире некий поступок... Такой, который тебя из него навсегда вычеркнул. (О, как это мудро, Анди! Тебя, исчезнувшего добровольно, я люблю еще больше.) И, раз ты совершил тот поступок сам, своей волей, значит, мне остается только записать его по готовой канве. Но...

Вот в этом «но» – самый смысл. Но – я уверена, что, запиши я твою жизнь иначе, и она там – пятьдесят лет назад, повернулась бы иначе! То есть ты совершил бы свой поступок именно по моей указке. Нет, даже раньше: не пятьдесят лет назад, то есть не в период твоего стремительного приближения к смерти, а девяносто лет назад, с самого твоего рождения, твоя жизнь повернулась бы иначе, если... Если бы иначе ее записала я. Господи, как это страшно, Андерс.

Вот запиши я, что это не Пим, а ты откупился от немцев сервизом... Даже помимо своей собственной воли откупился бы... Какая уж там «собственная воля»...

Понимаешь? И тогда это именно Пима бы (и поделом ему), а не тебя угнали в Германию. И тогда ты не встретил бы свою жену. И она не запела бы с женой Пима на Пасху тысяча девятьсот пятьдесят первого года. И не пошла бы в русский хор. И ничего бы не было «так далее» – из того, что произошло.

То есть я, из моего «будущего» могла бы распорядиться твоим «прошлым». Вот какое у меня самомнение, Анди! Самомнение – и неуверенность. Самомнение – и страх.

То, о чем я сейчас сказала, невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Преграда между нами – это сложные, *нелинейные* структуры времени, загадку которых, будучи человеком, я разгадать не могу. Преграда между нами – это сложные, опять же нелинейные, связи причин и следствий. Я, будучи человеком, могу сделать лишь поворот рычага – на бумаге, то есть на мониторе моего компьютера, – и далее истязать себя мыслью, что там, девяносто лет назад, совершенно иначе начнет складываться жизнь – твоя, тебя окружающих, вашего мира, мира как такового. Это возможно. То есть, не исключено.

Но я не смею. Мне кажется, что даже этим послушным записыванием *того что было на самом деле* (ага! как же!), я вызываю серию дичайших по мощи взрывов – там, в твоем прошлом. То есть я и сама не знаю, записываю ли по готовой канве – или канву создаю. Ну, это, ясный пень,

банально.

Банально, но оттого не менее больно, Анди! Я совершенно не знаю, как работает мое слово. Да и мое ли оно? Что у меня «моего» – кроме страха? Допустим, канва «существовала», я записываю по ней, и при этом там, «в прошлом» – да, «в прошлом», в неком *нелинейном* «прошлом», – создается иная канва. Господи боже мой! За что мне такая ответственность! И как можно нести ее на своих плечах, когда все основные (основные ли?) слова-понятия своего бытования я не могу даже не брать в кавычки! Прости меня, Анди, я выпила.

И все равно. Может быть, весь этот хор, этот русский хор, про который мой любимый Чоран сказал «Прекрасно, как русский хор» (я летела тогда из Швеции в Нидерланды и думала о тебе, и взяла в руки какое-то издание, и там была именно эта цитата – разве это не знак? не одобрение? не примета? не самое что ни на есть прямое указание на то, что я обязана написать о тебе, Анди?) – так вот: может быть, русский хор рухнул на твою бедную голову моей – именно моей, не чьей иной самодурской волей? И эта женщина из русского Полесья возникла именно моей волей – твоя жена, которую ты так смертельно любил?

А зачем любил, Андерс? Дурацкий вопрос – «зачем». Я имею в виду: зачем впадать в зависимость от *человека*? От жалкого, сваргаженного из самораспадающихся материалов, бренного *человека*? От этой слабой, капризной, полностью безвольной марионетки? Если хочешь ловить кайф – вон полно всякой *дури*, даже легально. В твое время она, наверное, узаконенной не была, но достать травки можно было всегда. И все равно: no women, no cry. Итак: для кайфа существует трава (дозируешь сам), я уж не говорю об архаичных формах кайфа, подвластного ведомству Бахуса, – ей-богу, больше здоровья сохранишь, а уж достоинства и подавно.

Зачем ты так любил свою жену, Анди?

Вот, скажешь ты, писатель с якобы *надмирным сознанием*, а ревность-то у тебя, автор, все та же, с человечинкой. Да, Андерс, да. Я люблю тебя, а эту любовь, которая уже сама собой разрослась, как опухоль, никакой травкой не забьешь. Ее можно лишь экстирпировать вместе с пораженным органом, то есть с сердцем. И, поскольку я люблю тебя, я говорю: сделай то, что задумал, Анди. Сделай это. Именно потому что люблю, я прошу тебя: уйди из этого мира грубых физических законов. А если этого не сделаешь ты сам, тогда вмешаюсь я.

А людей не бойся. Конечно, массового человека опасаться как раз надо. Созерцание его самого, его деяний, его потребностей – разрушительно для разума и души. Я имею в виду: не бойся *осуждения* со стороны стадных человеков. Принимай их благочестивое квохтанье за акустические помехи. Плюнь на них.

Давай перекурим? Я знаю, ты не куришь, но один раз, со мной?

...Конечно, Господь им – пастушок, а они – Его овечки. Ну, это не от злого умысла. Не от дурного вкуса. Не от тупоумия. Не от желания себе польстить. По крайней мере, не только от перечисленного. И даже не от лицемерия, их доминантной сути.

Это просто оттого, что так «исторически сложилось». У них других профессий при возникновении монотеизма еще не было. То есть, в массе своей не было. А потому и других метафор не возникало. Были пастушки – и были овечки. И пастушки убивали овечек – для пищевых нужд, для жертвоприношений, а Господь убивал их, паству, – уже из Своих собственных соображений.

Но потом, когда возникли другие профессии, корпорации сильно заспорили. Одни говорили: давайте будем веровать так: Господь – это Директор мануфактуры, а мы – его рабочие по найму! Другие – нет! – пусть он будет Директор банка – а мы – Его послушные клерки! Третьи – нет! – Он – Генералиссимус, а мы – его сочно-розовое пушечное мясо! Иные прочие корпоративные предложения были таковы: Владелец ресторана – и Его официанты; Сапожник – и Его подмастерья, Врач – и Его пациенты; Тюремщик – и Его заключенные (вот здесь, на мой вкус, гораздо «теплее» к картине мира); Собственник публичного дома – и Его проститутки... Ну и так далее.

Шутки шутками, а громадная доля правды здесь есть. Как писал американский классик: дайте мне Начальника – поклониться Ему в Большие Ноги.

А потом, чтобы никого не обойти, порешили назначить Его – Отцом, а эту *плесень на кусочке грязи* (цитата) – его детьми. И никому не обидно. Все мы – отцы и дети.

Но вот я, например, появилась на свет в результате ЭКО (экстракорпорального оплодотворения); своего биологического отца не знаю, отца-воспитателя не имела, своих детей у меня нет. Так что мне эта схема – Отец, дети – тоже не впору.

Но я, например, пишу музыку. Да, я пишу музыку, хотя об этом мало кто знает. И вот, в процессе, вымарываю, бывает, для одной мне ведомой гармонии, отдельные ноты, аккорды, десятки аккордов, сотни аккордов – да что там – вымарываю целые листы партитуры! Погибающие ноты вопят в ужасе: за что, за что?! Оставшиеся в живых вопят от животного страха: для чего?!

А для того, драгоценные, что цели Композитора ни в коей мере не совпадают с целями отдельных нот. Вы, нотки, желаете жить, жить – жить и звучать, любой ценой. То есть, в том числе, ценой нарушенной Божественной гармонии. Жить, только бы жить – хотя бы в виде шума. Но Он, Композитор, сделать вам этого не позволит. А какова она, Его гармония? Уж всяко не такова, как у до-ре-ми. Не должно всяким там до-ре-ми воображать себя в Центре Мира и считать себя венцами творения. (Ну-ну.) Не гоже. Особенно не гоже потому, что Композитор творит – постоянно – Свою Великую (Безбрежную) Космогоническую Симфонию.

Так что давайте договорился, что Он нам – никакой не отец (тем паче – не Отец). Давайте считать Его – Создателем, а себя – нотами или буквенками. О'кей?

А ты ничего не бойся, Андерс.

Я с тобой.

Ты слышишь меня, Анди?

Я с тобой.

4.

Из дневника Андерса:

« 3-е ноября, 1960-го г.

В связи с третей беременностью жены, я изучил все, что мне удалось обнаружить по теме о внутриутробном развитии человеческого плода. Я целыми вечерами просиживал в городской библиотеке Утрехта. (Особенно долго – во вторник и пятницу. До закрытия.) Еще пару лет назад таких материалов в широком доступе не существовало.

Сразу уточню: в первоисточниках содержалось гораздо больше информации. Здесь я привожу только поразившие меня данные, а *курсивом* – особенно меня поразившие (даже сразившие).

Вот некоторые из них: навыки и поведение эмбрионов.

Ну, например.

У 14-недельного эмбриона: первые проявления мимики: умение скашивать глаза, насмешливо улыбаться. (Боже, Боже! Мой Боже! – А. в. Р.)

У 24-недельного эмбриона: развитие мимики: надутые губы, хмурый взгляд (Езус Мария! – А в. Р.); напряжение мышц вокруг глаз, ассоциируемые с плачем ребенка.

У 30-недельного эмбриона: во время сна появляются сновидения, занимающие все время сна. (No comments. Нет, одно замечание: о чем он видит сны? о прошлых свои жизнях? – А. в. Р.)

У 39-недельного плода: демонстрируется четкий и ясный ритм пробуждения и засыпания и более отчетливый крик. (Еще бы. – А. в. Р.) Сновидения занимают половину времени сна.

Далее – мои комментарии.

Раньше считали: новорожденный плачет от боли (физической боли в акте рождения); кроме того, ведь происходит настоящее плодоизгнание из рая. Но сознание эмбриона (эссенция свободного света звезд), как видно, *гораздо раньше* понимает, в какой же его угораздило попасть замор. И потому сознание – спит. ("Лучше спать, чем слушать речи //Злобной жизни человечьей,// Малых правд пустую прю...") И смотрит сны. Но уже перед самым выходом в Открытый Физический Мир сознание сокращает время своих ностальгических сновидений. Трезвеет, бедняга. Скоро

(задыхаясь в мясной одежде, в телесном тесном платье человека) – в среднюю школу, в армию, в высшую школу, в брак, на каторгу службы! И улыбаться надо будет не *насмешливо*, а миленько, сладенько, коммуникативно, приятненько – для начальства и окружающих.

А по-моему, каждый, находящийся в процессе своего рождения, должен непременно иметь квалифицированного адвоката, ждущего наизготовку снаружи от материнскоголона. Конечно, в интранатальный период (т.е. непосредственно во время самого рождения) запасаться адвокатом уже поздно.

Это следует делать много заранее – сразу, как только наивная душа, соприродная свободному свету звезд, сдуру попадается в силки *бластулы* или, как ее там, *гаструлы* – когда она, душа, только начинает отчаянно биться в материальном капкане, ошалев от зверского предательства природы, обрекшей ее с этого мгновения изнашиваться, в позоре и страхе, внутри бренной материи, словно бы даже и неразделимо с позорной материей – и вот только тогда, за девять месяцев до рождения, если дальновидно продумать судилище против своих родителей, – только тогда твой первый крик при появлении «на свет» будет официально зафиксирован как *жалоба истца*, которого, нимало не спросив, лишили законного – законного "по умолчанию" – права быть нерожденным».

«P. S. Да нет, чего там, все в полном порядке – и старо как мир: богач, красавец, баловень судьбы молча стреляет себе в рот, а голозадый смерд шумно рад всякой ложке гороха...»

5.

Из дневника Андерса:

«*15-е ноября, 1960-го г.*

Вчера ночью, замученный громкой *непрерывностью* сердечного стука, решил подсчитать, сколько же ударов сердца (при пульсе 80 уд./мин.) отпущено человеку на жизнь. Ну, на таковую длиной, скажем, в 80 лет. Получилось вот что:

4. 800 сердцебиений – за час

115.200 сердцебиений – за сутки

41.472.000 сердцебиений – за год

3. 325.760.000 сердцебиений – за 80 лет

Три миллиарда! Вроде бы, немало... По крайней мере, соразмерно с понятными величинами: это примерно половина жителей Земли – и финансовое состояние какого-нибудь миллиардера...»

Из дневника Андерса:

«*2-е декабря, 1960-го года.*

О боже (Боже), – как писать тебя (Тебя) – с маленькой или с большой? – помоги, помоги, помоги».

6.

Шла рождественская, тысяча девятьсот тридцатого года, служба во Влаардингенской Grote Kerk. На груди Андерса тогда висел новый шотландский шарф в красно-серо-черную клетку, подарок отца, – пушистый шарф, который Андерс потихоньку гладил, когда разрешалось отложить молитвенник. В кирхе была устрашающая акустика, так что, когда во время паузы кто-либо из прихожан вздыхал, но не умиленно и просветленно, а устало и, может быть, даже безнадежно, этот неподобающий звук немедленно, и, как казалось, в многократно усиленном виде, достигал ушей пастора, а возможно, самого Всевышнего.

Поэтому можно без труда представить всю мощь громовых раскатов, когда во время одной из маленьких пауз, предполагавших самоуглубленное единение с новорожденным Господом, кто-то

невероятно громко, с полувопросительным звуком, испустил кишечные газы. К счастью, в тот же миг, яростно сострадая, грянул многоструйный орган. Представители паствы, все как один, немедленно зафиксировали свои глазные яблоки в долженствующих положениях: кто подъял к люстре, кто потупил долу. Однако во время последующей паузы Андерс заметил все же некоторое напряжение в их спинах. И оно не замедлило оправдаться: ужасное звукоиспускание повторилось.

Теперь каждый спасался, как мог. Некоторые прихожане насильственно придали себе такое задумчивое выражение, словно их избранные души наконец попали туда, где уже не могут быть встревожены никаким, ровным счетом никаким земным звуком. Некоторые, в том числе родители Андерса, а также Пим – вдруг, что есть мочи, впились в молитвенники, причем с таким судорожным остервенением, словно именно сейчас, в данный конкретный миг, они отыскали там стопроцентно гарантированный ключ к вечному своему блаженству. Некоторые, втянув головы в плечи, изо всей силы деловито кусали губы.

Человечьи кишки бабахнули снова. Андерс, словно ему вдруг стало очень холодно, взялся туго-натуго заматывать шарф и почти уже задушил себя, когда краем глаза заметил, что ситуация, к счастью, уже разрешается, причем буднично: двое прихожанок, сделав постные лазаретные лица, уже выводили под руки худенького старичка, еле живого, который, кстати сказать, через неделю после того отправился к праотцам – вследствие своей изношенности, но, как запомнил для себя маленький Андерс, конечно, со срама.

7.

Именно это воспоминание, как назло, посетило Андерса сегодня – во время его встречи с отцом Лоренсом.

Пастору было уже за семьдесят. Андерс знал его с самого детства, но именно сегодня, впервые, его внимание привлекли пасторские руки. Средние суставы его пальцев напоминали многосладчатые веки. Получалось так, будто пасторские руки имели глаза. Ну да: у пастора Лоренса ван Бретта были глазастые руки! Мощные, многоочитые. Это внушило Андерсу какую-то детскую надежду...

«...Я хорошо знал твоего отца, Андерс, – продолжил пастор, явно давая понять, что подытоживает разговор. – Ничего подобного с ним произойти не могло. Кроме того: ты совершенно безосновательно соотносишь себя с отцом. Мне кажется, сын мой, твои мысли об этой стене между женой и тобой – искушение для ослабевшего духа. Надо работать так, чтобы мыслям не оставалось ни малейшего места».

«Это не мысли, а чувства», – осмелился уточнить Андерс.

«Значит, я немного изменю формулировку: надо работать так, чтобы *чувствам* не оставалось ни малейшего места. Кроме чувства всепоглощающей благодарности и любви к Господу».

«Да, но мой отец покончил с собой. Он был прекрасным работником, но покончил с собой!»

«Андерс! Уясни для себя раз и навсегда: то был несчастный случай. Он выпил немного больше обычного от радости...»

«Он напился от горя, отец Лоренс».

«От чего бы он ни напился, топиться он не планировал. Я отлично знал Яна ван Риддердейка... О, я отлично знал Яна! Он был моим добрым другом!»

«А если все же допустить, что он утонул... как бы это сказать... ну, целенаправленно?»

«Значит, и он недостаточно много работал, Анди. Точнее сказать – недостаточно хорошо. Ты понимаешь, что я хочу сказать?»

«Думаю, да».

«Я уточню: он работал недостаточно хорошо для того, чтобы уничтожить в себе вредные мысли. Ответы на *существенные для Господа нашего* вопросы есть в Библии. Ты понимаешь? На вопросы, *существенные для Господа нашего.* Если тебе непонятно токование каких-либо мест, приезжай, я попробую их тебе объяснить. Вопросы, *не имеющие значения для Господа нашего*,

имеют значение для... ты понимаешь, Андерс, кого я имею в виду?»

«Да, отец Лоренс, но...»

«Что – *но*?»

«Мой отец как-то сказал мне... точнее, проговорился... Отец сказал, что семилетним, он перестал верить в Санта-Клауса, семнадцатилетним – в Господа Бога...»

«А вот в это циничное признание уже не верю я сам! Сказать-то он мог, но был явно не в здравом рассудке. Скорее всего, пьян. С горя ли, с радости, или *просто так*. Ведь мог же он напиться просто так?»

«Конечно, мог».

«А я знаю наверняка, что мог. О, я хорошо его изучил! Следовательно, Анди, надо работать так, чтобы создать надежный заслон вопросам, ответы на которые не содержатся в Библии, ибо они не существенны для Господа нашего. Это тот единственный совет, который я могу тебе дать».

«Благодарю вас, отец Лоренс».

«Амен, сын мой. Ступай с Богом».

Андерс повернулся, шагнул к двери – и его спинной мозг ощутил мерзейшую щекотку: отец Лоренс перекрестил воздух.

8.

Андерс проснулся и сразу вспомнил, что сегодня – шестое декабря, день Святого Николаса: детский праздник.

Он выглянул в окно. Из дюжины авто, уже уехавших (а до того привычно проведших тут ночь на парковке), белел, почти сливаясь с белизной тонкослойного, недавно выпавшего снега, только его новый «пежо». Темнея влево и вправо от него, тянулись прямоугольники, оставленные подбрюшьями ночевавших здесь машин.

Словно гробы в ряд.

Словно могилы в ряд.

Это сравнение пришло в голову Андерса еще и потому, что сегодня он уговорил мать пойти с ним на кладбище. Именно сегодня, в детский праздник, исполнялось одиннадцать лет со дня смерти Барбары.

Андерс просил мать о встрече уже давно, но ей было все время некогда. Она активно посещала кружок флористов, взялась изучать чешский язык, а в последнее время зачастила в церковь. Когда она не ходила в церковь, ее домашнее время, помимо самоучителей по чешскому языку, занимало чтение Священного писания и жития святых. Один раз, в двадцатых числах ноября, она уже было выкроила время, но, заглянув in agenda*, заметила, что у нее в этот вечер назначен afspraak** на педикюр.

Пришлось подстраиваться Андерсу. За несколько дней до этого он написал на службе письменное прошение о пропуске рабочего дня – и получил положительную резолюцию.

Андерс никогда не ходил с матерью вместе на кладбище – за исключением самих похорон – Яна Хендрика, а через десять лет – Барбары.

Сейчас, сойдя во Влаардингене с поезда (он специально не поехал машиной), Андерс уже шагал по Westhavenkade. Черные листья, вмерзшие в рыхлый лед канала, напоминали пережаренный, местами горелый лук в толстом слое жира... Вот гадость!

Невольно он вспомнил то, что предпочел бы забыть.

9.

Вот такой же Sint-Nicolaas (и канал выглядел так же) – когда же это было? – отмечался в тысяча девятьсот тридцатом году. Двое из четырех детей в семье Берты и Яна ван Риддердейков получили, как и положено, долгожданные шоколадные буквы: Пим (Pim) быстро схватил свою

* *В записную книжку. (Нидерландск.)*

** *Визит по записи. (Нидерландск.)*

«Р», маленькая Криста принялась внимательно рассматривать свою «К».

Но... Барбара (Barbara) вместо «В» получила букву «О» – и точно такую же букву «О» получил Андерс. Ему было тогда десять лет, и он безоблачно принял объяснение меврау ван Риддердейк, что «главное – это не сам подарок, а внимание и любовь к детям со стороны Санта-Клауса и родителей».

Однако вечером того же дня Андерс застал рыдавшую в холодном сарае Барбару, которой было тогда уже пятнадцать и которая не хотела говорить Андерсу ни единого слова. Когда он умолил ее, она, сквозь судорожные всхлипы сказала, что никакого Санта-Клауса на свете нет, что отцу до всего недосуг, а мать попросту не любит их, никого из них вообще, что она, мать, забыла о празднике Санты напрочь, что зашла за покупками в самый последний день, когда буквы «Р» и «К» в магазине, на счастье, еще были, а вот буквы «А» и «В» уже оказались распроданы. Зато, добавила Барбара, хотя Андерс уже не хотел ее слушать, там оставалось навалом буквы «О» – потому что имен, начинающихся на букву «О», у в Нидерландах нет или почти нет.

«А знаешь, – заключила она к ужасу Андерса, – буква “О” – это ведь вообще ничто – ноль, просто дырка – и все. Просто дырка, понимаешь ты? Пустота...»

...Свою «дырку» Барбара отдала первому попавшемуся мальчишке на улице; Андерс отдал свою Кристе.

10.

На надгробном камне Барбары стояла ее фамилия по мужу, а девичья не была указана даже в скобках. Андерс поймал себя на том, что испытывает какое-то облегчение, словно ему нравится отсутствие фамилии ван Риддердейк. Скорее всего, так оно и было. Но почему? Фамилия как фамилия... Может быть, он не испытывает симпатии к ближайшим своим родственникам? Его глаза скользнули туда, куда не хотели. Причиняя себе дополнительное мучение, Андерс с отвращением прочитал то, что знал наизусть:

БЕЗУДЕРЖНО СКОРБЯТ – МАТЬ, МУЖ, СЕСТРА И БРАТЬЯ...
О, ЗАКЛЮЧИ ЕЕ, ГОСПОДЬ, В СВОИ ОБЪЯТЬЯ!

Стандартная надпись, выбранная из стандартного арсенала, предложенного стандартным похоронным бюро. Но здесь, в случае с Барбарой – с ее никого не заинтересовавшими стихами, с ненужной ей самой поденной службой (среди таких же беспробудно тупых, как ее сестра, землероек), с ее красотой, служившей лишь разогреванию полумертвой механической похоти вышколенного, как офисный манекен, мужа, с ее безответным отношением к Лили как к некоему верховному божеству, с ее скорбной бездетностью, с какой-то неизбывной бесприютностью и, по сути, с изначальным сиротством – какую надпись ни выбери, получилась бы ложь. Что тоже вполне стандартно.

Андерс заметил: мать с любопытством смотрит в другую сторону. Там, к воротам предзимнего, беспощадно оголенного кладбища, деловито подъезжали автомобили. Из них выходили люди – парами, тройками, поодиночке. Черного лимузина с покойным среди машин не было – видимо, гроб установили в ритуальном зале заранее.

Андерсу кое-что показалось странным – точнее, привычно-странным – в группках, шедших проститься. Он видел эти разрозненные группки много раз и всегда что-то, чего он не мог сформулировать, царапало его глаза и мозг. Но сегодня – возможно, благодаря перенасыщенности уродливых цитат, которые он заставил себя прочесть на пути к сестриной могиле – а может, не только поэтому, он наконец понял.

Они шли деловито. Все они шли деловито, бодро, даже боевито, почти строевым шагом. В их походке не было скорби, горя, уныния - даже легкой печали не было в их походке. Да что там – походка! Даже слегка расстроенных лиц среди них – и то не было. Зато они хоть в этом не притворялись. Притворством служила (ему потворствуя) ширма *якобы культуры* и *якобы рели-*

гии, которые, in cooperation, призывают к сдержанности, сдержанности и еще раз сдержанности. Поэтому естественное животное равнодушие легко можно было выдать именно за мужественное, приличествующее случаю, элегантное самообладание.

Они шли на кладбище той же самой походкой, какой шли бы в банк покупать акции. Ать-два, ать-два. Они ходят такой же на службу, в магазин. С другой стороны, прощание с покойным как раз и было одним из дел в повседневной цепочке прочих забот: банк – служба – магазин. Ать-два, ать-два. Никто из них не был в трауре. Ни на одном не было даже условной дани трауру – какой-нибудь ленточки, галстука, шарфа.

Самое главное: не было траурных лиц – сплошь собранные, очень трезвые, деловитые (семья, служба) – или рассеянно-озабоченные (сложности с семьей, службой). У некоторых за спиной были походные рюкзачки (ах, ах, все мы на Земле странники), у некоторых – учебные или деловые портфели (живым – жить). Если бы день был выходным, и Андерс отлично знал это, у них в руках (по той же причине) было бы спортивное снаряжение. Почему бы не оставить все это в машине? Да: но вдруг машину ограбят? И то верно. Мертвые-то безвинны, зато живые... Ать-два.

Андерс предложил матери перейти к могиле отца. Меврау ван Риддердейк подошла к изголовью надгробья, где покоилась ее дочь, и поправила носком туфли стеклянный фонарь с горящей внутри свечой. После этого долго промокала платочком сухие глаза. («Фантомные слезы, – подумалось Андерсу. – Она промокает свои фантомные слезы».)

«Да, верно: надо было мне надеть сегодня не коричневую шляпку, а синюю, с перышком», – раздраженно откликнулась мать своим мыслям.

II.

Идя по кладбищенской дорожке к могиле отца, Андерс, как никогда внимательно, присматривался к надгробным памятникам. Он вдруг осознал, что уже давно – проходя мимо любого кладбища, мимо любой ритуальной мастерской – он подбирает что-либо по вкусу себе самому – вот как подбирают мебель: шкаф, кровать, диван или кресло. Он усмехнулся: это было бессознательное действие, однако, как у только что наблюдаемых, тоже не лишенное деловитости. Андерсу больше нравились памятники из розовато-бурого гранита, вообще нравился этот теплый цвет, напоминавший, в конечном итоге, мебель красного дерева. Но не только мебель. Этот цвет напоминал облитые зарей древесные стволы...

Ну, сказал сам себе Андерс, ты слишком самокритичен. Ты просто любишь деревья, а их мало в твоей стране. Да, но раньше-то хватало... Раньше – когда? Ну, до войны. До войны, повторил он сам себе (чтобы не сказать: до жены).

До войны Андерс ездил вместе с другими студентами в Польшу, во Францию, в Австрию... Видел тамошние кладбища – стихийно заросшие древесно-кустарниковой зеленью – или рассудочно, расчислено засаженные ею – но всегда уютные, тенистые... В Германии, во время войны, он тоже видел кладбища – соответственно, на немецкий манер... Там тоже в изобилии росли раскидистые деревья...

Но Андерсу тогда это не казалось красивым. Тогда он вовсе не обладал таким тяготением к деревьям. Он любил открытые пространства своей страны – открытые везде – вот взять хотя бы отшторенные по вечерам окна: жилище видно насквозь, то же самое, считал он, должно быть и на кладбищах... Такими же, считал Андерс, должны быть идеальные ландшафты. Прозрачность во всем – как форма честности и доверия к миру... Андерс не понимал выражения *красиво, как на немецком кладбище*; он не понимал (и потому не любил) европейской ландшафтной живописи: если на картине, средним планом, присутствовали роща или лес, он – раньше, *до войны* – испытывал нечто вроде клаустрофобии, и вполне разделял сварливый и безапелляционный вердикт своих соотечественников по поводу таких картин, гласивший: *te veel bomen* (слишком много деревьев).

Но с некоторых пор... Он стал иначе воспринимать само небо своей страны. Оно было низким – и человек под ним испытывал то же самое, что чувствовал теперь Андерс, то есть, что испытывает букашка, попавшая под объектив микроскопа. Некий Глаз, чей взгляд, сквозь окуляр и тубус,

был нацелен конкретно на данную букашку, принадлежал вовсе не добренькому Отцу и вовсе не Пастырю – мудрому, дальновидному, всепрощающему. Он принадлежал холодному исследователю и аналитику – с непостижимыми для букашки планами, оценками, целями. Спрятаться, схорониться? Но где? И потом: как вот так лежать в могиле – под открытым небом, хоть и заваленному землей, хоть и придавленному камнем, а все равно - словно голому, словно даже без одеяльца... Действительно, как это бесприютно!

Хор пел: «Pod sosno-o-o-iu, zeleno-o-o-oiu, spat' polozhi-i-i-i-i-itee vy-y-y-y-y me-nia-a-a-a-a...» Жена объясняла Андерсу, что люди ее краев предпочитают быть похороненными в тени деревьев... «Словно под куполом шатра, понимаешь? – добавляла она. – Словно под своей собственной уютной крышей... Да и родственникам приятно», – снова добавляла она после каких-то мыслей.

12.

В этой стороне кладбища, более старой, где покоился отец Андерса, плоские надгробные плиты лежали густо, в угнетающей тесноте, словно койки в военно-полевом лазарете, запредельно переполненном после удачной атаки противника.

Андерс расчистил снежок, и на могильной плите проступила черная надпись:

МУЖ И ОТЕЦ, ЛЮБИВШИЙ НАС, ЛЮБИМЫЙ НАМИ!
О, ВОСПОСЛЕДУЙ В РАЙ БЕЗГРЕШНЫМИ СТОПАМИ!

«Я из-за него всегда плохо спала, – сказала меврау ван Риддердейк, – приезжал поздно, а уезжал рано. – И добавила: – Да, брак – это серьезное испытание, посылаемое нам милосердным Господом».

После чего сдержанно перекрестилась.

«Мама, почему ты отдала его в дом престарелых? – неожиданно для себя спросил Андерс. – Ведь у него, по болезни, плохо действовала лишь одна рука. А все равно это именно он все делал по дому! И потом: как ты смогла его туда устроить? – он хотел сказать «упечь», но сдержался. – Ведь ему не было и пятидесяти!»

Меврау ван Риддердейк непонимающе взглянула на сына. Ее взгляд означал: это, видимо, мне снится? Затем она поджала губы, презрительно вздернула брови, полуприкрыла глаза и многозначительно отчеканила:

«Ты не можешь знать всего. – Вздохнула, вновь перекрестилась и неукоснительным, бессменным тоном непогрешимости повторила: – Да, брак – это серьезное испытание, посылаемое нам милосердным Господом».

13.

«Подвезешь меня к станции?» – спросил Андерс.

«А что случилось?»

«Я без машины. Она не в порядке».

Андерс врал, чего с ним практически не бывало.

Он допил причитавшуюся ему чашечку чая у нее дома. Просто ему хотелось побыть с матерью еще, хотя бы несколько минут. И ему хотелось невозможного – чтобы мать позаботилась о нем.

Он густо покраснел – от всего сразу. Но мать не заметила этого.

«А что случилось с твоим авто?» – поливая цветы, машинально поинтересовалась меврау ван Риддердейк.

«Тормоза сдали».

«Так почему бы тебе не пройтись пешком? Врачи говорят, это полезно».

«У меня нога левая не в порядке».

Что случилось с ногой сына, меврау ван Риддердейк уточнять не стала.

Она начала собираться: поправила перед зеркалом волосы, брызнула на них парфюмом, слег-

ка подкрасила губы, сняла ворсинки с пальто...

Годы ничуть не уменьшили прямизну длинного, словно бы вытянутого ее тела. Наоборот, с годами ее худоба усилилась. В молодости, возможно, такое строение фигуры выглядело грациозным.... Волосы, довольно густые, мать стригла коротко, и они стояли торчком, словно щетина аккуратной металлической щетки. В целом, к семидесяти годам, она стала отчетливо напоминать деревянную палку со стальным набалдашником на конце.

Они сели в машину. Наступил вечер. Весь короткий путь до вокзала они ехали по дороге, усеянной разноцветным серпантином и конфетти. Был конец детского праздника.

У железнодорожной станции «Vlaardingen Centrum»оба вышли из машины. Было уже совсем темно. Горевшие фонари только подчеркивали темноту вокруг.

«Спасибо тебе, мама», – сказал матери Андерс, обнял и поцеловал ее.

«За что именно?» – сочла нужным уточнить, как всегда пунктуальная, напрочь лишенная материнских инстинктов, меврау ван Риддердейк.

«За авто, конечно», – второй уже раз соврал Андерс.

Меврау ван Риддердейк удовлетворенно кивнула. Пару секунд простояли в молчании. Наконец мать сделала шаг к дверце.

«Поцелуй и ты меня, мама...» – наконец выдавил из себя Андерс.

Берта ван Риддердейк не знала, как надо целовать детей. Андерс не был исключением. Она никогда этим не занималась, то есть не снисходила до поцелуев и не унижала себя сюсюканьем. Кстати, втайне она очень гордилась, что выполняет свой христианский материнский долг четко, неукоснительно – и без каких-либо сантиментов.

Дети, привыкшие к ее деревянной педагогической непогрешимости, никогда не просили ее поцеловать их, даже если болели.

А сейчас сын вдруг попросил. И потому она даже растерялась.

Несколько секунд меврау ван Риддердейк постояла у дверцы машины, глядя на Андерса так, будто он вымолвил нечто иностранное.

Она действительно не имела ни малейшего представления о том, как выполнить его просьбу.

14.

Андерс брел по голому острову Тексел, прикрывая голову руками. Было двадцатое декабря. Шел дождь вперемешку со снегом, но зато ветер был не очень силен. Один раз Андерс, упав, больно ушиб колено и локоть. Внезапно непогода улеглась. Было около трех часов дня, и небо выглядело никаким, то есть самым страшным: словно на засвеченной фотографии. Андерс по-прежнему прикрывал голову руками, хотя они от этого сильно затекали и еще больше мерзли.

Открылось голое, пустое пространство земли. Он брел под голым, пустым небом. Глаз из глубины неба наблюдал за ним безотвязно, зная об Андерсе нечто такое, чего не знал он сам. Не хотел, боялся, отчаянно не хотел знать. И потому прикрывал голову руками. А чем еще мог бы он ее прикрыть?

Он брел по острову Тексел в северо-западном направлении. Эта часть суши была абсолютно безлюдной. Через два часа, в самом конце проселочной дороги, показалась знакомая мельница. Когда-то, на заре своей супружеской жизни, Андерс с женой снимали там летом небольшой флигель у знакомого мельника. С близнецами, пока не родилась первая дочка, они прожили так несколько летних сезонов.

Сегодня Андерс прибыл сюда лодкой. Внутреннее море, между Западно-Фризскими островами и материком, Ваддензее, не замерзло, как Андерс и предполагал и, кроме того, в чем убедился по радио. Он заплатил хмурому рыбаку в Ден Хелдере за рейс в одну сторону. А назад? на самом подходе к Текселу спросил пожелавший двойной оплаты перевозчик. Мне в одну сторону, глуховато сказал Андерс.

Но гребец не услышал. Лодка мягко ткнулась носом в прибрежную землю. Я мог бы вас подождать, мениир, сказал рыбак, надежней подтыкая водонепроницаемый плащ-накидку. Затем,

с трудом оглянувшись, он увидел, что его пассажира уже нет. Помянув черта, он выпрыгнул из лодки, вылез на берег, огляделся... Куда бы он ни взглянул, нигде не было видно ни одного живого существа. Пошел дождь вперемешку со снегом.

И перевозчик уплыл.

15.

Этот давно покосившийся сарай стоял возле мельницы, дав приют беременной кошке. Месяца за полтора до Рождества она разродилась тремя пушистыми котятами, которые, скорее всего, высоко оценили выбор свой матери. В надежде на пропитание она бегала куда-то недалеко, на хутора, а потом возвращалась – взволнованная, озабоченная, изумрудно мурлыкавшая, полная теплым живительным молоком.

В то время, когда мать отсутствовала, котята играли. Их любимая игра состояла в том, чтобы подцепить лапкой один из четырех ботиночных шнурков, свисавших откуда-то сверху. Самым сладким было эти шнурки грызть. Даже взрослая кошка, когда ей надоедало отдаваться радостям вскармливания, вставала и, в желании размять занемевшее тело, пружинисто извиваясь, подпрыгивала – словно стремясь достичь самый источник этих чудесных шнурков.

Источником шнурков являлись, конечно, ботинки Андерса. Зайдя в этот сарай двадцатого декабря, он был полностью поглощен мыслью, что вся семья – главным образом, жена и дети (и мать, конечно, и мать) – будут всячески порицать его за то, что он испортил им Рождество. Возможно, они подумают, что он специально так поступил именно в один из предрождественских дней, дабы открыто продемонстрировать свое безверие, богоборничество и цинизм (унаследованный от отца, уточнит Берта ван Риддердейк).

Но Андерс ничего не собирался демонстрировать.

Он просто не мог больше терпеть боль.

Конечно, он не ожидал увидеть в сарае котят, а когда увидел, то обрадовался.

Да: напоследок он даже обрадовался – и немного поиграл с котятами.

...Прежде чем они стали играть с тем, что осталось от него самого.

16.

Тело Андерса обнаружили хуторские дети, два семилетних брата-близнеца, перед самым Новым годом. Как это произошло? А очень просто. Определив по сосцам, что кошка кормящая, они, в надежде увидеть котят, выследили, куда она возвращается.

Так что Рождество Андерс никому не испортил. Кстати, он предварительно написал записку, что отбывает в деловую поездку и не решается точно сказать, когда вернется, а жена не стала задумываться, какая может быть поездка в предпраздничные дни. Конечно, бывают и такие поездки, если возникает острая необходимость. Как в случае с Андерсом и произошло.

Вот и получается, что испортил Андерс своим родным только Новый год. А что такое Новый год в Нидерландах? Так, формальность. Елки, в большинстве случаев, уже выброшены (их подбирают нищие иммигранты, потому что деревца еще совсем свежие); коренное население, автохтоны, вяло посиживает в ночь с тридцать первого на первое перед телевизором, вяло же запивая пивом или минеральной водой горстку соленых орешков – вот и все убранство стола. Правда, словно в компенсацию такой скудости, вовсю неистовствуют мальчишки: фейерверк, с его бабахом и тарарахом, достигает такой мощи, что кажется приходом Судного дня.

17.

Что еще? Андерс похоронен недалеко от Барбары. На его могильной плите выбито:

О, НЕ ГОРЮЙ, ЧТО НЕТ ПУТИ НАЗАД!
ПОКОЙСЯ С МИРОМ, СЫН, ОТЕЦ И БРАТ.

Здесь пропущено слово «муж». Произошло это по вине страховой компании, которой был заказан какой-то другой вариант проявления скорби, где умещался «муж» тоже, но кто-то что-то где-то напутал. Жена (то есть вдова) долго судилась со страховщиками, но так ничего и не доказала.

Что ещё можно добавить? Где именно пребывает душа Андерса Виллема Францискуса Марии ван Риддердейка, доподлинно неизвестно, а тело его покоится под землей, на кладбище городка Влаардингена, где он родился и рос ребенком.

Итак, тело Андерса лежит под землей годами – день за днем, с медленной неотвратимостью, переходя в естественный состав почвы. А его вдова, состарившаяся, но такая же бодрая, волевая, по-прежнему ходит в хор. Правда, теперь она ходит в хор вместе со своими детьми, уже взрослыми.

Вот они, стоят в единой шеренге: она сама, ее сыновья, Фред и Ларс, ее дочери, Ирис и Анна-Маргарет.

Они поют.

они поют они поют

***

Want wat den kinderen der mensen wedervaat,
dat wedervaat ook den beesten;
en enerlei wedervaat hun beiden; gelijk die sterf,
alzo sterft deze,
en zijn allen hebben enerlei adem,
en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen;
want allen zijn zij ijdelheid.
Zij gaan allen naar een plaats;
zij zijn allen uit het stof,
en zij keren allen weder tot het stof.
Wie merkt,
dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en
de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?

Участь сынов человеческих и участь животных –
участь одна:
как те умирают, так умирают и эти,
и одно дыхание у всех,
и нет у человека преимущества перед скотом,
потому что всё – суета!
Всё произошло из праха, и всё возвратится в прах.
Кто знает: восходит ли вверх дух сынов человеческих,
сходит ли вниз, в землю, дух животных?
(Екклезиаст, гл. 3, ст. 19-21)

***

Сергей ШИКЕРА

ИДУЩИЙ ПРОТИВ ВЕТРА

(Записки неизвестного)

Идущий против ветра. – Раннее зимнее утро; городская окраина. Небольшую площадь, освещенную единственным фонарем, пересекает мущина лет тридцати пяти в пальто и без шапки; фигура идущего наклонена вперед, правой рукой он прикрывает горло. Справа, по ходу идущего, в низеньком домике ярко горят три окна.

Вопрос: куда идет идущий?

Ответ: разумеется, идущий идет в домик со светящимися окнами, куда ж ему еще идти в такую рань?!

Хорошо. Вопрос: а домик со светящимися окнами – это дом идущего?

Ответ: ну... в некотором смысле – да; можно и так сказать. Домик называется «Капелька» (она же «Капельница») и является ни чем иным, как небольшим компактным питейным заведением, где идущий против ветра, укрывшись от враждебной свежести предрассветного ветерка, утолит, наконец, мучающую его жажду, остановит пугающие тектонические процессы у него под ногами (недоброе шевеление почвы), пресечет неугомонное шныряние неопознанных летающих существ по краям поля зрения и просветлит густую тяжелую тьму, которой до краев наполнено маленькое, трепещущее как лань, сердце идущего против ветра.

Вопрос: а ...

Дверь на пружине; до рези в глазах яркий свет; прилавок. Заспанная Вера (она же надежда и любовь), свободно и не целясь, наливает сто пятьдесят водки и возвращается в подсобку, где продолжает греметь стаканами и кружками. На предмет закуски закуренная сигарета; не то чтобы трясущаяся с похмелья, а скорее крайне взволнованная возложенной на нее ответственностью рука; холодные грани стакана, и –

не успеваешь сосчитать до десяти (если считать не торопясь), как окружающий мир, тронувшись, начинает светлеть, добреть, расширяться... Аллилуйя!

Дома я съел яичницу, закурил и повалился на кровать. Настроение было самое расчудесное; жаль было засыпать. Включил радио. На радиостанции «Свобода», сгрудившись вокруг круглого стола, какие-то шустрые комментаторы оживленно обсуждали войну в Чечне. Я взял с подоконника найденную еще в октябре возле мусорного контейнера брошюру с желтыми, пересохшими, ломкими страницами – мое любимое чтение на протяжении последних двух недель. Каталог картинной галереи Императорского Эрмитажа за 1887 год. Второй том. Германския школы. Медленно поднималось солнце, ярким светом заливая площадь за окнами, комнаты в доме и одну за другой возникавшие в моем гостеприимном воображении картинки, описание которых я читал в каталоге.

Покупка винограда. – В прихожей, на стене которой висит географическая карта, девочка в красном платье покупает виноград у старой овощницы, которая взвешивает свой товар на ве-

---

Сергей Шикера родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе. В журнале «Волга» публиковался роман «Стень» (2009. №№9-10, 11-12).

сах. Девочка, улыбаясь, кладет кисточку винограда в рот служанки, которая на коленях держит фаянсовый поднос для укладки плодов. Позади девочки гувернантка в желтом платье с белым передником расплачивается за покупку; возле нея маленькая собачка глядит на свою госпожу. Направо стул, покрытый зеленоватою материею. В открытую дверь виден пейзаж.

Гуляка. – Старик пошлой наружности сидит у стола, держа в руке стакан пива; возле него крестьянин, также сидя, набивает трубку свою. Вдали другой крестьянин, обращенный лицом к стене. Фигуры поколенныя.

Зима. – Несколько мущин катаются на коньках и играют в мяч на замерзшем канале, на берегу которого стоит ветряная мельница. На первом плане рыбак продает двум мущинам рыбу. Несколько дальше видна хижина; направо виселица с двумя повешенными, а на заднем плане город. Ветер слегка качает окоченевшие трупы; слышны веселые голоса, скрип коньков и удары по мячу...

Я проспал четыре часа; когда проснулся, радио все еще работало на волне «Свободы»; а может быть волна ушла, а потом вернулась. Речь опять шла о Чечне. Из чеченского министерства информации (оказывается, там, в горах, и такое есть) комментаторам рассказывали жуткую историю. Прямо на трассе Ростов–Баку (прямо на трассе) русские десантники зарезали около восьмидесяти турков-месхетинцев. Прямо на трассе. И все это происходило на глазах у пассажиров проезжающих по трассе автобусов, особенно женщин и детей. Так было доложено. Вот это «особенно женщин и детей» (почему старики остались не у дел?) мне понравилось больше всего. Комментаторы в студии поддакивали, сдержанно, но скорбно вздыхали. Ну, разумеется, они не верили ни на копейку во всю эту чушь, но, может быть, их просто завораживала сама по себе предложенная им картинка, так же как меня завораживали описания картин из моего каталога? Да я и сам живо представил себе эту сцену: перекошенные мукой лица жертв, окровавленные, дымящиеся на морозе полушубки десантников, расплющенные о стекла автобусов лица особенно женщин и детей...

В тот день дел у меня было невпроворот. Я выпил в «Капельке» боевые сто грамм и отправился в город. Точнее дел было всего одно, но мне и его хватало с головой. Тетка моей покойной матушки, будучи одинокой старой девой, когда-то давным-давно переписала на меня свою однокомнатную квартирку на ул. Завокзальной (другой конец города), которая и отошла ко мне после ее смерти. Года два назад я стал сдавать ее супружеской паре с ребенком, беженцам из Таджикистана, и теперь 15-го числа каждого месяца езжу к ним за деньгами, на которые, собственно говоря, и живу.

У квартирантов меня ждал неприятнейший сюрприз. Денег не было. Так мне было сообщено моей квартиросъемщицей Зоей. При этом, разумеется, краска смущения, заламывание рук, мольба во взгляде. Деньги были, вот еще позавчера они были, но пришлось срочно отослать свекрови в Мурманск на операцию, к тому же, как назло, мужу задержали зарплату, и им, в свою очередь, тоже кое-кто должен приличную сумму и никак не отдаст, нет у людей совершенно ни стыда, ни совести, и дальше все в том же духе, с той же плачуще-просящей интонацией. Действие выпитого в «Капельке» подходило к концу. В такие минуты я всегда несколько циничен. Что ж, сказал я, слезами горю не поможешь, будем выносить вещи и прощаться. Зоя метнулась на кухню, а затем, накинув пальто, выскочила за дверь. Я сейчас, сказала она, к соседке. Мы остались вдвоем: я и дочь Зои, девица лет пятнадцати, старшеклассница. Я опустился на стул и закурил. Девица, положив ногу на ногу, сидела напротив и, уставившись в книгу, время от времени отбрасывала со лба челку. Во всей ее позе читалось демонстративное презрение ко мне, бездушному, бессовестному, ничтожному вымогателю. Зоя вернулась довольно быстро, я не успел выкурить сигарету, и положила передо мной на стол деньги. Очевидно, они у нее были, и ни к какой соседке она не ходила,

а просто постояла пару минут в подъезде. Накинуть им, что ли, за такие фокусы, подумал я, взял деньги и ушел.

На улицах было все так же солнечно. Домой идти не хотелось, и я решил погулять по городу. Около получаса бродил, потом вдруг, неожиданно для себя, добравшись до центра, решил сходить в гости. На улицах была уйма недурных девиц, многие из которых поглядывали на меня с интересом. Я уже давно заметил, что с похмелья пользуюсь успехом у встречных барышень. Вряд ли запой как-то облагораживает мою наружность, но, может быть, я – небритый, мрачноватый – кажусь им каким-то чрезвычайно романтичным и опытным?.. Поди пойми их.

Итак, я решил пойти в гости. И не к кому-нибудь, а к Савицкому. Тут необходимо небольшое пояснение.

Начнем-с с трюизма: у каждого в жизни есть нечто такое, что лежит на его совести невыводимым пятном, давит тяжким грузом и т.д. Кое-что есть и у меня. Нет, я не расстреливал несчастных по темницам, не крал последних денег у многодетных вдов и не растлевал их малолетних детей. И тем не менее. Я... Одним словом, когда-то по нелепому стечению обстоятельств я оказался в числе участников так называемого диссидентского движения в нашем городке, и даже провел два года на «химии». И вот почему-то именно этот факт своей малоинтересной биографии я до сих пор не могу вспоминать без жгучего стыда, доводящего меня иногда даже до каких-то внутренних судорог, до ломоты в суставах.

Тогда, в те давние уже годы я кое-что пописывал (впрочем, мои прозаические опыты, слава Богу, были вполне безобидными) и, как большинство пишущих в нашем городе, в конце концов, попал в компанию Савицкого.

Вино, много вина, поэтессы с немытыми шеями, бородатые художники, неумолкающие радиоголоса (какая радость, когда попка за кордоном упомянет твое, или же даже просто знакомое тебе имя!), самиздат, тамиздат и проч., проч., проч.

Скорее всего, я тогда просто угодил под горячую руку, под какое-нибудь мероприятие. Меня вместе с Савицким взяли в оборот за тунеядство. Причем, самое забавное, что Савицкому удалось отделаться проникновенными беседами в кабинетах госбезопасности, а вот мне пришлось провести два года на стройках народного хозяйства. Эти-то два года и сделали меня в глазах публики диссидентом. Смех, да и только. Впрочем, если не считать несводимого пятна и прочих неприятных ощущений.

Мое возвращение как раз совпало с входящими в силу переменами в стране. Савицкий, помнится, начал выезжать тогда за границу, читал даже там какие-то лекции (какие? кому? о чем?); я же заперся у себя у себя на хуторе. Вначале тяжело болела моя любимая матушка (толчком для болезни, возможно, послужила история со мной), потом нелюбимый батюшка, потом я, похоронив обоих, пристрастился к алкоголю.

Словом, с Савицким мы не виделись несколько лет. Даже не знаю, чего это вдруг меня к нему потянуло. Взял я бутылку и отправился по хорошо известному адресу.

Уже через полчаса, да какое там, – через минут пятнадцать, я понял, что не следовало мне сюда соваться. Сквозь пыльные стекла ярко лупило холодное солнце; мы – я, Савицкий и его юный друг Вадик (я давно знал об этой склонности Савицкого, которую он раньше тщательно скрывал) выпивали, закусывали апельсинами, и говорить нам было решительно не о чем. Из разных концов комнаты за нами наблюдали два престарелых кастрированных кота – Бобчинский и Добчинский, которых я помнил еще котятами. Меня так и подмывало встать и уйти, и удерживала только недопитая водка. Мы с Савицким перебрали общих знакомых, до которых, по всему было видно, ему не было никакого дела, а уж мне тем более. На этом наша беседа приказала долго жить. Черт, подумал я, надо же быть таким идиотом – испортить себе такой чудесный денек! Что ж, теперь получай.

Встреча друзей. – В комнате, ярко освещенной солнцем сидят за столом трое мущин: средних лет педераст в желтой рубашке и коричневой жилетке, его молодой любовник в зеленом свитере

и с серьгой в ухе, и еще один испитой, небритый, пошлой наружности мущина в пальто, очевидно гость. На круглом столе, накрытом бархатной пурпурной скатертью – бутылка водки, рюмки, два апельсина, один из которых разрезан на дольки. В простенке между окнами стоит кресло в стиле ампир, на котором лежит, подобрав под себя лапы, и смотрит на сидящих за столом большой пушистый дымчато-полосатый кот. Там же в простенке над стулом висит цветное изображение мандалы. Фигуры поколенныя.

Я спросил у Савицкого, собирается ли он весной перебираться на дачу, что он делал каждый год. Он ответил, что не собирается, поскольку дача продана, вернее, продан был участок, а домик сожгли еще раньше. Я спросил, удалось ли ему узнать, кто это сделал. Савицкий как-то по-бабьи пожал плечами, сказал: какая разница, значит, так было нужно... какое-то хулиганье, наверное... Мы их называем «кармические санитары», добавил он. Не понял, сказал я. Я говорю: мы их называем «кармическими санитарами», повторил Савицкий. А-а-а, протянул я и подумал: это что еще за санитары такие и кто это «мы» – Савицкий, Вадик и Бобчинский с Добчинским?.. И тут Савицкого как прорвало, и он понес, набирая обороты, что-то про карму, про ее исправление, про какие-то энергии, тонкие миры, грязные излучения, программы зла и проч. и проч. и проч. И уже через четверть часа мне стало казаться, будто голова моя набита пыльной трухой или грязными тряпками, а хмеля в ней как не бывало, и у меня просто руки зачесались от желания схватить бутылку и дать Савицкому по голове. Нисколько не заботясь о соблюдении приличий, я, как только мог, быстренько свернул эту проповедь, распрощался и был таков.

...Злой, голодный, промерзший, я возвращался домой, к себе на хутор, и какой же радостью было для меня увидеть ярко и весело горящие окна «Капельки» и тени посетителей на занавесках!

В тот сырой туманный вечер «Капелька» была забита до отказа. В дальнем углу сидел Иван, мой ближайший сосед (дом, в котором я живу, разделен на две половины, одна из которых принадлежит ему); рядом с ним сидел еще некто, устало опустивший голову на поставленные на стол кулаки. На радостях, не спрашивая, я взял тому и другому, как и себе, по сто водки.

– Добрый вечерок! – сказал я, ставя на стол стаканы и протягивая Ивану руку. – Как делишки?

– Да так... Ничего хорошего. Четвертые сутки болит поясница, – отвечал Иван, отрываясь от газеты и щурясь на меня сквозь дым сигареты. – По какому случаю угощение?

Я ответил витиевато:

– По случаю утраченного было, но вновь обретенного душевного равновесия. Одним словом: за радость обретения!

– Радощчь... – глухо произнес в стол приятель Ивана.

Мы с Иваном выпили, приятель не стал.

– Бывает ли с тобой, Иван, такое, – начал я, запив водку томатным соком, чувствуя приятнейшее возбуждение и необыкновенное желание говорить, говорить... – бывает ли такое, что окружающий мир вдруг предстает какой-то скверной картинкой, скверно намалеванной на похабно отсвечивающем, громыхающем на ветру листе жести?

– Жещчи... – не поднимая головы, поправил меня приятель Ивана.

– Бывает ли с тобой такое, сосед?

– Непростой вопрос, – усмехаясь одними глазами, уклончиво отвечал Иван.

– А вот у меня бывает. И если бы ты только знал, какая это мерзость!

– Мержощчь...

– Друг изучает польский? – спросил я.

– Вероятно. Я вообще-то вижу его первый раз, – сказал Иван.

Мы распили с Иваном сто грамм, которые я взял незнакомцу, и отправились ко мне, поскольку «Капелька» уже закрывалась и Вера начала разгонять посетителей.

Мой сосед Иван человек таинственный. Очевидно, он оказался единственным наследником

моей соседки, покойной Ирины Петровны. Поселился он у нас на хуторе около года назад. До сих пор я знаю о нем очень мало, и может быть, знал побольше (в чем сомневаюсь), если бы не моя никудышная, изъеденная алкоголем память.

Капитан в отставке, последнее место службы где-то в Германии. Здесь устроился на работу в строительную фирму. Любит выпить. Раз в две-три недели приводит к себе на ночь девицу; девицы, как правило, самого последнего разбора; судя по всему, подбирает он их здесь, недалеко, на трассе, на так называемой «стометровке».

Вот, собственно, и все. Думаю, что если бы не тесное наше соседство, вряд ли бы мы когда-нибудь сошлись.

...Спускается как-то на территорию Германии летающая тарелка с инопланетянами или, если угодно, с гуманоидами. Ну, немцы давай их встречать. Гуманоиды, которые, кстати, по внешнему виду мало отличаются от нас, ведут себя при этом крайне сдержанно, по большей части отмалчиваются, реагируют на все довольно вяло, поджав губы. Ну, решили тогда немцы показать им страну и повезли по своей Германии, по своим вылизанным, аккуратным городкам, бургам и баденам. Прокатили, показали, и тут гуманоиды спешно засобирались в обратный путь. И ни на какие уговоры еще немножко погостить не соглашаются. Ну что ж, насильно не удержишь. Устроили им хозяева пышную церемонию прощания. И в конце церемонии старший из этих братьев по разуму, поблагодарив за теплый прием, вдруг, не удержавшись, уже перед тем как спрятаться в свою хромированную тарелку, с нескрываемой брезгливостью спрашивает: «А всё же, как вы можете вот так, как свиньи, жить по уши в такой грязи?!..» И улетел, не дождавшись ответа. Среди провожающих немая сцена.

Эту историю (или, если угодно притчу) как иллюстрацию к нехитрому тезису о том, что все в мире относительно, Иван рассказал мне в одно из первых наших застолий. Мне вообще очень нравится его своеобразное чувство юмора. Вот, например, замечательное сравнение, которым он определил свое отношение к бывшей, уличенной в измене жене (ага, вот ведь и про жену он что-то мне рассказывал!). «Знаешь, – сказал он тогда, – это как в общем вагоне поезда Саратов–Павлодар уронить в туалете на пол последние деньги: и оставлять жалко, и поднимать ужасно не хочется».

...Господи, об одном только прошу: избавь меня от зрелища этой страшной сутолоки, этого трудного кровавого копошения...

...среди ночи я проснулся.

В гостиной горел свет, верхний свет, все четыре лампочки в люстре. Отчетливо тикали ходики. И раздавались шаги. Чьи-то мягкие тихие шаги. Как будто кто-то там прогуливался по комнате.

Надо сказать, что со мной уже однажды ночью приключилось одно странное происшествие. Вернее, было это не ночью, а перед рассветом, когда только-только начинало светать. Я, лежа на спине, проснулся и увидел перед собой странную, даже поразительную картину – завораживающе прекрасную и отвратительную одновременно. При жиденько-сером освещении начинающегося утра я увидел, что потолок надо мной оказался метра на три, если не на все пять, выше, и весь он был изрезан затейливой, узорной, сводящей с ума своей тончайшей изощренностью резьбой, и по всем прогалинам и прорезям, не минуя и самой узкой ложбинки, по всему потолку медленно струился густой блекло-пестрый дым; по всем четырем стенам этот дым стекал вниз, но не доходил до меня, растворяясь где-то по пути. Я лежал с запрокинутой головой, глядел вверх и страшно хотел спать, и даже столь необычайное зрелище не могло победить во мне этого желания. При этом я вполне отчетливо сознавал, что в данную минуту не сплю, и еще было ощущение, что в таком состоянии мой потолок пребывает все время, когда я его не вижу, что я нечаянно подглядел, увидел потолок в его настоящем виде. Я продержался несколько минут и заснул. И утром даже не возникло мысли, что все это мне пригрезилось. Вы скажете: ну, что ж, налицо результат этого дела (щелчок по горлу), приближение белочки, да я и не стану отрицать, но только, может быть,

прав был все-таки господин Свидригайлов, ну там, когда говорил о соседних мирах, о близости их во время болезни?

Итак, я проснулся среди ночи, увидел, что в гостиной горит свет, и услышал мягкие неторопливые шаги. Все мое тело, в каждом его суставе, в каждой мышце, было расслабленно и как будто развинчено; слегка знобило и опять же страшно хотелось спать. Я натянул одеяло до самого подбородка, повернулся на бок, лицом к гостиной и стал ждать, гадая, кто бы это мог быть. Ни волнения, ни страха я не ощущал, а только какое-то дремотное любопытство томило меня. Сначала подумал, что это должно быть мой сосед, Иван. Может быть, ему среди ночи понадобился хлеб, например, или соль, или спички, может быть, у него закончились сигареты, – мало ли что? Потом я подумал, что хотя Иван и странный человек, и даже чрезвычайно странный, но все-таки не настолько же он странен, чтобы зажечь весь свет в комнате и разгуливать по дому, не разбудив прежде меня. Вряд ли бы он постеснялся меня беспокоить, просто вошел бы и растолкал, как это уже бывало. Потом я решил, что это кто-то из местных лихих ребят, может быть какой-нибудь завсегдатай «Капельки» забрался в дом в надежде чем-то поживиться. Ну, на этот счет я был абсолютно спокоен – брать у меня было решительно нечего, кроме, разве что, лампочек в люстре, а бутылка водки стояла в изголовье. Вот только опять же я никак не мог понять, для чего злоумышленнику понадобилось включать верхний свет. Словом, борясь со сном, я продолжал лежать и ждать, уверенный в том, что наша встреча, если она состоится, напугает больше пришельца, чем меня. Между тем мягкий топот то умолкал, то вновь возобновлялся, и, наконец, стал приближаться. Через минуту в дверном проеме появился черный силуэт, и незнакомец встал на пороге, облокотившись о дверной косяк. Роста он был небольшого и какой-то весьма странной формы – что-то у него было то ли с головой, то ли на голове. И очень он мне кого-то напоминал. Да, он напоминал мне отца, когда тот, еще будучи здоровым, выходил на порог, и вот так становился покурить. Но кто же это мог быть?.. И тут я услышал хорошо знакомый голос:

– Не спишь?

Папаша. Он самый. Я, наконец, разглядел, что на голове моего родителя помещался цилиндр, да и в остальном он был одет не менее причудливо: что-то долгополое было на нем, вроде фрака, полосатые брюки гармошкой ложились на тускло блестящие туфли, в правой руке была трость, да, да – трость!

– Нет, – ответил я на его вопрос. – А ты... какими судьбами?

– Да вот, зашел проведать...

Он стоял, чуть склонив голову набок, тихонечко постукивая концом трости по полу.

– Ну и как там у вас? – спросил я.

– Недурно. Совсем недурно. Гораздо лучше, чем я ожидал, – быстро ответил он, видно, готовый к такому вопросу.

– А ты разве ожидал? Что-то я сомневаюсь.

– А почем тебе знать, ожидал я или нет? Как мне помнится, мы с тобой на эти темы не говорили.

– Глупости, – сказал я. – Ни хрена ты не ожидал. Уж мне-то не надо рассказывать.

– А почем тебе знать, ожидал я или нет? Как мне помнится, мы с тобой на эти темы не говорили.

Помолчали.

– Так как там у вас? – спросил я. – Все купаются в свете и вечном блаженстве?

– Ну, бывает, что и купаемся. Но вообще-то просто спокойно. Я бы даже сказал: просто уютно.

– И каждого поступившего одевают вот в такой нарядец?

– Ну, почему же «одевают» – каждый сам себе выбирает и одежду, и обстановку. На свой вкус и в соответствии со своим представлением об изящном и прекрасном.

Я чуть не рассмеялся.

– Вот единственное, в чем тебя никогда нельзя было упрекнуть, так это во вранье. Ты здесь

никогда не врал. Это тебя там научили? Славное заведение, ничего не скажешь.

– Я и не вру.

– Ну конечно! Хочешь сказать, что ты сам себе выбрал и этот дурацкий цилиндр, и эту трость? Да ты и не знал никогда, как они выглядят! Так же как и не знал, что такое представление об изящном.

Кажется, его немного смутил мой насмешливый тон.

– Ты заблуждаешься, – возразил он. – Говоришь о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия. По-твоему я, конечно, не мог иметь никакого представления о прекрасном. Это не так. Я ведь кое-что повидал на своем веку, в этом же ты мне не можешь отказать. И среди того, что я за свою жизнь перевидал, попадалось же иногда и прекрасное, и изящное... и изысканно-утонченное... Да-да, не усмехайся. Пусть я не обращал на него никакого внимания, хотя и это не так, пусть не придавал никакого значения, но я же это видел. Хоть краем глаза, но видел же... в кино, по телевизору... какая-нибудь случайно увиденная красивая упаковка, например; посуда – помнишь те наши две старинные тарелки?..

– Которые ты разбил по пьянке. Одну из них об мою голову, – вставил я.

– Я уже не говорю о природе, – продолжал он, не обращая внимания на мою реплику, – какая это красота, какое величие!.. Деревья, цветы, животные!.. Горы! (я в молодости ездил по Военно-грузинской). Тут все идет в ход. Все складывается из разных деталей, осколков, фрагментов воспоминаний – ничего же не забывается. Конечно, мне трудно сравниться с каким-нибудь художником или коллекционером, любителем прекрасного, но, скажу тебе, разница, в общем-то, и невелика. Разница в том только, что он видел прекрасное и знал, что оно прекрасно, а я видел и не знал. Не отдавал себе отчета. Так что еще неизвестно, кому тут из нас больше повезло, мне или ему – ему-то все это привычно, а вот для меня все внове, свежо. Вот так. А ты, наверное, надеялся, что я в аду буду гореть, да?

– Ну а как мать? Видишь ее там? – спросил я и почувствовал, как мне перехватило горло.

– Нет, мы не видимся.

– Ну а вот это вот – слава Богу! Значит, палачи и жертвы там все-таки врозь. И на том спасибо.

– Ерунду говоришь. Нет там ни жертв, ни палачей, а не встречаемся мы потому, что не чувствуем в этом никакой необходимости. Ни я, ни она.

– Ну, хорошо, – сказал я. – Горы, тарелки и красивые упаковки у тебя сложились в прекрасное. А вот во что сложились твои пьяные дебоши, твоя матерщина, твое выбрасывание нас с матерью на улицу?.. осколки от тех же тарелок...

– А никаких дебошей не было.

– Вот как! Не было?

– Не было.

– Лихо. А что же тогда было?

– А ничего не было. И ничего нет. И тебя нет. Есть только я.

– Какого же тогда хрена ты ко мне заявился?

– А я и не заявлялся. Это сон. Просто сон. И угадай чей.

– Так. Это ты мне сейчас начнешь втирать что-то вроде истории про того долбанного китайца с его долбанной бабочкой? Спасибо, не надо. Это, пожалуйста, к Савицкому.

– Да ничего я тебе не собираюсь, как ты выражаешься, втирать. Зачем? Ведь ты и есть та самая долбанная бабочка.

– Ладно. Всё. Пошел в жопу, – сказал я и перевернулся на другой бок, лицом к стене.

...Утром я себя чувствовал препогано, с отвращением вспоминая и вчерашний визит к Савицкому, и ночной приход папаши. Как тут было не выпить? Я и выпил. Как часто, и даже почти всегда, у меня бывает, то, что на трезвую голову вызывало отвращение, на пьяную начинает веселить. Я сидел за столом, ел неизменную яичницу, слушал валторновый концерт Й. Гайдна и с каждой минутой чувствовал себя все лучше и лучше. Передо мной по столу гулял таракан из

переборчивых. Сначала он подошел к кусочку сала, потом к кусочку яичницы возле сковородки, потом направился к хлебной горбушке. Ни одно из яств не пришлось ему по вкусу. Что меня несколько возмутило. «Всё, таракан, – ты покойник», – сказал я, скинул его на пол и раздавил. С некоторых пор я полюбил всякие американские выраженьица типа: «я сделал это», «доверься мне» и прочие, кочующие из фильма в фильм, и так и сыплю ими в минуты воодушевления. Эта привычка появилась у меня после того, как я провел больше месяца в тесном общении с американской массовой культурой. Один мой сосед, Митя, живущий в двух кварталах, уезжая на полтора месяца в Бостон, предложил пожить у него в доме, посторожить. Митя большой поклонник всего американского (с этим он даже перебарщивает, потому что «Вау!» вместо «Ух ты!» и «Бла-бла-бла» вместо «Ля-ля» – это, на мой взгляд, для мужика за тридцать уже как-то чересчур). Так что я полтора месяца только и делал, что смотрел американские фильмы и читал американские романы, которыми просто завален Митин дом. Ну, скажу я вам, чудеса! Новый Свет, да и только! Помню, особенно меня поразил один такой довольно объемный роман, напичканный всякой мистической дребеденью. Там герои – взрослые мущины в количестве семи-восьми штук и их немолодая уже подружка съезжаются в городок своего детства, в котором пропадают детишки, чтобы там, на месте сразиться со страшной неведомой силой, бросившей им вызов еще в детстве. Заканчивается все более или менее благополучно. Потери минимальные – один или двое. Оставшиеся в живых в каком-то заброшенном подвале по очереди (наш грубый соотечественник сказал бы: «хором») любят свою подружку и тем самым одерживают победу над распоясавшимися силами зла, потому как любовь (даже такая) побеждает все и вся. Очень художественно и умилительно этот процесс описан, хотя почему-то все время было смешно. Ну а больше всего меня поразил такой эпизод. Самый главный из главных героев в финале романа садится на свой подростковый велосипед и с большим воодушевлением катит на нем по городку своего детства. И вот, катя и глядя на знакомые с младенчества места, дома и улицы, он приходит в такое радостное возбуждение, что у него вдруг начинается эрекция. То есть, если я правильно все понял, у героя, попросту говоря, встал на его город детства, на его, так сказать, малую родину, родные пенаты; душевный подъем перешел в телесный. На этом самом месте роман заканчивается, и чем подъем увенчался, остается только догадываться. Для меня это тогда стало в некотором роде открытием. Ни фига себе, подумал я, какие интересные проявления радости у народа! Вы только представьте себе – вот, например, после многолетней разлуки сын обнимает мать и отца; вот молодой папаша, вернувшись из дальней опасной командировки (после какой-нибудь пустынной бури), хватает на руки детей; вот встречаются в урочный день давно не видевшиеся школьные друзья и т.д. – и вот все они, очевидно (почему бы не допустить?), испытывают все тот же подъем. Да, не поспоришь: есть много чего, друг...

Но я что-то отвлекся, и не о том собирался говорить. А собирался я говорить о том, что вот именно в то утро, на другой день после посещения Савицкого я и принял окончательное решение относительно одного дельца, которое уже давненько обдумывал.

Тут придется начать несколько издалека.

В те дни я весь находился во власти одной идеи. Я даже помню, как она появилась, как зародилась и росла во мне, пока не завладела всем моим существом.

Как-то по случаю я купил у одного веселого бодрого старичка с полторы сотни виниловых пластинок – почти все сплошь классика и немного народной музыки. Надо сказать, я в этом деле всегда был темен: концертов никогда не посещал, в оперном театре был только в детстве, и все мои познания в классической музыке из радиоточки. А тут вот как-то пристрастился, да так, что теперь не могу себе и представить утра без какой-нибудь баховской кантаты. Да... Так о чем я?.. Ах, да! Насчет идеи. Так вот: пластинки. Пластинки, как известно, лежат в конвертах, и почти на каждом таком конверте с тыльной стороны что-нибудь написано, и если по-русски, то можно и прочитать. И вот меня, помнится, всегда поражало полное, то есть абсолютное несовпадение музыки, которую я слышал на пластинке, с тем, что было об этой музыке написано на конверте. Никогда, ни разу ничего похожего, даже близко. И мне, честно говоря, было откровенно напле-

вать, рассказывал ли мне о музыке, разъясняя ее, какой-то тертый музыковед или даже сам автор, какой-нибудь Малер или Бетховен. Ничего общего, повторяю, я никогда не находил. Тот же Людвиг мог хоть с пеною у рта, колотя своей клюкой по столу (хотя, откуда у него клюка? А, ладно...), объяснять мне, что в его пасторальной симфонии вот здесь изображены мирные поля с веселыми крестьянами в погожий солнечный день, а вот тут – уже гроза, и те же пейзане бегут со своих полей, сверкая пятками, – на меня это не произвело бы никакого впечатления. Или там возьмем какой-нибудь скрипичный концерт Прокофьева. На конверте читаем, что тут отражена народная стихия народного же веселья и т.д. – ничего себе весельице, от которого мороз по коже!.. Странное вообще чувство юмора у этих музыковедов. Да и, судя по всему, у самих композиторов.

Вернемся, однако, к моей идее. Не смогу сказать точно и расписать подробно, каким именно образом мой пластиночный скептицизм трансформировался в нее, но связь между этими вещами очевидна. Не будь этого раздражителя, этой внутренней пьяной полемики, на которой я отчего-то на некоторое время маниакально сосредоточился, не было бы и всего остального. Итак: к чему же я пришел? Говоря коротко, мне захотелось совершить нечто такое, что было бы вполне объяснимо для постороннего наблюдателя, но на самом-то деле само по себе было бы лишено каких-либо вразумительных мотивов и, соответственно, объяснений. Чего только не придет в нетрезвую голову со скуки!

Долго я думал, каким образом мне бы свою идею воплотить, и, наконец, решил: зачем далеко ходить? надо брать то, что лежит под рукой. А что у меня тогда было под рукой? Мой старый приятель Миша и его жена Жанна – единственные более или менее приличные люди из всех моих знакомых, добропорядочные обыватели. С Мишей я учился в школе; мы были просто одноклассниками и никакой дружбы не водили. После школы мы с ним эпизодически встречались где-нибудь в городе, обменивались дежурными фразами вроде: как поживаешь? как дела? но ни разу даже не выпили вместе. Приятельствовать мы стали после моего возвращения с «химии». Миша вдруг проникся ко мне особенной уважительной нежностью, очевидно, как к пострадавшему, стал приглашать в гости, звать на дни рождения, одалживал мне деньги и т.д. Он был добродушен, глуповат; занимался недвижимостью, увлекался охотой и рыбалкой. Его жена Жанна, темная шатенка лет 25-ти с печальными карими глазами и пышной челкой, довольно вяло занималась домашними делами и была женщиной, что называется, непростой. Она время от времени что-то там рисовала, пописывала стихи, и вообще пыталась как могла разнообразить пресную жизнь домохозяйки, жены занятого человека. Какое-то томление чувствовалось в ней, какая-то неудовлетворенность ее подтачивала. Главой семьи была, конечно же, она, и Миша, по-моему, очень уютно чувствовал себя под ее каблуком. Отношения у меня с Жанной были такие шутливо панибратские, с налетом некоторой игривости. Время от времени я ловил на себе ее пристальные взгляды, особенно часто во время застолий, когда она немного выпивала, но и не думал принимать эти взгляды близко к сердцу, прекрасно сознавая, что женщине скучно, но не мне ее веселить. Однажды она даже заявилась ко мне в гости, одна, без Миши, сказала, что вот, мол, проходила мимо (объяснение совершенно неуклюжее, поскольку идти мимо нашей тмутаракани в общем-то некуда, кроме как в открытую степь, или же возвращаясь из нее). Я тогда, конечно, смысл ее визита уразумел, но не воспользовался, потому как очень уж не хотелось (тогда) осложнять себе жизнь. Мы попили чаю, натянуто побеседовали и она ушла. Мне даже, помнится, стало ее тогда жаль.

В общем, чтобы не тянуть, сразу перехожу к делу и сообщаю: я решил увести Жанну у Миши, тем более, что предпосылки, которые могли бы обеспечить успех предприятия, как видите, были. Смысл затеи (вполне безумной – согласен, но ведь так оно и задумывалось) был таков: со стороны это должно было выглядеть как банальный увод одним у другого жены (аннотация на конверте от пластинки), хотя на самом деле это действо не должно было иметь ни малейшего смысла и никаких разумных объяснений, просто прихоть (сама пластинка, т.е. музыка). Повторяю (хотя, чего это я повторяю, если я, кажется, об этом и не говорил еще): женщина по имени Жанна, жена моего приятеля Миши, меня не интересовала абсолютно ни с какой стороны. Для меня намечавшееся мероприятие было не более, чем тяжкой головоломной обузой. Но уж очень хотелось

доказать господам музыковедам, что музыка и то, что они пишут о ней на конвертах, не имеют ничего общего между собой. (А ведь у меня и впрямь, кажется, что-то с мозгами: интересно, что это за музыковеды такие, которые ждали и не могли дождаться моих бредовых доказательств?)

Возможность исполнить задуманное представилась меньше чем через неделю, когда Миша с друзьями отправился на очередную то ли охоту, то ли рыбалку (о чем мне было известно заранее, поскольку он настойчиво звал меня с собой). На следующий же день после Мишиного отъезда я заявился к нему домой. Да, чуть не забыл: накануне вечером ко мне зашел сосед с параллельного переулка, Петя Ярославцев (когда-то мой собутыльник, а теперь вот уже два года бывший в завязке) и принес долг полугодичной давности. Это было так неожиданно и, самое главное, так кстати, что, будь я гражданином США, меня от радости отбросило бы эрекцией к подоконнику. Тем же вечером, раз такое дело, я устроил себе прощание (не надолго, так, на две-три недельки, не больше) с холостяцкой жизнью или, как сказали бы опять же наши вездесущие друзья американцы, мальчишник. Водка мне что-то немного надоела, я решил попить портвейна, купил две бутылки молдавского, кое-что поесть. Дома я сразу же, с морозца, бахнул два стакана, поставил на проигрыватель пластинку с греческими песнями, взял томик Стивенсона и вот в такой теплой и пестрой интернациональной компании чудесно провел время.

А на следующий день я, как уже говорил, отправился домой к Мише, которого дома не было.

Сначала мы сидели с Жанной на кухне и пили кофе с коньяком. Ну и тут Жанна дала себе волю. Ясно же было, что я, знавший о том, что Миша в отлучке, явился не просто так. И неподвижный ее взгляд, еще и на фоне малосодержательной беседы (да просто какого-то бессмысленного лопотания) был выразителен и красноречив как никогда. Я допил кофе, подошел к ней, поднял со стула, взял на руки и понес в спальню. Она была несколько тяжеловата для меня нетрезвого, и я еще помню, как по дороге в спальню все время думал: вот будет весело, если я сейчас обо что-то споткнусь и мы брякнемся на пол. Однако дошел, донес. Когда все совершилось, я, отдышавшись, сказал: «Идем жить ко мне?» Некоторое время она раздумывала, но недолго, потом спросила: «Тебе этого хочется?» Я сказал: «Да». «И давно?» «Не помню. А какая разница?» Она еще немного подумала и сказала: «Пошли». Мы оделись, она побросала в дорожную сумку вещи, взяла деньги, и мы вышли.

Так вот все гладко и без лишних слов у нас произошло. И стали мы жить-поживать и врагов наживать. Ну, насчет врагов я так, для красного словца. Если не считать несчастного Мишу. А какой из Миши враг? Бог с вами. Он, кстати, примчался через пару дней. Встречала его на веранде, она же кухня, Жанна. Я же лежал пьяненький в комнате и через приоткрытую дверь до меня долетали обрывки их супружеской беседы. Миша что-то горячо, с умоляющими нотками в голосе говорил. Тон ответов Жанны был раздражительным. Она говорила: «мне надо побыть еще здесь...» («побыть» – это хорошо, подумал я), «мне это необходимо, понимаешь?..», «может быть нам вообще не стоит больше жить вместе...» (а вот это напрасно). Миша долго молчал, потом я услышал: «я вот тут деньги принес...» А-а-тлично, подумал я и заснул. В дальнейшем Жанна с Мишей встречались еще не раз, но уже на нейтральной территории. И каждый раз Жанна, после встреч, приносила деньги.

Мои расчеты пожить с Жанной две-три недели, как оно и задумывалось, и разойтись не оправдались, мы прожили дольше. Первая неделя прошла, если можно так сказать, под знаком Венеры. Объяснение тому довольно простое: я долгое время жил анахоретом, и поэтому это недельное барахтанье в постели еще можно было выдать за страсть. Вторая неделя – ну так, тоже ничего. Ну, третья... На этом можно (и нужно!) было бы и остановиться. Задача была выполнена, основная тема сыграна, дальше шло малосодержательное и совсем необязательное ее развитие с неизбежными повторами и вариациями, то есть, как и следовало ожидать, потянулись серые будни. Впрочем, для кого как. В поведении моей Жанны чувствовалась какая-то растерянность. То она брала на себя роль богемной девицы, и тогда пила и курила напропалую, время от времени что-то пописывая в своей общей тетради; однажды она даже где-то достала травы и, обкурившись, весь вечер истерически хохотала под моим пьяным недобрым взглядом (я всегда был

самым решительным противником наркотиков). А то вдруг переходила на положение примерной жены-хозяйки, и тогда начинала готовить, стирать, наводить порядок, создавать кое-какой уют, что в моей конуре было сделать очень непросто. Потом ей это наскучивало, и она опять бросалась во все тяжкие. Я ко всем ее метаморфозам и причудам относился с философским спокойствием, и продолжал вести ту же жизнь, что и раньше, терпеливо выжидая, когда она, наконец, образумится и вернется к мужу. Иногда, когда меня уж чересчур тяготило ее присутствие и до одури хотелось побыть опять холостым, я шел в «Капельку». А вообще Жанна, по-моему, поверх всех этих метаний, выглядела в те первые недели вполне счастливой, и, будь я чуть посентиментальней, я бы, наверное, умилялся, глядя на нее: мол, вот же удалось за всю свою раздолбайскую жизнь хоть кого-то порадовать. Да и мне, честно говоря, не на что особенно было жаловаться. Кормил и поил нас бедный добрый Миша, деньги Жанна получала от него регулярно – чего еще желать?

И все-таки долгое бобылье существование начинало постепенно давать о себе знать. И Жанна стала меня раздражать все больше и больше. И приступами экзальтации, и стишками, которые я вынужден был выслушивать, и вообще просто сама по себе, своим присутствием. А вот ей, кажется, стало надоедать наше затворничество. Она все пыталась меня вытянуть в какие-то гости, на какие-то прогулки, на что я неизменно каждый раз говорил свое твердое «нет». Однажды я не выдержал и ударил ее по лицу. Мы и прежде обменивались раздражительными репликами, но до громких скандалов, а тем более до рукоприкладства, дело у нас не доходило. Это произошло однажды утром. Ночью выпал свежий снег, и в доме было как-то особенно уютно, ну, вы понимаете, о чем я говорю: светло, тепло, тихо. Мы завтракали. Я выпил. Вполне насладившись тишиной, поставил баховский «Магнификат», закурил, и мне стало хорошо как никогда. И тут моя сожительница Жаннета, перебивая весь этот восторг, заводит (слово «некстати» тут не подойдет, скорее – «вероломно», да, именно так – «вероломно») разговор о необходимости хоть какой-то светской жизни и пытается втянуть меня в дискуссию. Я очень ценю утренние часы, первые по пробуждении, очень. Особенно такие, как те, что выдались в то чудесное утро. Я совсем не хотел унизить ее или, тем более, причинить боль, я только хотел уберечь блаженное состояние, в котором пребывал; если хотите, это был акт самозащиты. В общем, я ударил ее и выпил еще водки, чтобы удержать то, что под ее скандальным напором уже начинало разрушаться, исчезать. У нее на лице появилась самое искреннее выражение растерянности, детской обиды, она склонила голову и начала ронять слезы. Плач. Ни хрена я, конечно, не удержал. Честно говоря, я и сам немного растерялся. Потом призадумался: а вот это входило в мои планы, вот эта плачущая баба напротив меня, или не входило? А с другой стороны: что значит «входило»? и что такое эти «планы»? Ты же этого хотел, вот тебе музыка – слушай. Импровизация. А господа музыковеды пусть объясняют. На том и успокоился. Я подошел к Жанне, погладил ее по голове, как мог приласкал, и она довольно быстро меня простила. Я еще тогда, удивляясь ее такой быстрой отходчивости, подумал: а может быть, у нее внутри тоже своя музычка играет, и вот к ней добавился еще и такой неожиданный, добавляющий остроты пассаж? В благодарность за ее сговорчивость, а вовсе не из какого-то там чувства вины, я согласился пойти вечером в кино. Уже через полчаса, конечно, пожалел о данном обещании, но нарушить его не решился – все-таки не каждый день бьешь даму по лицу.

Нет, ну тут надобно бы вернуться назад, что ли... Я слишком уж стремлюсь к развязке, а ведь было и еще кое-что. Да, были вечера, когда мы втроем – я, Жанна и Иван – сидели почему-то чаще всего у меня на веранде, одетые, и вели, выпивая, легкие такие разговоры, и я чувствовал, нет, знал наверняка, что когда-нибудь, лет через пять или десять, буду вспоминать эти вечерние посиделки (если доживу, конечно) с хорошей улыбкой. Вся веранда, за исключением одного окна, была заклеена газетами, и вот мы сидели и выпивали. А снаружи был снег, ветер, качались голые ветки, а мы сидели, шутили, смеялись. Кроме всего, я ведь постоянно держал в уме, что вот зачем-то (именно «зачем-то». Это славно. Как хотите, а это «зачем-то» все ж таки согревает сердце.) разрушил две чужие жизни... ну, не разрушил, повредил, скажем так... растрепал – вот. И странным образом от сознания этого мне было еще уютней. Что-то тут и еще было... Боюсь перегнуть

– но, может быть, ощущение выполненного долга? А что? Если хорошо подумать и не кривить душой? (Да, забыл, заходил еще Петя Ярославцев, который к тому времени опять развязал.) Ну, во всяком случае, когда я сидел на веранде в компании Ивана и Жанны, я был весьма и весьма собой доволен. Нет, не то. Так, прошу прощения, тут я опять что-то стал путаться и заговариваться. Я лучше поясню историей с дядей Колей. С дядей Колей мы разбирали рухнувшую крышу цеха сборки завода по производству кранов (это еще когда я квартиру на улице Завокзальной не сдавал и подрабатывал где придется). Хороший мужик был дядя Коля, мы с ним подружились, и когда работа закончилась, встречались и выпивали не раз, в той же «Капельнице». И вот как-то дядя Коля – вполне смирный, тихий человек встал в третьем часу ночи и перерезал всю свою семью: жену, сына и невестку (надо сказать, они не один месяц его дружно к этому готовили). Перерезал и лег спать. А утром вызвал милицию. И снова лег спать.

Утро после резни. – Освещенная ярким утренним светом комната. На двуспальной кровати среди смятых окровавленных простыней и подушек лежат бездыханные тела молодых мущины и женщины...

Я к дяде Коле потом в тюрьму ходил, слава Богу, недалеко, девять кварталов; сигареты носил. Смотреть на него было страшно. Но вот как-то раз он в разговоре, жалуясь на бессонницу, мечтательно так вдруг вспомнил, как ему сладко спалось после того, как он порешил домочадцев. Никогда так не спалось. И он аж зажмурился от удовольствия.

(Правда, тут я должен признаться, что не совсем уверен, был ли у меня с дядей Колей такой разговор. Может быть, это мне только пригрезилось. Со мной такое случается – по пьянке я бываю разговорчив, и если собеседника в наличии нет, легко могу его и сочинить, а потом, бывает, никак не могу вспомнить происходил ли такой разговор в действительности или то была всего лишь игра воображения.)

Я это к тому, что было у меня тогда, во время посиделок, ощущение сродни дяди Колиному, когда тот после бойни укладывался спать, ощущение, что так хорошо и спокойно – уютно! – мне уже никогда больше в жизни не будет. И ощущение хрупкости уюта усиливало ощущение уюта. Кажется, опять несколько замысловато, и не совсем то. Ну и ладно.

И еще я забыл сказать вот что: меня в моей Жанне последние дни очень настораживала время от времени нападавшая на нее задумчивость. Какое-то смирение проглядывало в ее остановившемся затуманенном взоре. Вот это смирение мне очень не нравилось. Мнилось мне почему-то, что приглядывается она к этому своему жизненному зигзагу и примеривается. Так и хотелось иногда спросить построже: «Ты к чему там примериваешься, а?! И не думай даже!» Пугало меня это, да. В общем, чуял я одним местом, что пора ее отправлять назад, к Мише. Хватит.

Ну, а в тот день, о котором шла речь (после оплеухи-то), отправились мы развлекаться. Поскольку ехать в город я категорически отказался, пошли в наш, ближайший, кинотеатр «Вымпел». А там как раз был клубный день из цикла «Великое кино на большом экране», и должны были показывать фильм «Апокалипсис сегодня». Прямо скажем, не лучший вариант хорошо, весело и с пользой провести свободное время. Тем более, что я это кинополотно давно у Мити посмотрел. Если кто не знает, о чем там речь, рассказываю. Вьетнамская война; некоего американского военнослужащего, капитана, отличника боевой и политической подготовки, посылают отыскать бывшего полковника американской армии (тоже отличника, да еще какого!), скрывающегося в джунглях и вытворяющего всякие там непотребства, найти и уничтожить. И вот образцовый, но какой-то не в меру впечатлительный, капитан весь фильм плывет по речке к этому полковнику, всю дорогу читает его личное дело, недоумевает, пугается, и время от времени делает круглые глаза в напрасной надежде запугать зрителя: мол, как же он, полковник, мог такое сотворить? Ну и там еще по пути с ним приключаются всякие малоинтересные истории. А что же, спросите вы, сотворил такого ужасного страшный полковник? Как на мой взгляд, так ничего особенного: собрал вокруг себя косоглазых и стал их вождем. Довольно, впрочем, строгим. Я, конечно, второпях

не очень занимательно пересказал, но фильм того стоит. Ну и добавьте сюда еще пафос, в котором варится весь этот эпос. И вот оказался я перед выбором: или, опять-таки, ехать в город, или же подремать пару часов в кинотеатре. Выбрал кинотеатр. Чтобы сильно не нервничать, предварительно принял. Перед фильмом улыбчивый господин с бородкой, киновед, прочитал нам целую лекцию. Выступал с огоньком, очень уж старался. Приплел и Фрэзера с «Золотой ветвью», и Ницше, и что-то там еще: река Стикс, архетипы... В конце пошли байки про то, как тому режиссеру трудно было, как ему противился и гадил пентагон и отказывали один за другим продюсеры, как свои честно заработанные четыре оскара он в приступе отчаяния выбросил в окно, как во время съемок не выдерживали нервы у актеров и они трогались рассудком... И вот сидит вся наша хуторская интеллигенция (а кто-то даже из города приехал по такому случаю) и сочувствует бедному заокеанскому режиссеру, затаив дыхание. Наконец, ведущий (мы, кажется, с ним в одной школе учились) заканчивает и спрашивает: у кого-то есть вопросы? Я поднимаю руку, встаю и спрашиваю: «А вот с этими четырьмя оскарами, которые режиссер в окно выбросил, что потом стало?» Киновед не понимает и так и спрашивает: «Извините, не понял, что вы имеете в виду?» Я терпеливо объясняю: «Я имею в виду: что стало с этими четырьмя оскарами, ну, статуэтками, которые режиссер, будучи в сильном волнении, выбросил в окно? Они пропали, или может быть, какая-нибудь служанка выбежала и подобрала их? А может, он так и рассчитывал, что он их бросит, а она выбежит и подберет? Ну, такой жест, для истории кино, чтобы вы нам потом вот здесь это рассказывали?» Слышу, по залу неодобрительный гул пошел, и чувствую, как моя Жанна меня дергает вниз за полу пальто. А киновед пожимает плечами, снисходительно улыбается и обводит взглядом зал. «Я вас не понимаю», – говорит он. «Ну, хорошо, – говорю я. – Не понимаете и не надо. Можете начинать». В зале ехидные смешки. Я сажусь, свет гаснет и фильм начинается.

Беседа с киноведом некстати взбодрила, и задремать не удалось. Пришлось запастись терпением и смотреть. Терпения оказалось всего ничего и закончилось оно на эпизоде, где не пальцем деланные американские вояки летят на вертолетах под Вагнера. Тут я решил, что с меня хватит, нервы у меня все-таки не железные и, поставив в известность Жанну, отправился дожидаться ее в ближайшую забегаловку.

Стою я за столиком, пью пиво, закусываю крабовой палочкой, жду окончания сеанса, как вдруг меня кто-то хлопает по плечу и громко говорит: «Брат, это ты?!» Я поворачиваю голову и у левого плеча обнаруживаю бывшего армейского сослуживца Роберта – наполовину армянина, наполовину русского, которого я через все эти мутные тысячи лет почему-то сразу узнаю. Я вообще-то люблю армян – порядочно они настрадались за свою долгую историю, но этот Роберт был, конечно, не лучшим их представителем. А он между тем продолжает радостно меня хлопать по плечу и тараторить со звенящим армянским акцентом. Мы с ним выпили за встречу, он мне рассказал, что приехал к двоюродному брату, который держал тут неподалеку продуктовый ларек, но оказалось, что брат только на днях отбыл в Москву. Повспоминали армию: он горячо, весело, с привлечением армянских матюгов, я –довольно сдержанно и даже неохотно. Так мы дождались мою вторую половину. «Это Роберт. Это Жанна. Как я люблю все иностранное», – сказал я. На что мой сослуживец с восторгом заметил, что Жанна – очень распространенное армянское имя. Прихватив пару бутылок, мы двинулись домой.

Дома Жанна приготовила из подручных средств кое-что поесть и делилась впечатлениями от увиденного фильма. Впечатления оказались самыми превосходными, а кроме того я заметил ее потуги произвести впечатление на гостя, который тоже, не сводя с нее глаз, ухитрялся болтать без умолку. Очень скоро они сошлись во мнении, что я ничего в кино не понимаю. Я спорить не стал. Через пару часов мы все были хороши. Жанна от возбуждения и выпитого окосела порядочно. Роберт уже открыто ухаживал за ней, то и дело хватал за руку. Она, улыбаясь, гладила его по голове. Дело молодое, решил я.

«Ну, что? – спросил я, когда армянин вышел до ветру. – Нравится мужичок?» «Да, нравится, – с некоторым вызовом ответила Жанна. – Мне вообще нравится, когда мужчина видит в женщине прежде всего женщину!» «Ну, на этот счет можешь не сомневаться: именно это он в тебе

и видит, и ничего другого. Да и сама к нему приглядись. Уверен, что ему тоже нравится, когда женщины видят в нем прежде всего мужчину. Давай. Твой кармический медбрат плохого тебе не пожелает. Препятствовать не буду». «Дурак. Я в твоем разрешении не нуждаюсь. Кто ты вообще мне такой?» «И то верно, – сказал я и поднялся. – Пойду к себе...» «Ты будешь горько жалеть об этом!» – проговорила мне в спину Жанна.

У входа в свою комнату я сталкиваюсь с вернувшимся со двора Робертом, подмигиваю ему в сторону комнаты, где сидит Жанна, и утвердительно киваю. И закрываюсь у себя. Чуть позже ставлю на проигрыватель пластинку. Ну а дальше события начинают развиваться самым неожиданным образом. Эту часть я бы назвал скерцо.

Только я устраиваюсь с книгой на кровати, как раздается стук в дверь и входит голый по пояс и возбужденный во всех смыслах (и это сразу бросается в глаза) мой однополчанин. Я делаю музыку потише и смотрю на него.

– Слушай, как ты можешь крутить эту музыку? – говорит он.

– А что? – спрашиваю я. – Чем тебе не музыка? Золотой голос Азербайджана, один из лучших исполнителей мугамов.

Роберт подтягивает пальцами за складки вверх обе штанины и, поправляя в паху, садится передо мной на корточки. Выставив вперед подвижные ладони, он начинает рассказывать о погромах в Сумгаите и Баку, о войне в Карабахе, о всевозможных зверствах противника и т. д., и т. п.

Наконец мне удается вставить слово. Я стараюсь говорить просто, доходчиво, не пренебрегая при этом полезной и уместной в сложившейся ситуации назидательностью. Послушай, говорю я, все это замечательно, в том смысле, что все это, конечно, ужас и кошмар. И я самый что ни на есть решительный противник любого насилия. Но моего абстрактного пацифизма хватает только на заголовки новостей, только на то, чтобы сразу же, с порога осудить любое, пусть самое ничтожное кровопролитие. Только на это. Всё. Вникать в племенные разборки каких-то там тридесятых, знакомых мне лишь понаслышке государств я не собирался и не собираюсь. И ждать от меня большей отзывчивости напрасный труд. У меня внутри не проходной двор. И поэтому мне ни хрена не понятно, почему я должен посреди ночи все это выслушивать, вместо того, чтобы наслаждаться музыкой, которая, как известно, не имеет границ?

– У меня, кстати, и армяне есть, – добавляю я, – но я их недавно слушал. А сейчас мне по кайфу вот это, так что извини, ничем помочь не могу.

– Слушай, я же тебя по-хорошему, как братишку, прошу...

Я говорю:

– Спасибо, что по-хорошему. Я это ценю. А что, у меня дома ты мог бы попросить как-то по-другому?

Нет, ну как вам вообще все это?! Разве не чудесно? Я приглашаю человека в свой дом, делю с ним хлеб-соль, оставляю ночевать, разрешаю попользоваться Жанной, и после всего ему, оказывается, не по вкусу моя музыка! Куда катится этот мир?

Однополчанин, между тем, не унимается.

– Брат, зачем мы будем с тобой ссориться? Я что неправильно себя вел? Какое-нибудь неуважение было с моей стороны? Я просто вежливо тебя попросил одну маленькую вещь – убери эту музыку... Можно, я выключу?

– Нет, – говорю я.

Тогда этот удивительный гость встает и выдергивает вилку из розетки.

– Когда меня не будет – послушаешь, – говорит он и идет к двери.

Я говорю:

– Ну тогда сделай так, чтобы тебя не было прямо сейчас. Всё. Гости закончились.

При этом я поднимаюсь, вставляю вилку в розетку, и когда с набирающей скорость пластинки вновь начинает звучать музыка, делаю ее громче. Он бросается опять к розетке, и я бью его кулаком в лицо. Он, едва не падая, отскакивает, и некоторое время ошалело смотрит на меня. Из носа у него течет кровь. Он промокает ее пальцами, смотрит на свою ладонь, а потом резко проводит

ею по стене. И тут же, тыча пальцем в кровавый след на обоях, начинает кричать, неожиданно высоким, даже до какой-то визгливости голосом:

– Ты сам понял, что ты сейчас сделал?! Смотри! Видишь эту кровь! Это моя кровь! Ты только что в своем доме пролил кровь своего гостя! Ты пролил кровь беженца! (вот ведь незадача какая – вместо семени пролилась кровь. – *Прим. автора*). Этот дом теперь навсегда будет проклят, ты понял?! Запомни это! Запомни этот день, сука!

Тут он бросается на меня и валит на пол. Я был настолько впечатлен пламенным монологом, что допустил роковую ошибку – нельзя было подпускать его так близко, потому что все эти кавказцы, как правило, в борьбе довольно искусны. К тому же еще он как-то сразу обильно вспотел, и совладать с ним не было никакой возможности. В свалке он ухитрился один раз пребольно стукнуть меня лбом в лоб и оторвал воротник рубашки. В конце концов он оказался верхом на мне и принялся было душить. При этом он о чем-то возмущенно вопрошал по-своему. В дверях – «Что вы делаете! Прекратите!» – заголосила Жанна. А потом вдруг мой гость, запрокинув голову и коротко тонко вскрикнув, меня покинул. Смолкла музыка. Сделав несколько глубоких вдохов, я прямо перед собой увидел Ивана. Он был в трусах и калошах со срезанными задниками. «Давай-давай, подъем! Быстренько!», – негромко говорил он Роберту, дергая ладонью.

Ночной разговор. – В небольшой, скромно обставленной, освещенной электрическим светом комнате находятся трое мущин. Один из них лежит на полу на спине, приподнявшись на локтях. Второй, восточной наружности, с обнаженным торсом, сидит на полу, прижавшись спиной к стене; на лице его кровь. Удивленные взгляды обоих мущин направлены на третьего. Он стоит посреди комнаты спиной к зрителю. На нем черные трусы и легкая обувь. Голова его повернута в сторону мущины у стены, в том же направлении вытянута его правая согнутая в ладони рука. За единственным в комнате окном темно.

Роберт поднялся и послушно пошел за Иваном. Хлопнула входная дверь; я прислушался. За окном прошаркали шаги; тихо стукнула калитка. Больше ничего мне услышать не удалось.

Обессиленный, я добрался до кровати и закурил.

В дверях опять появилась Жанна. На ее лице было пьяное, старательно вылепленное презрение.

– Пьянь! – Сказала она.

– Блядь, – ответил я.

Кажется, я и докурить не успел, как в обратной последовательности, но уже в ускоренном темпе громко стукнула калитка, послышались шаги, хлопнула входная дверь, и мимо моей комнаты в большую пронесся Роберт. Я опять прислушался, но, кроме негромкого топота торопливых переходов по комнате и какого-то шороха, ничего не услышал. Меньше чем через минуту уже одетый Роберт промелькнул мимо моей комнаты в обратном направлении, и вновь: входная дверь, быстрые шаги, калитка. Больше этой ночью ничего не произошло. Роберта я никогда больше не видел.

Днем, когда я проснулся, Жанны уже не было. Не появилась она и вечером. Больше всего меня беспокоило, что придется держать отчет перед Иваном. Как потом оказалось, напрасно – мы увиделись с ним только через неделю, и он и словом не обмолвился о той ночи. Деликатный человек. А ведь жаль. В конце концов я был согласен и на отчет – до того мне хотелось узнать, что же там, в ту ночь произошло между ним и моим гостем. Чем Иван его так поразил? Что он мог ему такого ужасного сказать? Или сделать? Или – показать? Я больше склоняюсь к последнему. Сам я не смог ничего придумать. И до сих пор при воспоминании о той ночи мне почему-то неизменно представляется, что Иван не сказал бедному Роберту ни слова, не тронул его даже пальцем, а просто в темном глухом переулке за нашим домом вдруг молча явил себя в одном из самых жутких своих обличий, а то и сразу в нескольких. Но тут я теряюсь, и мое ленивое воображение съезжает на тех монстров и чудовищ, которыми полны Митины американские книги и фильмы.

Жанна появилась на следующий день, чтобы забрать вещи. Я все время просидел у себя. Ушла она, даже не заглянув в мою комнату. На столе оставила сто долларов. Что это должно было означать? Ну, что-то, наверное, должно было... Вот и кончилась наша музыка, подумал я тогда с облегчением. Оказалось, что не совсем. Не прошло и месяца, как она вдруг заявилась среди ночи и попросилась пожить пару дней. Пожила. Спустя еще какое-то время пришла вечером и осталась до утра. Ну а потом уже приезжала когда хотела и оставалась сколько хотела. Я дал ей вторые ключи. Не знаю, что у них там происходило с Мишей, никогда не спрашивал. (По некоторым обмолвкам можно было догадаться, что дела Мишины несколько пошатнулись.) А у меня она держалась тихо, спокойно, когда надо деловито. И в нашем общем воздухе уже не ощущалось того электричества, которым он был наполнен прежде, во время ее самого первого пребывания здесь. Большую часть времени она все-таки проводила с Мишей, но где-то с неделю, с дней десять в месяц нашей с ней совместной жизни набегало.

Эти, уже почти рутинные, треугольные отношения оборвались в конце осени. Возможно, внимательный читатель записок заподозрил, чем дело закончится, еще когда узнал о Мишином увлечении охотой. Я оказался менее догадлив, и потом долго дивился: ну как же так? как вот это, то, что я сейчас так ясно вижу, – Миша, сидящий в спальне на их с Жанной кровати, наклоненное ружье, босая ступня, большой палец с широким желтоватым ногтем (может быть, в действительности всё было по-другому, но мне представлялось именно так) – не возникало в моем воображении прежде? Поразительно. Ведь это было так очевидно, ведь по-другому и быть не могло.

А вот что явилось настоящей неожиданностью, так это дата Мишиной смерти. Мой день рождения. В том, что совпадение не случайное, сомневаться не приходится, поскольку в последние годы Миша был единственным среди живущих, кто не забывал поздравить меня, сироту, с этим сомнительным праздником. Никогда не замечал за Мишей особого остроумия, да и вообще никакого, но тут он, что и говорить, – удивил. Правда, в блестящей затее связать на веки вечные день своего самоубийства с днем моего рождения Миша не учел одного – с моим образом жизни я могу о них и не вспомнить. Что и произошло год спустя. Единственным, кто мог бы мне напомнить, был сам Миша, а он не явился. Не знаю, как будет дальше, но уже понятно, что ожидать этот день с трепетом, в предчувствии страшных мук раскаяния я вряд ли буду. Если же не пропущу, вовремя вспомню, то да, конечно, помяну Мишу, чего уж там. И это, пожалуй, единственное, что я могу твердо пообещать. Ну, поживем – увидим.

Жанна тогда исчезла. И мы с ней не виделись... даже не могу точно сказать сколько. Пока однажды...

А впрочем, не пора ли и отдохнуть?

Привал путешественников. – Двое мущин и дама в голубой юбке и желтой накидке на белом коне с маленькой собачкой на руках остановились перед шинком. Один из мущин, смеясь, показывает даме свой пустой стакан; другой слез с лошади и разговаривает с шинкарем. Направо приближается бедное семейство с ослом, у которого на спине в корзине лежит ребенок. Налево старуха у входа в шинок.

Олег ЮРЬЕВ

СТИХИ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

НА НАБЕРЕЖНОЙ

...а едва из башенки мы сошли
в те накатанные из мягкого дымного льда
небеса, что так сизо-розовы и покаты,
как всё и опять мы увидели, но не так, как с земли:

Цыгане, поклевывающие с моста.

Цыганки, поплевывающие на карты.

Утки, поплавывающие в пенной пыли.

Собачки, курчавые, как борозда.

Младенцы, щекотаны и щекаты.

(И низкие покоробленные корабли.)

(И черные опаздывающие поезда.)

(И белые ослепительные закаты.)

***

Ein verweintes Pferd sah mich aus Linsen an.
Arno Schmidt, «Das steinerne Herz»

Из-за стеклянных наклонных стрел
конь заплаканный посмотрел
сквозь чечевички огня и сна

туда, где сырная ночь ясна.

Олег Юрьев родился в 1959 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1991 года живет в Германии (Франкфурт-на-Майне). Один из основателей литературной группы «Камера хранения» (1984), куратор одноименного Интернет-проекта. Автор трех стихотворных книг, сборника пьес и пяти книг прозы, публикаций в периодике, в том числе в журналах «Воздух», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Новый берег», «Октябрь», «Урал» и др. Переведен на немецкий, французский, чешский и др. языки. Лауреат Премии имени Хильды Домин (2010).

По наклону из облачных тел
клен заплатанный полетел,
платан заклеенный побежал

туда, где синий лежал пожар
гнутой гаснущей полосой,
а ночь по склону всходила босой,

и, разгораясь, сырая мгла
сквозь черевички ее росла.

ТРИ ТРЕХСТИШИЯ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

И клены с лапками, и липы с лапотками
и хлопали, и топали на лестнице с лотками,
и нагибались, будто их толкали.

И в свете медленном, дошедшем недосюда,
и петли нам, и полосы чертила мгла-постуда
и поворачивалась посуда.

И воздух поднялся и щелкнул плетью о́б стол,
и клены окружил, и плотно липы обстал,
и где был неба тыл – там лоб стал.

ТОЛСТЫЙ ФЕТ

Толстый Фет идет вдоль сада;
ночь сквозь прутья палисада
с трех концов подожжена;
и выходит, полосата,
женщина за Шеншина,
оттого что он печален.

И пока она без сна
светит скулкой, как блесна,
в круглой комнате без дна, –
в антрацит ночных купален
насыпается луна.

ПЕТЕРБУРГ

Спустился сон еще до тьмы
на сад, закрывшийся руками
своих смутнобелеющих камней.

Мы засыпали стариками,
а просыпаемся детьми
и даже лучше, кажется, – умней.

Над садом шелк небесный туг
и солнечно круглеет боком
над твердым шевеленьем вод –
последний щелк, последний стук,
и вот, как в выдохе глубоком,
корабль, шар и сад и небо поплывет –

тогда очнемся и начнем,
гудя свежеподдутой пневмой,
о человечестве ночном
и о России полудневной.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Д. Ю.

Я забыл эту зиму, слюдяную грозу,
от нее даже дыму не осталось в глазу,
даже в горле – намокшего меха.
Двадцать лет я не помнил ни сон, ни слезу,
ни растущую в сердце ледяную лозу,
ни под сердцем жужжащее эхо.

Двадцать лет я не помнил и столько же зим
этот сладкий, прозрачный и плачущий дым
этот запах прощанья и страха.
Двадцать лет мы – почти что незримо – кружим
и над садом седым, и над рядом чужим
в плотном небе слоистого праха.

Что ж, пчела дорогая, теперь ты – сама,
оттого что кончается эта зима,
оттого что исполнились сроки.
Неслучайно опять зазвенело ледком
незнакомое небо, чей холод знаком –
скоро в сердце подтает иззубренный ком,
скоро снова откроется путь над летком –
и свободы шажок неширокий.

СТИХИ

Истолченная мгла просыпается
сквозь решетку в стеклянном огне –
это птица-игла просыпается
и летит к истончённой луне.

Растворяется блещущий зрак –
растворяется свищущий мрак.

Здравствуй мгла моя, ясная, зимняя,
здравствуй, ночи светящийся шар –
это птица-игла-Полигимния
возвращается в белый пожар.
Зелен ветер на снежном плацу —
ловит волк роковую овцу.

ХОЛОД, пятнадцатистишие

В снегах отечества лелеять знобких муз...
К. Н. Батюшков. ИЗ ПИСЬМА К А. Н. ОЛЕНИНУ от 4 июня 1817 г.

сыпкий ссыпался графит
в реку с высохшей доски
зыбкий луч сумрак графит
полосует на куски

зря мы сердце леденим леденим
хоть изрезан ледерин ледерин
свод небесный неделим

лучше выйти покурить в юный дым
к нелюдимым звездáм молодым

попросить у сонных мурз
сердцу вылечить озноб
пожелать у знобких муз
в спелом небе белый сноп белый сноп

что ж мы сердце леденим
свет над бездной неделим

ОДА РАССВЕТУ

хоть небосвод насквозь померк
сквозит из его дуг и падуг
какой-то страшный фейерверк

зеленый блеск и белый сверк
как сад где только дуб и падуб

по скользким лестницам зари
как за медузою медуза
сплывают света пузыри

ночное мужество замри
дневному ужасу обуза

ЛУНА, четырнадцатистишие

На шаровидной колеснице
Хрустальной, скользкой, роковой
Г. Р. Державин, ода “На Счастье” (1790)

Гляди-ка, у луны соосной
Подбито нижнее крыло –
По набережной светоносной,
В траве нескошенной стоостной,
Оно воло́чится тяжело.

И всё воло́чится и воло́чится,
И волочи́тся по мостовой,
Пока не всклочится и не всклокочется,
Не скособочится вниз головой,
Пока до остова не раскурочится
Стоостой тенью мостовой,
До острого пока не сточится,
Над остановленной Невой –
Хрустальной, скользкой, роковой.

ГИМН ВЕСНЕ

Смертью горло полоскали
Дуры-горлинки во сне,
Из пылающих клёвов плёскали
В голые глаза весне –
Золотыми полозками
По воспаленному стеклу
И вспылёнными полосками
На расплавленном полу.

Вот сад, где ртутная вода
Стекала всю ночь тройным уступом
В темнеющее никуда
По темно-голубиным купам –
Сквозь пыль и пыл стекла, сюда;
И ночь за ночь ее труда
Оплачена тройным сюркупом:

Медведки скрылись, и волчцы
Шипы зеленые надели,

Седеют в гробе мертвецы,
Когда еще не поседели,
И смертью дурни-горлецы
Полощут горло в самом деле.

***

Что будет музыкой в аду?
Пила в разветвьях голотелых
И колоченье оголтелых
Косилок на холостом ходу?

Что будет золотом в аду?
Ветчины узкие магнолий?
А злотым медным – не стегно ли
Медведки, вытомленной во льду?

Что будет пóтом в полом сне?
Что будет Тютчевым и морем?
Что – истомлением, что – горем?
И что потóм, куда и мне..?

МАЙ

Дóждь был. Деревья отжали
с острых воскрылий крахмал.
Шершень споткнулся на жале
и тяжело захромал
по опаленной ступеньке
на опыленную тьму –
шелка лоскутья, как деньги
розы роняют к нему.

Здравствуй, пустая природа –
мытые мая сады,
древ золоченая рота
у серебреной воды,
осы, и красные шершни,
и моховые шмели,
черви, латунные стержни,
выросшие из земли...
мертвые в каплях стрекозы...
крыльев потерянный шелк...
дикие майские розы...

...Дóждь был. И снова пошел.

А КАК Я ВЫШЕЛ, БЫЛ ПОЛОН САД
(два одиннадцатистишия)

...а как я вышел, был полон сад
огней сдвоений, теней строений;
был сразу клетчат, затем полосат,
и па́ром из облачных строений
окачен с краю, где неба скат...
...когда б я знал, что уже пора,
что в яблоке юном достанет воска
на тающий в небесах укус,
я в дом бы вернулся, что был как куст,
кем-то срубленный без топора
у предпоследнего перекрестка.

...но кто у въезда на не́бо стоял
средь ягод бело- и че́рноплодных
и был, как столиц небесных столяр
и как плотвиц стоместных плотник? –
стамеской он тьму от тьмы отслоял...
...когда б я знал, что уже июль,
что сада счетверена занавеска
свеченьем со всех небесных сторон,
я вышел бы и́з дому, сел в паром
и по́ небу, белому как от пуль,
поплыл бы – в забытой руке стамеска.

Семён ХАНИН

Что-то с координацией движений

***

быстро-быстро вынь из кармана, переложи в стакан
двигать не надо, рано, вообще не надо
а ты –
высунь язык и присядь
всё нормально, ты к стойке и шёл
шевелись, обходи, обходи
обойди кругом
выпростай руки, открой незаметно лицо
выдохни так, чтобы сиреневой краски
запах пошел изо рта
только пробка в руке так долго, что почти что вросла в ладонь
но руины отстроены заново, развалины заселены
всё нормально, и тебе нашли замену тоже

***

вы будете из тех, из бывших?
а нет – из выходцев, из только прибывающих?
а кто здесь из печали неизбывших?
из пришлых вы? в печали пребывающих?

ну, мы-то здешние, давно из этих мест
и только в пункты назначенья отбывали,
насельники земель и вод окрест,
носители обычаев печали

***

погоди
посадила на стул
стол уставила
подустал?

Сергей Ханин родился в 1974 году, учился в Латвийском государственном университете. Публиковался в журналах «Воздух», «Даугава», альманахах «Вавилон», «Орбита», антологиях «Освобожденный Улисс», «Девять измерений», в Интернет-журнале «TextOnly» и др. изданиях. Автор книг стихов «Только что» (2003) и «Опущенные подробности» (2008).

вот тебе – пододвинула –
пьедестал

в послевоенное время
совсем пустые, выщербленные
стоят пьедесталы

постарел?
вот тебе, чтобы лечь – постамент
и ещё, для тебя специально –
пистолет
чтобы было, чем капнуть на знамя
а потом, может быть, и постель

что ж ты так посерел?
что же ты перестал?
в наше
такое сложное время

нежная
нежная, как пижама
обняла
не выпуская ножниц
к себе прижала

***

он не раскаялся, так он просил передать
тебе и всей честной компании
и черным гениям, и ей
той, что, и той, которой
и той, с которой – тоже
его слова: ещё не время
вычеркивать меня из черных списков
я не раскаялся, шлейф тянется за мной
я не прошу прощения и буду только хуже
я буду портиться
как пища
и даже хуже – как литература
так он сказал

***

не мог её узнать
и чтобы посмотреть
она ли это на самом деле
я подошел поближе

другая сумочка, прическа
глаза другого цвета
а всё же это была она

и я смешался
не знал совсем что делать

но пересилив робость
приблизился еще
взял за руку, погладил

баллончик со слезоточивым газом
достав, она мне пшикнула в лицо

весь в газированных болезненных слезах
ослепший, всхлипывая, извиваясь
я неожиданно вошел в неё

и вышел с другой стороны

обернулся –
нет, все-таки это была не она

***

держись подальше от фонарей
когда у них наступает оргазм
когда разойдутся
подслеповато ощупав шоссе
уходят по эфес в темноту

они торопятся, они знают
тут нет рассвета
просто становится видно в какой-то момент
магазин, остановку
круги по воде

***

говорю вам, едва вы успеете прошептать
новое слово в науке любви
как попадете под машину времени
подвозящую прошлогодний снег

влачите же сюда, пока не поздно
свое жалкое существование
спешите завещать свои искусственные сердца
центрам современного искусства

***

и шепотом твердит: забудь, забудь
забудь и ты
и ты, и ты
ко всем на ты
подносит к носу вялые цветы
и тычет: нюхай, нюхай
пока они ещё цветочки
купи – бормочет – голые цветы
своей подружке
а после морщится и отдавать не хочет

***

кто это тут у нас стоит с протянутой рукой такой?
и какие мы все ой-ой-ой и изблёванные и несчастные
с квартальной щетиной и подсохшей пованиваем мочой
может, мы какие-то социально малоактивные?
никто в таком виде нас не тащит на блядки
реки текилы текут далеко ото рта, в бычках не растет трава
и никто не несет тебе колу с цикутой
и похлебка всех армий спасения, и ночи в бомбоубежищах не спасают тебя
и признаки латентного самоубийства у нас налицо?
слышь, э, не мы ли были первыми на курсах вожделения в мусорках
что это мы теперь мычим всё, мычим, мычим да мычим?
ну не попали слегка в штанину, быка дергали не за тот рукав
не тушуйся, старик, у нас еще хватит энергии и предприимчивости стянуть
одноразовое бессмертие у девок, торгующих им из-под полы

Янис ГРАНТС

«MARSHAK»

Короткий роман

I.

Что скажешь. Это она спросила: что скажешь? Гусыня. Что я могу сказать, если уже семь дней не видел ее пупка? Ну, не пупка, а этой, типа того, бриллиантовой блямбы, которая его накрыла. Это ж надо проколоть собственное тело по обе стороны от пупочной впадины (пупочная впадина? – уж не сошел ли я с ума?), чтобы впаять туда брошь, отливающую ультрамарином, размером с пятирублевую монету. Брошка так себе. Цыганщина какая-то. Да какая бы ни была – значения это не имеет; а имеет значение то, что уже семь дней эта гусеница передо мной не раздевалась. И меня не раздевала. И вообще. Конечно, нет никакой трагедии в том, что уже неделю мы не спим вместе. Что мне, спать не с кем? Есть мне с кем спать. И все же...

Я руковожу отделом торговых представителей коммерческой фирмы «Скрепка». Три года уже, как руковожу. И успешно, надо сказать, руковожу. Когда-то руины рейхстага, а не отдел принимал. А теперь – любо-дорого посмотреть: продажи в шесть раз выросли. «Скрепка» вообще тихой сапой вышла на невиданные рубежи торговли канцтоварами. В Че – разветвленная сеть магазинов. В Магнитке – филиал. И еще – представительство в Кустанае. А это уже не кот наплакал, а типа того, международное сотрудничество.

Полгода назад я пронюхал, что заместительша патрона по кадрам навострила лыжи за границу. Ну, слинять захотела. И собралась она не в наше казахстанское представительство, а в эмиграцию. Я-то думал, что все отъезды уже завершены, но оказалось, что есть этакие поздно прозревшие экземпляры. То есть до поры-до времени этим экземплярам вполне удобно жилось на реальной родине, но тут на излете нулевых годов XXI-го столетия у них закололо в подбрюшье и они спохватились: срочно отъезжаем на другую родину – историческую. Только продадим вот квартиру. Ну, и фикусы раздарим.

Я отделом три года руководил-руководил. Наруководился. Подумал: а чего бы мне на заместителя шефа по кадрам не прыгнуть? Повышение замаячило перед глазами, как стена плача перед ортодоксальным евреем. Нельзя этого шанса упускать. Пошел к главному с надеждой. А вышел от главного – без надежды. Точнее, так: вышел с надеждой, запломбированной одним нетипичным условием. Главный первым делом спросил: ты женат? Нет, ответил я. Женатый человек – это стабильный человек, сказал главный. У холостого нередко крышу сносит, сказал главный. Женись, а там видно будет, сказал главный. Вернулся я от шефа в свой офис и подумал: чем черт не шутит. И тут мне навстречу выскочила из-за стола одна сотрудница. Подпишите бумажку вот здесь, сказала. Кто она? Она – главная специалистка по Лермонтовскому району. Продажи у нее – на уровне. Дисциплина – примерная. Внешность у нее, правда, туда-сюда. Да и старше она меня лет

Янис Грантс родился в 1968 году во Владивостоке. Учился в Киевском государственном университете, Киевском училище связи, жил также в Кирове и Архангельске. Публиковался в журналах «Крещатик», «Дети Ра», «Знамя», «Урал» и др. Автор сборника стихов «Мужчина репродуктивного возраста» (Челябинск, 2007). Лауреат первого фестиваля литературы малых городов им. Виктора Толокнова (2006), региональных поэтических фестивалей «Новый Транзит» (2006), «Глубина» (2007), «Человеческий голос» (2007). Участник поэтического семинара «Северная Зона». Лауреат Первой независимой литературной премии «П» (Челябинск, март, 2009).

на семь. Так ведь дело не во внешности и не в возрасте. Дело – в любви. И я решил: полюблю ее. Полюблю всеми придатками своей души, потому что второго шанса заполучить повышение может и не выгореть. Так, читал я, раздавались профсоюзные путевки на излете СССР. Соглашайся на Подмосковье, коль предложили, а то потом Венгрию будут распределять, ты вякнешь, а тебя осадят: почему тогда на Подмосковье не согласился? Теперь поздно: не видать тебе Будапешта, как шестиместной комнаты в покосившемся профилактории под Балашихой.

Стал я за сотрудницей своей ухаживать. Чего уж греха таить – играл на публику временами. Даже чаще, чем временами. То ей коробок скрепок с розочкой подложу на рабочее место, то пылкое послание отправлю, а сам будто забуду его с монитора удалить, уйду в туалет, переминаюсь там с ноги на ногу минут пять. Возвращаюсь потом с надеждой, что весь отдел мое пылкое послание уже прочитал, и теперь это сплетня номер один.

В тот день, что мне должность замаячила, я ее в «Маршак» повел. Ресторан приличный, в центре. Не чужой мне ресторан. Переспали мы в ту же ночь. Я любовник – так себе, да и она – доска гладильная. Так и промаялись часа два. Будто бы по плюсику себе в послужной список занесли, а удовольствие – буржуйский удел. Типа того, потом об удовольствии думать будем. Так и покатилась моя жизнь по новым, можно сказать, скрепкам, то есть, рельсам. Иногда, чаще даже, чем иногда, я задумывался: интересно, до главного дошли уже слухи о моем романе с подчиненной из отдела торговых представителей? Или мне самому, что ли, к нему наведаться? Нет, таким кульбитом должность можно спугнуть ненароком. И – чтобы уж слухи до главного гарантированно дошли, я купил охапку цветов, колечко с каким-никаким бриллиантиком, перед самым перерывом на обед попросил внимания у всей своей женской бригады (десять человек), подошел к возлюбленной, вручил букет, протянул распахнутую коробочку и сказал: выходи за меня. Народ зааплодировал. Она смутилась. Но подношения приняла. А чего бы не принять? Я партия приличная. С квартирой. С должностью.

Что скажешь, спросила она после того, как нас попросили на два часа покинуть офис. Это у нас такая новая корпоративная затея: заместительша по кадрам в честь своего отъезда накрывает фуршет с «изюминкой». Так что, когда мы вернемся, на стенах будут красоваться растяжки (с тупыми надписями: я вас никогда не забуду, типа того), а под потолком зависнет сотня – не меньше – шариков. Но чтобы офис украсить, заместительше требуется время и пространство. Поэтому средь бела дня объявляется перерыв на два часа. Но домой не улизнешь – себе дороже. Вот и майся, как хочешь.

Что скажешь, спросила она.

Давай по центру погуляем, подарки себе свадебные присмотрим (тут она поежилась), а потом в «Маршаке» отужинаем, чтобы бутербродами отравленными на фуршете потом не давиться. Будем только шампанское пить. Что скажешь, это уже я ее спросил.

2.

Что скажешь, спросил он. Да мог бы и не спрашивать, а прямиком вести меня в «Маршак». Знает же, что я в этом ресторане ужинать не люблю. Да я вообще предпочитаю не ужинать. Ну а если ужинать – то подальше от «Маршака». Поэтому у моего в этом ресторане аппетит особенно хорош, а настроение – лучше некуда. Еще он заприметил (с чего бы это?), что официант мне нет-нет, да и подмигнет. Я специально с этого парня глаз не сводила. Ничего особенного. Просто болеет он. Ну, тик у него. Вся правая половина лица, уж не знаю, с какой продолжительностью и периодичностью, передергивается, будто совершает неудачную попытку спрыгнуть со своего места, как с поезда на ходу. А вторая половина так и остается недвижной. С поездом это я перемудрила что-то: просто дергается часть морды, да и все. А еще моему нравится бывать в «Маршаке», потому что воспоминания его греют. Ведь полгода назад меня отсюда на карете скорой помощи увозили, поскольку я подавилась. В жизни моей ничего подобного не случалось, а тут... Принесли стейки из аргентинской телятины. Первый же кусочек встал у меня поперек горла – и

привет. Отвезли в больницу, начали принудительную вентиляцию легких. Врач потом говорил, что чудо свершилось. Что еще день-другой – и мозг зажил бы своей жизнью, и вряд ли уже вернулся б когда-нибудь к своей владелице. В таких случаях врачи говорят друг другу «дай пять!», то есть бьют по рукам – и нате-здрасьте – отключают аппарат искусственного дыхания. Потому что крыша у больного уже съехала, хоть он и пребывает в бессознательном состоянии и ничего такого не подозревает. Так вот: крыша съехала и даже убежала уже далеко – не догнать, так что и возиться смысла нет.

Мы вышли из офиса на девятом этаже. Никто нам вслед даже не обернулся. Даже бровью не повел. Все и так знают, что у нас любовь. Похоже, у меня одной на этот счет сомнения остались. Нет, сомнений-то нет: не люблю я его – это ясно. Но вот что делать дальше – не знаю. Тут приснилось мне, что стою я, старуха старухой, у дороги, по которой всякие машины мчат на огромной скорости. Стою и думаю себе: одна я одинешенька, и некому меня на ту сторону перевести. Всего-то-навсего 25 шагов, а для меня будто бездна. Ну, проснулась я и решила, что сон этот предостерегает меня. Только вот от чего? То ли выйти за него советует, то ли наоборот – предлагает его отвадить. Ну, я и решила: проявлю характер, покочевряжусь с недельку, побуду холодной-неприступной. От постели опять же дам жениху своему от ворот-поворот. Хотя постелью это назвать затруднительно – мучение одно. Словом, дам понять ему, что дело идет к разрыву. Ну, и посмотрю, как он себя поведет. Задергается как бабочка на иголке или смирится как муха с паутиной. Эксперимент этот мы, похоже, провалили. Потому что он ни на чем таком не настаивает. И переехал опять в свою однокомнатную на Грибоедова, и вечерами телефон отключает.

Страсти в моей жизни, не в пример нынешней вялотекущей байде, случались, конечно. Только вот давно это было. Одну особенно помню. Потому что все по-настоящему искрило. Обжигало как бульон кипящий. Врачевало как барсучий жир. Мне было-то пятнадцать с небольшим. Я позвала тогда Юнгу на оттаявшее Цветаевское озеро. Думала: этим мартовским днем все и решится. Все и решилось, только не так, как я загадала. Стоило мне сказать Юнге, что я жду ребенка, как он заиграл желваками, а в его глазах взорвались кровяные сосуды, отчего белки полиняли до грязно-желтого цвета. Нет, сказал он. Делай, что хочешь, сказал он. Ты мне нужна, а ребенок твой – не нужен, сказал он. И тут зашумело что-то метрах в пятидесяти от берега. Не успела я ничего понять, а Юнга уже метался по песку, издавая громогласные гортанные звуки, какими, наверное, славятся колдуны на его родине. Ты что, ничего не заметила, спросил он потом. Там же люди тонули, сказал он потом. Эх ты, сказал он потом. Юнга, я сама как утопленница, сказала я. Юнга, что мне делать, спросила я. Что хочешь, сказал он.

Где ты теперь, Юнга? После окончания мединститута ты уехал на свой неспокойный континент, откуда написал два письма и позвонил два раза. И – пропал.

Мы вышли из лифта, обогнули будку охраны. На улице было по-весеннему сыро. А на сердце было не по-весеннему гнусно. Мы двинулись по Герцена в сторону торговых рядов и тут... И тут я увидела ее.

3.

И тут она посмотрела на меня. Ну, сама-то она слепошарая – вечно под ноги смотрит. Это, бабушка говорила, у нее еще с детства: тогда ей кто-то нашептал, что наступать на трещины в асфальте – дурная примета. Вот она и не наступала. Так вот, она-то проплыла бы мимо, как проплывает глубоководная пучеглазая рыбина мимо обломков пиратского корвета, но он, ухажер этот ее... Это он стал размахивать граблями, как боец кунг-фу перед атомным взрывом. Ну и жестикуляция! Ужас! Я бы с таким джеки чаном и шага не ступила. Стыдно же! Что значили все эти его пассы руками? А то и значили: ты только посмотри, кто идет навстречу...; ты что, не видишь, она же...; вот это да – в центре Че – и такое! Но она своего спутника быстро урезонила. Поймала его

руки прямо в воздухе, будто притянула за ниточку извилистого воздушного змея. Мол, неудобно, нетактично, нетолерантно... Мы разминулись.

Я подумала, что меня она тоже трещиной в асфальте считает. Ну, не трещиной, а ее последствием.

Дело в том, что она жила себе со своей мамой в самом захолустном Тургеневском районе города Че, на окраине, в частном секторе, где даже собаки особой породы – голова с ведро, широченная бойцовая грудь, короткие пружинистые лягушачьи лапы. Как в глуши этих болот она смогла откопать негра из Мозамбика? Настоящего: ноздри – в треть рыла, губы – в треть рыла, и глаза – огромные, злые, исчерканные красными струйками сосудов. А вот как: этот тип подрулил к стайке старшеклассниц на площади Гумилева и на ломаном мозамбикском спросил то ли про туалет, то ли про почтамт. Ну, девушки в жизни так близко ни одной гориллы еще не видели – напугались, а эта все расписала честь по чести: туалет – вот под это дерево, а про почтамт забудь – со мной погуляешь. Ей тогда пятнадцать было, как мне сейчас. А черный этот, дитя солнца, на третьем курсе нашего мединститута учился, пообтерся тут уже маленько, сносно лопотал по-русски. Их на весь Че, бабушка говорила, всего-навсего четверо было. То есть шансов натолкнуться на черного в миллионном городе – один случай на двести пятьдесят тысяч встречных. А чтоб история с продолжением вышла – наверное, один на полмиллиона. Получается, что она этот билет и вытянула. Билет оказался родом из Мозамбика, представился сынком высокопоставленных революционеров, борющихся за свободу и независимость Африканского континента.

Все сошлось: она как раз подыскивала кандидатуру для того, чтобы влюбиться, но не так, как частенько уже случалось, а по-настоящему – до конца. Бабушка (ее мама) как раз отхватила путевку в местный санаторий. Отказываться было нельзя (повторно не предложат), да никто и не собирался. Она думала, что поиски достойного варианта займут чуть ли не все две недели ее царствования над помидорными грядками, покосившимся забором и уличным туалетом, но тут произошла эта судьбоносная встреча на площади Гумилева.

Юнга (какое прекрасное имя, а? – легкопроизносимое, совершенно русское: Максимка, паруса, чайки, простор...) обещался подъехать на остановку Чехова к одиннадцати утра. И подъехал. Сказал, что ненадолго, поскольку в планах изучение срединного разреза мозга человека. Тема – мрак. Изучим во всех деталях, клянусь, сказала она. Взяла Юнгу под руку и повела мимо собак с головами-ведрами. Собаки притихли. Негр засомневался. Да, но мне край как надо изучить ромбовидный мозг, сказал он. Клянусь, сказала она. А концевой мозг я успею изучить до завтра, спросил Юнга, начиная млеть. Клянусь-клянусь, сказала она. А обонятельный мозг, спросил Юнга, окончательно сомлев, и его ладони вспотели. Клянусь-клянусь-клянусь, сказала она.

Когда дело запахло мной, Юнга наотрез отказался жить в бабушкином доме. Окраина пугала его бандами фашистов, непроходимыми топями и головами-ведрами. Его жена (бог ты мой – девятиклассница на сносях!) какое-то время уговаривала Юнгу одуматься, показывая килограммовые помидоры и кулаки. Довод не сработал. Молодожены сняли квартиру где-то у памятника Добролюбову.

Я стала отравлять жизнь влюбленным задолго до своего рождения. Меня никто не хотел. От меня отмахивались. Нет-нет-нет, мать не оставила малютку в роддоме, она привезла меня в бабушкино «имение» на окраине Че, кормила молоком. Бегала к Юнге. Потом появилась бутылочка со смесью, и это поменяло ситуацию в корне. Искусственная пища позволила мамаше жить с Юнгой у Добролюбова, а к нам с бабушкой – лишь совершать частые набеги. На первых порах – очень частые.

Что уж там творилось в ее душе – мне неведомо. Только ее материнский инстинкт быстрыми темпами будто зарастал непролазными лианами с черного континента и покрывался обыкновенной уральской плесенью. Она приходила все реже и реже, пока совсем не исчезла с нашего горизонта. Что до Юнги – то его отцовский инстинкт и не просыпался.

Так что бабушка – и есть моя мама. А я – при всем сходстве с отцом – челябинка, привыкшая к

морозам, огурцам и удобствам на улице. А женщина эта – пусть она счастлива будет. Пусть жизнь свою устроит. Пусть за меня не беспокоится. Пусть за себя печется. Должно же и ей когда-то повезти. Тридцать один год, как-никак.

Вот я и пришла. Верхний замок на двух оборотах. Нижний – на одном против часовой. Готово. Что остается? Остается ждать звонка в дверь. Ну, кофе можно себе сварганить.

В дверь позвонили.

4.

Позвонить-то я позвонил, но очко – оно же не железное. Очко запаниковало – жим-жим. Сердце заколотило. С правой, правда, стороны. Подмышки вспотели. Так и стоял под дверью: жим-жим, тук-тук, жим-жим, тук-тук.

Дело, казалось, верное. Никакой подставы не предвиделось, а одно ж. А ну как эти шакалы из собственной безопасности с той стороны притаились – схватят, скрутят. Упекут. Вот тебе и весь хуй до копейки. Объясняй потом этим мудакам, что пришел в квартиру с плановой проверкой. Все честь по чести: уполномоченный делом занят. Обходит вверенный ему участок. Складно-то оно складно, да эти псы бешеные не только сошку всякую, они и генералов глотают – не давятся. Оборотней наловили целый острог. Теперь их смолой кипящей поливают и заставляют хором петь «наша служба и опасна, и трудна».

Хватит бредить! Я ж все на сто раз проверил-изучил. Не может быть никакой подставы. И вообще – я в Чечню дважды командированный, у меня благодарность от самого министра, мне «капитана» вот-вот присвоят досрочно. Дело должно выгореть. Стопудово. Я ж сам в этот хлев хотел, вот и заполучил на блюдечке с голубой каемочкой.

Как дело было? А вот как: у меня на участке сауна работает. До поры-до времени там все пристойно было. Но тут сигнал поступил: нарисовалась некая Мадлен, пять-шесть девочек сколотила в профсоюз. Держит притон, короче. Товар свежий, юный, тугой, как лук-порей на китайской грядке под Еманжелинском. Я подумал: нннн-е-е-е-е-тттт, родная, у меня звание не за горами, я тут тебе в шелкопряды не записывался, так что мягко стелить не буду. Накрою, подумал, банду, вот тебе и весь хуй до копейки.

Ага. Накрыл. Стоял перед профсоюзом в предбаннике (или как там его?) и чувствовал только, как у меня кадык гулял: от нижней челюсти до ключицы и обратно. Сглатывал-сглатывал, а слюна вязкая, как гудрон, горькая, как хиросима, прилипла к небу, за гланды зажмурилась – и ни в какую. Снял фуражку. Кабы наркоша, пьянчуга или бандит какой – я б его одной левой уделал. А эти: одна другой приталенней, будто только-только с китайской грядки, из-под Еманжелинска с первой лошадью приплывши. Подмышки вспотели. Сердце тук-тук. Кадык туда-сюда.

А тут и Мадлен из-за бамбуковой занавески вынырнула. Прямо-таки кино какое-то про ментов, ей-богу. Мадлен меня пальчиком поманила, я и пошел. Привела в свой кабинетик. Сказала: знаю-знаю, зачем пожаловал.

Замечу, что это были первые слова, за всю эту сцену сказанные. До этого ни одна девочка не ойкнула, не пискнула. Да и я молчал.

И тут меня с катушек будто сорвало. Я вообще-то по жизни не крикун, не грубиян, Маркеса там читаю, БГ слушаю. Но тут меня сорвало, говорю же. Как давай на сутенершу орать благим матом: все кости ей перемыл, весь уголовный кодекс перецитировал. Словом, весь хуй на копейки перекрошил. А потом посмотрел на Мадлен и вижу: не она это вовсе, а какая-то старуха сидит. Лицо – морщина на морщине. Кажется, палец сунь между этими морщинами – аж по локоть рука уйдет. Ну, я головой замотал, как осёл на выданье. А потом опять на старуху взгляд бросил. А она – никакая не старуха. Она – Мадлен. Как сидела на своем стуле, так и сидит. Чертовщина какая-то.

Попросил воды.

Налила воды. И к своей вокальной партии приступила, потому что я свою арию уже спел, запыхался, как кочегар на «Титанике». Она сказала: все начистоту выложу, даже – сверх того. А как тебе быть – потом решишь. Не торопись только. Так вот, это только макушка айсберга. Есть товар и сочнее, и слаще. Криминалом, правда, попахивает, но кого это останавливало? Я же видела, как глазки твои блестели, что у той свиньи, которая на постере в «Маршаке» красуется. Так вот, есть эксклюзив. Она, конечно, малолетка, и не каждому о ней известно, и не тут она принимает, а в одном съемном местечке. Предлагаю сделку: ты ее пользуешь по согласованному со мной графику, но сауна за мной остается. Вот тебе и весь хуй до копейки!

Ну, я со стула вскочил. Мало того, что предлагает загреметь мне от семи до десяти, так еще и присказку мою присвоила. Хотел уже на эту гниду наручники нацепить, но... Увидел: старушенция на меня пялится ровно с того места, где только что сутенерша ерзала.

Сядь, сказала.

Так что, договорились, спросила.

Увидишь ее, закачаешься, сказала.

Позвонить-то я позвонил, только вот шагов с той стороны не слыхать. Потом дверь бесшумно приоткрылась – и тишина. Ловушка, подумал, надо деру давать, а сам шагнул в коридор и дверь за собой захлопнул.

Иди сюда, донеслось откуда-то из глубины квартиры. Тоненький такой голосок. Нежный, что ли. Подошел. Кровать белоснежными простынями застелена. А в простынях – негритянка!

Я шторы распахнул, свет включил и у стенки, противоположной от кровати, застыл.

Что, не ожидал, спросила.

И тут... я... расплакался. Что на меня нашло, не знаю. Расплакался – и все тут. Бросился к этой малолетке с черного континента, обнял ее. А она прижала мою голову к своей груди, закачалась и вдруг запела. Колыбельную, кажется.

Баю-бай
А ты знаешь
Плывут в океане
Три огромных огромных огромных кита
Сто веков они вместе
Потерялись в дороге
И забыли зачем родились

Баю-бай
А ты знаешь
На спинах китовых
Три усталых усталых усталых слона
Они грустно мечтают
О бананах и сливах
А на воду не могут смотреть

Мы посмотрели друг другу в глаза. Она вытерла мои слезы, свои смахнула и сказала: может, кофе выпьем – я как раз собиралась.

За чашкой кофе смуглянка-африканка призналась, что только что свою мать в городе встретила, что разминулись как чужие, даже не поздоровались. И ведь весело она об этом сказала, будто не горе это вовсе никакое. Ну, и я почему-то перед ней душу наизнанку вывернул: год как женился. Встретил будущую половину свою в «Маршаке». Мы там круглую дату у сослуживца отмечали. А я на одну официантку все заглядывался. Ну, познакомились. Поженились быстро, без

раскачки, что называется. Прошлое у нее темное, спору нет. Роман был продолжительный с поваром из того же ресторана. Пять лет они друг другу мозги полоскали, жилы тянули. Была, конечно, сначала подлая мыслишка, что замужеством моя официантка хочет поварешке своему отомстить. Но потом я эту подлую мыслишку в задний угол задвинул. Так ей и сказал: кто прошлое помянет... Сейчас вот в роддом еду. Ага, два дня как пацана мне родила. Защитника.

Вышел из квартиры. Хватил полной грудью кислого подъездного воздуха, как байкальского озона. Хорошо все же, что так обошлось: без подставы, без разврата.

Нырнул в свою «ладу-калину». Тоже, кстати, не хухры-мухры, а премия от областного УВД, как лучшему участковому уполномоченному. Надавил на газ и поехал себе на Гончарова, в роддом №9. Вышел из машины и увидел: стоит под окнами палаты поварешка, как приклеенный, и авоськой с апельсинами размахивает. Вот тебе и весь х... Да что уж там...

5.

Я жонглировал апельсинами под окнами роддома. Нечасто такое бывает: кажется, что счастлив безмерно, что ни одной занозы в заднице, что ни одного ребра сломанного, что даже по счетам за квартиру уплачено, что в холодильнике свежий карп лежит и светлый «туборг» меня дожидается. Меня любят. Я люблю. Чего не хватает?

Вот его-то и не хватало. Подкрался со спины, как бандерлоги к Маугли. Хвать – один апельсин перехватил в самом зените. Рослый же. Крепкий, тупой. Мент, одним словом. Апельсины попадали на асфальт. Я их стал собирать и вдруг заметил, что асфальт весь в трещинках. Весь в прерывистых линиях, как ладонь моя.

Все, счастье улетучилось. Да и за квартиру не платил уже два месяца. Да и не водится в моем холодильнике никакого карпа. Там блинчики лежал покупные с тошнотворной начинкой.

А этот показную вежливость проявил. Можно, сказал, постою с вами рядышком. Потом голову запрокинул. Навел окуляры на третий этаж, на второе окно справа и давай сюсюкать. Сю-сю. Сю-сю. Тьфу, противно. Отдал я ему апельсины. Своим ручкой помахал – и привет. Перед этим, конечно, сыграл хорошего мальчика: сказал, что я здесь от имени и по поручению трудового коллектива, в котором она без малого три года и т.д.

Сел в маршрутку. Поехал. Сначала – бульвар Гоголя. Потом – улица Толстого. Сколько лет в Че живу, а так и не знаю – в честь какого из Толстых названа эта улица? Подумал: а что случилось? А ничего не случилось. Козел этот – помеха временная. Не будет она жить с ним, не тот у него размах крыльев. Главное, что есть у меня теперь сын. Мой. И только мой. Ну, и ее – конечно. Она мне сыночка через окно на третьем показывала. Конечно, видимость далеко не отменная: всякие солнечные блики гуляют по стеклу, да и расстояние приличное. Но я все, что хотел, увидел: нос мой, глаза мои. Уши, хоть и спрятаны под покрывальцем, а я палец на отсечение дам, что уши – тоже мои, слегка оттопыренные. Росту в нем – децл, весу в нем – всего-ничего, а ведь человек все-таки. Мой человек.

Я ей пытался показать на пальцах все эти нахлынувшие чувства. Затронул свой нос, а потом на сына своего пальцем потыкал. И с глазами так же. Она мне после этой виртуозной пантомимы смс-ку отправила: «Да не похож он на тебя! Он пока вообще ни на кого не похож. Разве что на обезьяну». Пошутила? Ну да, пошутила. Значит, настроение у нее хорошее. Под стать моему. Это потом только дядя Степа на премиальной машине подъехал и все испоганил.

На аллее Достоевского в маршрутку подсели папаша и его сынишка, лет пяти. Ребенок только и твердил: купи-купи. А папаша только и отвечал: дома разберемся. И тут меня будто шандарахнуло током. Нет ведь у меня, получается, никакого сына. Его этот мент гадливый заграбастает, присвоит и будет ему полнокровным отцом. А я, что же, буду ошиваться сбоку-припеку, будто и в помине меня не существует?

Мне она клялась всеми святыми, что мой ребенок. И еще добавила, что только после замужества и поняла, какое я место занимаю в ее жизни. И сказала еще, что надо потерпеть, что все вернем вспять, но только не сейчас. После. Сказала: у моего опять командировка на Северный Кавказ должна состояться вот-вот. Давай отложим все объяснения на после.

На после так на после. Только уж слишком это погано: воровато прибегать под окна роддома. А потом что же? Буду за своим мальчиком из-за угла подсматривать? Как в голливудских мелодрамах: сопровождать по другой стороне улицы в школу и обратно в надежде, что ребенок меня не заметит, и с отчаянной верой, что не только заметит, но и признает?

Мы ж пять лет были вместе. Вместе строили планы на будущее. Вместе занялись разведением персидских котов. Вместе прогорели. Вместе сидели на телефонах в конторе, промышляющей чудо-пылесосами. Мы даже в Египте вместе отдыхали. Потом пристроились в «Маршак». Я – поваром. Она – официанткой.

И все бы ничего, но соврал я ей. Сказал, что накануне напился с корешком моим извечным на его дне рождения, ну, там и остался. И дружбан мой эту легенду подтвердил, как на духу. Хотя не праздновали мы его день рождения, мы завалили в одну сауну. Развлекались с девушками. Как там дружбан – не знаю, у него вообще сложные взаимоотношения с миром. А я вот отдался одной сладенькой прямо на кафеле перед бассейном.

Но моя что-то заподозрила. Сказала: не верю, и все тут. Ну, я тоже не пальцем деланный – полез в бутылку. Она привела меня в подсобку, хрястнула по стеллажу с тарелками и сказала: видел в зале, прямо под фото, где Барто с Кассилем шепчутся, менты празднуют праздник? Один из них мне очень даже приглянулся. И пошел ты в жопу, козел.

Ну, подумал я, перебесится. Занял выжидательную позицию. Казалось, что надолго ее не хватит. Получается: не знал я ее совсем, потому что через два месяца они с тем ментом сыграли свадьбу. Здесь же, в «Маршаке». Я заявления писал на отпуск, пытался закосить под больного бубонной чумой, а все равно пришлось ту смену отрабатывать. Что со мной творилось – лучше не вспоминать. Хотелось снести себе череп. А потом ей. А потом женишку лысому ее. А потом и Кассилю с Барто – за компанию.

Получилось, что свое счастье своей же ложью и похоронил. Своими руками закопал. Где-то в середине торжества она меня хвать – и в подсобку. Сказала: клянись, что ничего не было, и ты готов к отношениям с чистого листа. Я поклялся. Без тени смущения. Будто забрезжило впереди что-то. С телками своими еманжелинскими с чистого листа начинай, а с меня – достаточно, только и сказала она, и ушла под перекрестные взгляды хрюшек, лошадок и Чуковского.

Узнала ведь откуда-то. Может, корешок мой извечный донес? Не, это нереально. Мы ж с раннего пацанского возраста вместе. С первого класса. Он же даже однажды жизнь мне спас. И еще: вот эта сцена в подсобке на импровизацию не похожа. Специально, получается, в чулан меня заманила, дала надежду, чтоб ранить потом больнее. Стерва. Любимая стерва.

Я отпрашивался всего на час, а прогулял уже добрых два. Вышел из маршрутки, а ноги в «Маршак» не идут. Как же так: за два часа человек успевает побывать и безоглядно счастливым, и безутешно несчастным. Да. Безутешно. Да. Несчастен. Несчастнее меня нет. Или есть? Ты, что ли, лохматенция, несчастнее меня? Ну, и голова у тебя. Ведро прямо-таки, а не голова (дай вспомнить: оцинкованное, 101 рубль 50 копеек, магазин «Самоделкин»). Ты че на меня уставилась? Че хвостом виляешь? Я тебе что – стейк из аргентинской телятины? Или котлета по-киевски?

6.

Сказанул тоже: котлета по-киевски. Да будь ты котлетой, я б тебя схарчила мгновенно. То-то и оно, что ты человек – животное непредсказуемое и опасное. Но пахнешь ты исключительно балдежно: сырым мясом. И кровью. Мясом и кровью. Гляди-ка, печенюшку мне протянул. Ты брось ее на землю. Я из рук не возьму, потому как не знаю, что там у тебя в подкорке замыслено.

Вот. Спасибо. Ну, пошла я.

Поковыляла, а сама все об этом пареньке думаю. Благородный. Лет двадцати пяти. То есть, если перевести на собачий возраст, то года четыре ему. Пора расцвета. Молодости. Первых серьезных отношений. Не, так-то у нас кобели уже с двух лет хорохорятся. Но какой прок от подростка? Гонору много, а итог – с куриную косточку. Порча генофонда. Вред породе.

А парень, видно, дозревший. Серьезный. Работящий. Только вот – страдает он. А когда еще страдать, как не в молодости? Страдать в молодости даже полезно. Мне вот двенадцать. Будем считать, что по человеческим меркам – что-то около семидесяти пяти. Мне бы у печки греться, а я бомжихой стала на старости лет. Страдаю. Но кому какой толк от моих страданий? В молодости, по себе знаю, не так. В молодости настрадаешься вдоволь, до изжоги, а потом просыпаешься в одно прекрасное утро и думаешь: куриц неделю не гоняла, соседку неделю не облаивала, кобелей уличных неделю не соблазняла – куда такое годится? И начинаешь жить с удвоенным ускорением. Ну, обновленным выходишь из заварухи, как люди говорят. Так что не дрейфь, парень. Пострадаешь-пострадаешь, да и плюнешь на страдания. Возьмешь (аргентинского, говоришь?) мяса кусок посочнее, сожрешь его – уже полдела сделано.

А я... А что я... Ушла я от этой бабки. Имя ей – геббельс в юбке. Собаки – это все-таки не люди. Так что хоть мне и семьдесят пять по человечьим меркам, а я решила, что смогу последний раз в жизни щеночков родить. Папашу для них выбрала – что надо. Гроза всего Тургеневского района. Чемпион частного сектора по лаю и укусам.

Родила шестерых пушистеньких. И не было еще у меня таких желанных, таких выстраданных, а потому особливо любимых, детишек. Я им колыбельную даже пела. Это уж я у своей хозяйки поганой научилась: та, как в огороде морковные грядки пропалывает, всегда эту песенку себе под нос мурлычет.

Баю-бай
А ты знаешь
Слоны эти держат
Очень плоское блюдо с названьем земля
Тут случаются весны
Тут случаются зимы
Тут случился и ты
Мой сынок

Баю-бай
А ты знаешь
Что прямо над блюдом
Поселилась давно-предавно темнота
Темнота поселилась однажды над блюдом
Просто так поселилась
И живет
Хоть бы что

Хозяйка моя, настоящая гестаповка, наварила мне кастрюлю ароматнейшей бурды. И пока я ее уплетала, бабка закидала детишек моих в мешок – и айда на речку.

И горько мне – аж мочи нет, и обидно. И главное – не пойму я эту эсэсовку. При ней внучка живет: черная, кучерявая. Ноздристая. Но – красивая по-своему, этого уж не отнимешь. По законам третьего рейха эта фашистка давно должна была на негритоску мешок накинуть и в речку сбросить. Поскольку негры – те же евреи, только чернее и темпераментнее. Так нет – она эту, сажей измазанную, встречает, провожает, целует. На моих детях злость свою выветрила, паскуда.

А когда увидела, что я места себе не нахожу, давай изгаляться. Ну, надо же, сказала. Оскорбленная невинность, сказала. Пора подумать о вечном, а ты все на кобелей засматриваешься, сказала. Ушла я от нее. Пусть закусают меня псы бешеные. Пусть изловят собачники на мыло – а не вернусь к этой гадине. Ни за что не вернусь.

М-м-м...Что за запахи? Что за чарующие запахи? Мусорка. Клондайк, а не мусорка. Собачий нюх не проведешь. Это задворки ресторана какого-то. Мусорки у столовок и всяких там забегаловок по-другому пахнут. Ой, а этот не помешает мне, случаем? Стоит на крыльце метрах в пяти от моего клондайка. В белой рубашечке. В бабочке. В бардовой жилеточке. Курит. Не буйный, вроде. Хотя этих людей с первого взгляда раскусить невозможно. Не-е-е, кажется, я ему по барабану. Не до меня ему. Стоит. Кольца пускает. Мусорка его нисколечко не занимает. И я – тоже.

7.

Собака, ржавая и лохматая, подошла к мусорному контейнеру. Присела. Оттолкнулась. И приземлилась прямо на мешки с отходами. Ловко это у нее вышло. Как в цирке. Может, она и апельсинами умеет жонглировать?

Вот собака: ей плевать на меня. Ей только отбросы подавай. А мне на эту собаку очень даже не наплевать. Мне она тут представляется не случайной гостьей. Нет, конечно, меня не назовешь помешанным на всяких там совпадениях, гороскопах, предсказаниях, гаданиях, пророчествах. Но цветные пентаграммы и тетки с колокольчиками в носу хотя бы пытаются постичь, типа того, закономерности мира и судеб. Мне кажется: бестолковое движение всего живого, да и неживого – тоже, указывает лишь на то, что люди вычеркнуты из числа посвященных. Посвященных, типа того, в тайны бытия. Поэтому – надо систематизировать хаос, сформулировать его, типа того, в теорему и действовать по алгоритму решения. Проще некуда. Все, что другие считают моими предрассудками, является попыткой осмысления, попыткой доказать и запатентовать теорему мира. Не хило, да? Только что-то получается у меня не очень. Сигналы, типа того, подсказки преследуют меня по пятам. Они предупреждают. Но о чем? Отводят беду. Но какую? Наделяют меня знанием. Так? Уверен, что так. Только, говорю же, ни одной закономерности я еще не разгадал.

О чем это я? А вот о чем: я работаю по графику «четыре через два». Сегодня у меня четвертый трудовой день. Смена длится десять часов. Один раз в два часа я выхожу на крыльцо перекурить. Получается, что за три предыдущих дня я сдымил на этом самом месте 15 сигарет и еще 3 – сегодня. Все это время задворки нашего заведения были пустынны и скучны. И – надо же – на 19-й сигарете появляется собака с чуднОй головой и смотрит, как я пускаю дым изо рта. Почему она появилась на 19-й сигарете, почему, скажем, не на 8-й? Что этим самым ее появлением хотят мне сказать? И кто это что хочет сказать? Мне подкинули новый ребус, хотя я еще не разгадал вчерашний. Я близок к помешательству. Ну, помешательство-не помешательство, а паника уже притаилась на расстоянии прямой видимости, возможно, за «собачим контейнером», только ойкни. Вчера... Вчера дома я съел тарелку борща, а когда чистил чеснокодавку (изделие это называется «пресс для чеснока», но «пресс» – какое-то коммунистическое словцо со сталинским душком, его я тут же отмел), то посчитал дырки, благодаря которым твердый зубчик превращается в расчудесную кашицу-жижицу. Дырок оказалось 37! И расположены они на «подошве» вот так:

o o o
o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o
o o o

37! Но ведь четность – это почти синоним четкости, упорядоченности и спокойствия. Все имеющиеся во вселенной числа, воплощенные в людях, машинах, камнях – стремятся к четности: человек ищет человека; сборщики пьют спирт в честь стотысячного грузовика, сошедшего с конвейера; каменщик заказывает пятьсот кирпичей, возводя фундамент... И только чеснокодавке нипочем эти четные завихрения! 37 дырок – и все тут! Сделав это открытие, я почувствовал, что спекся. Так и пролежал с температурой всю ночь. Глотал аспирин. Прикладывал ко лбу компрессы. Умирал, словом.

Если пересекаешь Лермонтова на пути к работе – ширина улицы (от бордюра до бордюра) составляет 25 шагов. На обратной дороге – 24. Почему так? Если утром приблудная кошка с отмороженным ухом уже заняла свой пост у мясного ларька на Руставелевском рынке, то рабочий день будет сносным, если нет – то паршивым. Почему так? Если лето, то весь асфальт изуродован трещинами, которые, стоит наступить на них, разверзнутся и проглотят тебя, как букашку. Если осень, то вся улица Тютчева – как галечная коса на северном побережье: узенькая, прерывистая, в бензиновых пятнах луж. Если зима, то за всю дорогу не насчитаешь и десяти девушек в белых вязаных шапочках. Если весна – то на Островского промышляют десятилетние попрошайки курева. Почему на Островского? Почему десятилетние? Почему они просят сигареты, а не барбариски? Я в сложных отношениях с действительностью. Иногда думается, что намыленная петля – это лучшее из подручных средств. Но как бы не так! Никогда! Этого не произойдет никогда, потому что там, не исключено, все эти связи не только не пропадут, но и пристегнут к себе новые – еще более путанные, коварные и необъяснимые.

Была ранняя весна. Мы с извечным моим другом учились во втором классе и решили устроить праздник непослушания. После уроков автобус 23-го маршрута довез нас до Цветаевского озера. Ничего героического в этом поступке не было: озеро находится в черте города, так что назвать нас, типа того, беглецами было нельзя. Но то, что родители не знали о нашей дерзости, сплотило нас еще больше. Заговорщики, мы были взволнованы и неимоверно счастливы. Мой пульс тогда, наверное, зашкаливал за все мыслимые пределы, как у биатлониста, подходящего к огневому рубежу. Мы гордились и этим поступком, и друг другом, и каждый – собой. Только оттаявшее к середине марта Цветаевское озеро могло разрешить наш давнишний спор: у кого будет больше «блинчиков»? Любой землянин расскажет вам правила игры в «блинчики». Надо замахнуться и пустить «снаряд» как бы по касательной к воде, чтобы она, словно диванная пружина, выпихивала камешек на поверхность еще и еще раз. Мы договорились о трех попытках. О правилах подсчета «плюхов». О порядке суммирования результатов. Мы не предусмотрели никакого поощрения победителю баталии, кроме почета и уважухи. А эти почет и уважуха, уж верно, продлятся до тех пор, пока наш побег на озеро не сотрется из памяти. Ну, типа того.

Этот побег на озеро никогда не сотрется из моей памяти. Но не из-за победы в «блинчики». Мы не успели совершить ни одной соревновательной попытки. Мы успели увидеть высокое бледное небо в сероватых облаках, ржавые спицы колокольчиков, лишившихся своих лепестков до нового купального сезона, рыбаков, напоминающих далекими размытыми очертаниями хребты морских чудищ. Но все это будто покрылось пеленой, как только мы увидели плот. В затоне (затон это или нет – мне все равно; для меня эта лужа, отделенная от остального озера двумя метрами пляжа, была и останется затоном) покачивался плот, сколоченный из нескольких досок и обвешанный по бокам пластмассовыми бутылками. Мы переглянулись и, не сговариваясь, ухватились за «борта», чтобы перенести это чудо на большую воду. Дело оставалось за веслами. Я помню неуклюжие рогатины, которые помогли нам, типа того, оттолкнуться от берега, но в «открытом море» оказались бесполезным грузом.

Метрах в пятидесяти от берега нас качнуло: то ли это была остаточная волна от рыбацкой лодки, то ли мы в порыве радости забыли об осторожности и нарушили центровку своего ко-

рабля... Мой друг споткнулся о поперечную доску, с нелепой усмешкой побалансировал руками, как юный канатоходец из шапито, и бултыхнулся за борт. На какое-то время он вообще скрылся в толще воды, но вскоре всплыл, отчаянно заработал руками, и круги, которые шли от его барахтающегося тела, отгоняли плот все дальше от него. Я сидел. Я молчал. Было в его борьбе с водой что-то гипнотизирующее. Это что-то мешало мне заорать, призывая на помощь. Это что-то мешало мне подгрести к нему, используя свои ладони как лопасти весел.

Друг сопротивлялся воде, но силы покидали его. Движения стали более плавными и, типа того, размашистыми, как у балерины, танцующей умирающего лебедя. Мой друг тонул на моих глазах. Для крика ему явно не хватало дыхания. Но мне-то ничего не мешало. Нет, конечно же, нет – я не желал ему смерти. Теперь мне кажется: я боялся, что, подплыви я к нему, он, цепляясь за крайнюю доску, подтягиваясь на руках, опрокинет наш неустойчивый корабль. Я боялся утонуть вместо него – не в этом ли причина моего оцепенения? Я согласился, что один из нас умрет, но оставил за собой право на жизнь – не в этом ли причина моей трусости?

Мой друг не утонул. Кто-то (не случайный, конечно – наоборот – ниспосланный спаситель) стал метаться по берегу, зычно кричать и прыгать, как пляжный волейболист, ставящий блок. Эти крики разбудили и меня. Я наконец-то встал и заорал в серые облака: а-а-а-а-а-а!!! Я орал не «помогите!», а именно «а-а-а-а-а-а!!!», как будто все худшее уже свершилось, а я лишь проклинаю небеса за содеянное.

Рыбаки побросали свои крючки и снасти и всей эскадрой подплыли к потерпевшему крушение экипажу. Нас перевезли на противоположный берег – там был домик спасателей без спасателей, но со скучающей медсестрой. Ну, типа того.

С тех пор мой друг зовет меня спасителем. Иногда – спасателем. И как только вспоминается наш поход на Цветаевское озеро, его глаза блестят от повышенной влажности роговиц, а мне хочется провалиться под землю, ну, или утонуть. Друг помнит, как упал в воду. Он помнит, как его втащили в рыбацкую лодку. Но он знать не знает, что я, типа того, пожертвовал им ради себя. Цветаевское озеро – это моя первая тайна.

Черт, опять этот тик... С пяти лет я – посмешище для всего человечества, потому что правая часть моего лица живет какой-то отдельной жизнью, как мозг человека, находящегося в коме. Когда мне было пять, умер мой волнистый попугайчик Гоша. Ну, типа того, беспричинно. Это потом, спустя много лет, мама сказала, что я же и отправил Гошу на тот свет, поскольку засыпал ему в кормушку недельный рацион конопли. Вы теряли в пять лет самое дорогое, что есть у вас на земле? Я вот потерял и поэтому стал заикаться, а правая половина моего лица пустилась в самостоятельное плавание, периодически содрогаясь, как висельник на рее. Все эти изменения произошли со мной на нервной, типа того, почве. И если с заиканием батальон логопедов как-то управился, то тик не победили ни бригада невропатологов, ни полк экстрасенсов.

Я докурил свою 19-ую сигарету и зашел вовнутрь. Повар, друг мой извечный, уже вернулся и рубил салаты. Ловко же это у него выходило. Грациозно. Он был, типа того, как собака, запрыгивающая в контейнер. Пошутил я. А вот ему, другу моему, не до шуток: сын у него родился. Я единственный, кто об этом знает. Ну, и он еще. Ну, и мать ребенка, естественно.

Шеф-повар, он итальяшка, прыгает вокруг моего кореша, по циферблату наручному стучит. Типа того, пора наступает горячая, мол, руби, сынок, руби. И друг мой рубит, только сегодня это выходит у него как-то по-особенному. Со злостью, типа того. Со злостью или нет, а кулинария – это его призвание, что и говорить.

А вот и они: дама Я-Подавилась-Аргентинским-Стейком и ее кавалер. Сейчас я отнесу им меню. Я сделаю это на виду у котов и свиней, козлов и коз, Робина-Бобина, Шалтая-Болтая и прочих придурковатых героев детского писателя. Вся эта живность будет провожать меня маленькими, круглыми, разноцветными глазками со своих постеров, развешанных по стенам заведения. А потом я отнесу аргентинской паре наше фирменное блюдо – салат «Маршак». Я сделаю это

на глазах у Хармса, Михалкова, Заходера, висящих в черно-белом изображении на внутренних колоннах ресторана, на глазах у бронзового Шекспира, стоящего, типа того, у двери туалета.

Я поставлю тарелку перед ней. Я поставлю тарелку перед ним. Он – это моя вторая тайна.

8.

Он поставил передо мной фирменный салат. Развернулся. Двинулся к стойке бара. Один. Два. Я не вижу, но знаю, что на третьем шаге правая часть его лица будто получит электрический разряд. Кожа начнет судорожно сжиматься и растягиваться, словно кузнечные меха, запущенные на всю катушку. Четыре. Пять. Шесть. Семь. На восьмой шаг официант перестанет гримасничать. Ничто больше не будет напоминать о творившемся несколько секунд светопреставлении, кроме, разве что, легкого румянца щеки.

Сегодня ночью в липких объятиях я положу свою ладонь ему на лицо. Конвульсии его кожи перечеркнут, перепутают, перекроят линию моей судьбы, линию моей жизни. Все до единой линии потекут с этой ночи по другим желобам, к другим исходам.

Тебе правда нравится этот уебищный тик, спросит он.

Я люблю тебя, скажу я.

Я люблю тебя, скажет он.

Наталья РУБАНОВА

[Её университеты]

Из цикла Love-story

У нее тогда опять «прорезалось», а не ехать нельзя было, и так из института за прогулы чудом не вышибли – вот и чеканила, будто по учебнику: «...цистит дефлорационный, цистит медового месяца, цистит посткоитусный, цистит беременной, цистит родившей, цистит постклимактерический, цистит инволюционный...»; я отмалчивался, а она вдруг нехорошо так хохотнула: «Виновен, старче!..»

Подошел рейсовый. Ее серые глазищи впились в стекла моих очков (разделительная полоса, лимит на проникновение в эрогенную зону мозга) – поцелуй же был сух, сух и скучен: я подумал, надо же, неужели это *она*, неужели это *ее* губы, нет-нет. Мы не знали, что увидимся уже в новом, будто б запрограммированном на обнуление, тысячелетии: две тысячи и одна никчемная ночь – *дошло до меня, о великий калиф...*

С. делано равнодушно вошла в автобус, но потом резко бросилась к окну и, вместо того чтобы просочиться, пройти с к в о з ь, отчаянно вжалась в него: лисичка-сестричка, шатенка-бурка... твой нос расплющивается, становясь чернильно-черным – странно, думаю я, неужели у тебя нет слезостойкой туши, странно.

Р о д с т в е н н и к, как прозвала она единоутробного братца, кольцевался: С. не смогла проигнорировать событие, хотя выбор так до конца и не одобрила – мой (давнишний), впрочем, тоже: «Эк вас, ребята...» – покачав головой, она отвела взгляд от моей благоверной, которую видела впервые, и закурила. Но эти ее ключицы, подумал я. Сжать бы до хруста... как раньше – сжать бы... «Раньше?» – С. усмехнулась одними губами, б е з г л а з усмехнулась, и разомкнула пальцы – мне показалось, специально разомкнула: что-то театральное сквозило в ее жестах, что-то наигранное... я опустил голову: ползущего по скатерти алого паука никто, кроме меня, не видел – и, если б не нарочито бодренькие выкрики тамады, гости, поглощающие горячие и холодные «блюда» (изысканный прононс официанточек: любая из них *пошла бы* со мной, любая: тоска!), давно перестали бы замечать и новоокольцевавшихся рабов г-на Б.

Мы сидели друг против друга – я видел, С. тяготится обстановкой: интерьер пэгэтэшного кафе* и отдаленно не напоминал то, к чему худо-бедно привыкла она в «city», а уж о приглашенных – та еще компания – и говорить нечего. «*Автоматы не способны любить*, – сказала вдруг С., и зрачки ее расширились, – *они могут лишь обмениваться своими личными пакетами в надежде на чистую сделку*, обрыв связи».** Она частенько цитировала великих: вредная, на самом деле, привычка, один из «умных» способов так и не высказать с в о е... Мне захотелось раздеть, банально раздеть ее, может даже снять ш к у р к у – здесь и сейчас, на свадьбе ее р о д с т в е н н и к а: я знал, под черным атласным воротом, под строгой застежкой и тугим поясом прячется от меня

* *ПГТ, поселок городского типа.*

** *Э. Фромм, «Искусство любить».*

Наталья Рубанова родилась в Рязани, живет и работает в Москве. Автор книг «Москва по понедельникам» (2000); «Коллекция нефункциональных мужчин» (2005), «Люди сверху, люди снизу» (2008). Журнальные публикации (проза, эссе, критика, стихи): «Дети Ра», «Футурум-Арт», «Зинзивер», «Волга», «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Крещатик», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Меценат и Мир», «LiterarуS»; газеты «НГ-Ex Libris», «Литературная Россия»; «ЧасКор» и др. Член Союза российских писателей.

перевернутый на спину ёжик: я мог погладить его, а мог и распороть ему брюшко... «Горько!» – распетушился тамада: я со странным сожалением посмотрел на *брачующихся*, и плеснул водки. С. притворялась, будто ей нет до меня дела. Целующиеся на публику куклы напоминали пингвинов. Как странно, подумал я, как все странно... *до чего же* С. красива? до неприличия?..

Однажды она обронила, что бросит все и приедет, приедет н а с о в с е м. Я тут же спошлил, заявив, будто не потерплю рядом с собой женщину без «вышки»: С. училась тогда на втором курсе того самого меда, который окончили когда-то и мы с ее братцем – конечно, мои слова показались ей жестокими... а ведь «злодей» помнил ее совсем юной, совсем еще дикой: вот она щелкает меня, едва переступившего порог, стареньким своим «Зенитом», вот откладывает томик Саган, чьи романы здорово задурили ей голову (как сейчас помню: «Смутная улыбка»), вот растерянно вертит жестяную банку (*кукумария с галатурией*, предмет моих постоянных насмешек); «а рот-то, рот-то в ягодах весь, да ты до лесных прогулок охотница, так бы и съел черничку твою, дядь'игорь, дядь'игорь, ха-ха-а вот и не достанешь, ха-ха-а вот и не догонишь, ха-ха-а вот и не...»

В ту пору С. еще не признавалась себе, что приезжает на каникулы вовсе не к брату, и поначалу притворялась, будто люто меня ненавидит – пусть понарошку, пусть... да кто теперь разберет?.. У нее было – впрочем, почему б ы л о? я наблюдал за передвижениями ее фигурки на протяжении всей свадьбы, напрочь забыв про кольцевавшихся – умопомрачительное (помрачающее рассудок: мой рассудок) тело, огромные серые глазищи с пляшущими в зрачках чертями и длинные каштановые волосы, абсолютно прямые, которыми она пыталась связать мне руки, стремясь – едва ли осознанно – привязать к себе по-настоящему... Штрих к портрету: она могла не вставать *с мата* – а «прелюбодействовали» мы, как сказала бы моя благоверная, на спортивных матах – сутками: вот оно, ложе... Я пробавлялся тогда лечфизкультурой – в моем в е д е н и и находились спортзал да кабинет нескладного, построенного пэгэтэшной администрацией специально для «крутых» своих пьянок, оздоровительного комплекса. Странно, слово «командировка» – какая? куда? – все еще действовало на женщину, взявшую – всегда казалось, взявшую в з а й м ы, будто б поносить – мою фамилию. Нас связывало общее студенчество, все тот же лечфак – и точка: моя будущая жена оказалась единственной из группы, не пролепетавшей *ялюблютебяигорь*, поэтому, собственно, все и сложилось. Лет несколько я был если не счастлив, то вполне доволен жизнью – или мне так казалось, не знаю... казалось до тех самых пор, пока на нас не рухнул *ребенок*, спровоцировавший невольно то, что называют окончательным охлаждением. Моя благоверная со странным рвением окунулась в так называемый воспитпроцесс, как-то нехорошо расползлась, опустилась до «конского хвоста» с грязно-желтой махровой резинкой у затылка и, как мне показалось, окончательно з а с н у л а. Хуже того, она ударилась в православие и даже пыталась – разумеется, безуспешно – наставить «на путь истинный» и меня в то самое время, когда я довольно успешно наставлял ей рога... Почему я думаю *об этом*, глядя на С.?.. К а к я могу думать *об этом*, глядя на С.? На С., перелетевшую из прошлого века – в этот?.. Свалившуюся с обратной стороны Луны в черную эту дыру, где, за неимением «жареных» тем, только и говорили, что о свадьбе ее р о д с т в е н н и к а – моего друга, чью новоиспеченную ж., кассиршу п р о д м а г а, мы на спор (!), от скуки, п о д ц е п и л и в центровом, как называли его аборигены, баре прошлой зимой?.. Она согласилась выйти *за городского* довольно быстро: полуграмотные кресты* с той или иной стадией алкоголизма не прельщали, а других кандидатов на и/о мужчины в пэгэтэ не осталось.

Я не разбираю лиц. Голосов. Не замечаю кольцующихся. Я наблюдаю за тем, *как* С. наливает в бокал вино. *Как* струится оно по мраморным ее пальцам. Стекает на стол. Капает на пол. *Как* на белой скатерти появляется мясистый паук. *Как* жиреет. *Как* их, пауков, становится все больше. Больше. *Как* расползаются они в разные стороны. *Как* оплетают склизкой паутиной гостей, не замечающих крови, сочащейся сквозь жадные, вечно жующие, рты. Пожирающие, всегда пожи-

* *Крестьяне.*

рающие. Пожирающие тех, кого следовало б любить. Они называют их сельскохозяйственными животными: *твари дрожащие* с претензией на *право* – вот эта рыжая, знаю, в к а л ы в а е т в костедробильном цехе, вон тот усатый специализируется на забое (почему, кстати, забое, а не убое? в чем разница?..) м о л о д н я к а... «Горька-а-а-а-а!» – истошный крик тамады вынуждает меня закрыть глаза: тогда-то и вижу червивое месиво. Вместо лиц. Вместо лиц. Вместо их лиц.

Что ценно: паукам в голове нет дела ни до свадебного конвейера (тщетные попытки оправдания техпроцессов спаривания и репродукции), ни до жалеющих себя «плакальщиков», столетия напролет горюющих об истертых шкурках бессмертных – пока же ни живых ни мертвых, беспробудно спящих – душ... О, пауки при деле, всегда при деле, потому-то и затягивается занебесное лассо, потому-то в истории этой так много того, что называется *жидкой соединительной тканью, циркулирующей в кровеносной системе тела животного*... мы тоже, тоже приматы... Странное, действительно странное дежавю: С., будто на ретро-показе, боится *смотреть в мою сторону*... совсем как в предыдущей серии... Черт, черт!.. Но что значит смотреть в мою сторону? Г д е она? Не в том ли лесу, где ты, глупыха, каталась голышом в зарослях орляка и была совершенно счастлива, то есть молчала о своем счастье?.. Это потом, когда тебя отчислят-таки за непосещение (о, *твои университеты:* практической курс любви на покрытых полиэстером и велюром матах, освоенный блестяще, – з а ч е т, малыш!), ты окажешься на кафедре фотомастерства и станешь сыпать такими словами, как «драматургия», «свет», «композиция», «обработка», «монтаж», «эмульсия», «печатные технологии»... Это потом начнешь рассуждать о работах Анри Картье-Брессона или Эдварда Уэстона, экспериментировать с фильтрами и растолковывать мне, деревенщине, что фотоаппарат – часть твоего тела, лучшая, уникальная часть: с одной стороны, такая же как грудь или щиколотки – и вместе с тем иная, особенная... Этой-то самой ч а с т ь ю т е л а ты и «протоколировала» кольцующихся, лишь изредка наводя объектив на скромную мою персону. Именно эта ч а с т ь т е л а и дарила тебя силами живительного забытья: «Искусство переплавляет любую, абсолютно любую боль. Даже вызванную ежикопотрошением...» – странная фраза повисла в свадебном безвоздушье: я не знал, как реагировать. Усмехнувшись, ты принялась фотографировать захмелевших и откровенно пьяных гостей: все они, признаться, казались мне персонажами «Дома умалишенных» да «Похорон сардинки» – себе же напоминал я засыпанного песком пса*, которому уже не выбраться: когда-то ты подарила мне альбом с репродукциями Гойи – я оценил его работы не сразу, как не сразу осознал и то, что ты никогда, никогда не снизойдешь до того, чтобы намекнуть мне на главное, на самое важное... тебе легче было снять с собственной головы скальп, нежели признаться в том, что ты, *как и все эти курицы*, кое о чем мечтаешь. Как мог, как мог я отпустить девчонку, чеканящую, будто по учебнику: «...цистит дефлорационный, цистит медового месяца, цистит посткоитусный, цистит беременной, цистит родившей, цистит постклимактерический, цистит инволюционный», а?.. Кретин. Кретин.

«Бежим!» – не помню, кто не выдержал первым, да и какая разница? Все наносное, фальшивое наконец-то исчезло; исчезли и свадебные декорации. Перед глазами поплыли цветные круги: сквозь марево красок я с трудом различил точку, куда были устремлены наши взгляды. Я оцепенел, а через какое-то время с удивлением заметил, что над головой твоей закручивается тончайшая серебристая спираль, похожая на поднявшуюся в воздух фату. Слова стали не нужны, просто не нужны: вместе со страхом отверженности, самым страшным на свете страхом, ушло отчуждение – мы вжались друг в друга спинами, мы пролежали так всю ночь, всю брачную ночь – молча, бездвижно... «Это наша, наша свадьба... какая уж есть, глупыха... если ты, конечно, согласна... если ты, конечно... если ты...» – «...если ты, конечно, согласна!..» – злобно передразнила моя благоверная, с нехарактерной для нее яростью хлеставшая меня по грязным – классика жанра: morda v salate, хвастаться нечем – щекам, тщетно пытаясь привести в чувство: кафе закрывалось в полночь.

* *Ф. Гойя, «Пес» - одна из картин т.н. черного периода.*

Максим КАЛИНИН

***

Продрался ветер сквозь чертополох
И мелкими иголками плюётся.
Катаются на туче два уродца.
И рухнул ясень, что давно иссох.
Поставлен хмурый вечер на горох.
Хохочет водяной со дна колодца.
С небес вода колодезная льётся...
Я – в дом вхожу, и жребий мой неплох.

Господь, благодарю за непогоду –
Когда я прохожу огонь и воду,
Не слышно мне безумящую медь.
Благодарю, Господь, тебя отвеку,
Что ты клочок земли дал человеку,
Не страшно за который умереть.

Часовые над Шексной*

Весело плещет река Шексна,
С Волгой- рекой сопрягая ток.
Ветер уносит обрывки сна.
Воздух пьянит за один глоток.

Башня из брёвен венчает юр.
Частые колья обстали двор.
Пятнами жёлтых и серых шкур
Полнятся дали, где ходит взор.

Ведьминой дыркой бойницу звать
Издавна брат-часовой привык.

**В месте слияния Волги и Шексны ранее располагался город Усть-Шексна. Первое упоминание о нём относится к XI веку. Позже, из-за нашествия татаро-монголов и повышения уровня воды в волжском бассейне, жители Усть-Шексны вынуждены были переселиться на другой берег Волги, где выросла Рыбная Слобода, впоследствии – современный Рыбинск. В начале XXI века на месте Усть-Шексны, усилиями рыбинского подвижника Александра Рыкунова, была возведена мемориальная бревенчатая башня, обнесённая кольями.*

Максим Калинин родился в 1972 году в Рыбинске. Поэт, переводчик с английского (впервые перевёл на русский язык стихотворения Юджина Ли-Гамильтона, Томаса Прингла, Мервина Пика), член Союза Российских писателей, Союза переводчиков России. Публиковался в журналах «Октябрь», «Урал», «Москва», «Новая Юность», «Иностранная литература», «Вестник Европы», «Арион», «Сибирские огни». Автор книги «Тёмный воздух: Стихотворения и переводы» (М.: Водолей Publishers, 2008) и книги переводов Джона Кинселла «Америка, или Накал» (Стокгольм: Ars Interpres, 2006). Лауреат премии журнала «Москва» (2002).

Всякую малость тебе видать,
Ежели к небу стоишь впритык.

Глазу не лёгок глядельный труд –
Как на ладони судьба видна:
Посуху дикие люди прут,
Берегу корни грызёт волна.

Страх опускает на плечи плеть.
Трудно бодриться в тяжёлый час.
Нам с тобой не о ком песню петь.
Завтра, должно быть, споют о нас.

Тем, кто за нами пойдёт на рать,
Будем в оврагах костьми греметь,
Кровью в ручьях голубых плескать,
Душами по древесам шуметь.

Тем, кто за нами потянет век,
Драться без роздыху – не с руки.
Чтобы попасть на соседний брег,
Надо отращивать плавники.

Солнце в Шексну опустило прядь.
Вражьего варева слышен смрад.
Вскорости будет не расхлебать.
Дай-ка мою поварёшку, брат!

***

Февраль пришит к весне внахлёст,
Но та не мирится с отсрочкой.
Зима последний свой форпост
Покинула под бурой кочкой.

Что ж, на войне как на войне.
Смерть лучше, нежели измена.
И в ноздреватой белизне
Чернеет земляная пена.

Там селит взор семью гадюк,
Клубком лоснящимся свивая,
Шипящим, если палка вдруг
В него воткнётся, лучевая.

Дома по ту сторону Волги

I

Удобно им дремать на плоском лежне,
Пережидая тёмные века,
Пускай земля струится с потолка,
И сумерки глядят всё неизбежней.
Довериться бы им волне на стрежне,
По брёвнышку скатившись с бережка
Но Вечность им стеречь удел – пока
Ей не сыскать хранителей прилежней.
Здесь в сопряженье каждого бревна
Запрятано скрепляющее слово.
Благоволит покою тишина,
И жизни неколеблема основа –
Ребёнок из чердачного окна
Взирает на прохожего седого.

II

Затёртый огородами домишко,
Где лаем задыхается кобель.
Хозяин пьян по несколько недель –
Прищуристый и гадкий коротышка.
Труба торчит как на макушке шишка –
Повылетело сколько ведьм отсель?
Здесь вурдалачья сходится артель,
И с присвистом у сумерек одышка.
Что бредни книг про средние века,
Где кровью плачет каждая строка –
Без колдовства здесь жизни отнимают,
Кивая на превратности судьбы.
Калитку на ночь здесь не запирают.
От остановки – пять минут ходьбы.

***

В Петербурге вечная вам слава.
Кони ночи опустили холки.
Каплями по небу кровь Христова,
Как клопы по стенам коммуналки.

На бумаге выбит номер дома.
Дворничиха прянет пальцем: «Тута!»
Строгая с побелки глянет дама.
И душа попросит адвоката.

Выход есть – в конце по коридору,
Где звонки как шарики на ёлке.

Вызвонил трамвай кому-то кару,
Не вставляй ему в колёса палки.

Двигайте ногами, кони ночи,
То не ветры гривы вам раздуют.
Книги заколочены на даче,
По весне, коль не сожгут, оттают.

Встали рельсы лестницей высокой.
Поклонись летящему трамваю.
Божья бижутерия – Исакий
Щедро подмешает бою к вою.

***

Сызнова по голытьбе
Смерть мышковала.
Живо набила себе
Зоб до отвала.

То, что пригрезилось сном,
Сбудется явью –
Будем стелиться мышом
По мелкотравью.

Лишь головой в синеву
Станешь нетвёрдо,
Тут же расклинит траву
Острая морда.

Тщится поимная снедь
В вечном расчёте.
Косточки будут белеть
В лисьем помёте.

Наталья КЛЮЧАРЕВА

Весна

Дыши меня, держи меня, весна,
Подкидывай скворцом под облаками,
Подкидышем качай в руках берез,
Раскачивай в зеленом покрывале
Над гнездами, над звездами полей,
Как будто жизнь – и смертью не прервется,
Шуми меня, живи меня, весна.

Кто светит нам во тьме

Куда мы собираемся? В полет
над временем. В поход
к кусту сирени, что дышит
на другом краю двора,
как туча,
и укачивает звезды,
которые мерцают и скрипят.
А где мы обретаемся? Нас нет
во всех местах, где мы когда-то были,
сачком махали, ползали в траве
и обретали россыпи сокровищ:
и светлячка, что светит нам во тьме,
и грустного сверчка в стеклянной банке,
и уйму тех, кому названья нет.
А дальше что? Мы вышли со двора,
и, двигаясь на ощупь, очутились
однажды на другом краю Земли
и через край, как молоко, сбежали,
и Млечный путь, как азбуку, прошли.
И где же мы теперь?
Названья нет. Мы спим.
Чтоб иногда друг другу сниться.
И видеть двор, сверчка и светлячка,

Наталья Ключарёва родилась в 1981 году в Перми. Закончила филологический факультет Ярославского педагогического университета, работала редактором новостей на телевидении, редактировала ярославский литературный альманах «Игра в классиков». С 2005 года живет в Москве, работает журналистом. Публиковалась в журнале «Новый мир», автор книги стихов «Белые пионеры» (2006), романа «Россия: общий вагон» (2008). Финалист премии «Дебют» за 2002 год (номинация «Поэзия»), лауреат премии имени Юрия Казакова за 2007 год.

Сирени куст, свечу в стеклянной банке.
И горстку тех, кто светит нам во тьме.

***

Смотри, как много воздуха над нами,
Как мало и как холодно внутри,
Что хочется забыть и отвернуться,
И наизнанку вывернуть себя,
Как платье через голову,
и прыгнуть
С высокого крутого бережка.
У времени здесь быстрое теченье:
Как ни старайся, будешь плыть назад,
Пока спиной в запруду не упрешься.
Переведешь дыхание тогда
На языки зеленые кувшинок,
На ласточкины злые языки.
Смотри, у стрекозы такие крылья,
Что можно разучиться говорить
И не заметить никакой потери,
А только плыть в ручье наоборот,
Рябые камни трогая руками
И набирая полон рот воды.
Смотри, как мало нас уже осталось.

***

Носители твоих крестов дорожных –
Солдатских, оловянных, деревянных
На перекрестках времени и места
Замедлят ход железных башмаков.

Проснутся на конце железной ветки
Смотрители безлюдных полустанков,
Смотрители твоих садов вишневых
Из окон заколоченных домов.

И, наконец-то, свой фонарь затеплят,
И капнут масла в меркнущий светильник,
И выбегут, волнуясь, как деревья,
Навстречу человеку одному.

Ночное

Птице снится, что она летит,
И спросонок – хлопает крылом.

Дерево, счастливое, растет,
Как душа – наощупь, наобум.

По дорожке кто-то пробежал,
Вроде кошки – осторожный зверь.
Ничего не видно, кроме лап,
Белых лап, мелькающих во тьме.

Если же мне сна не превозмочь,
Помоги расти к Тебе во сне,
Как ночное дерево в саду,
Что живет, само не зная как.

Помоги бежать к Тебе во тьме.
Помоги лететь к Тебе во сне.

Олег РОГОВ

С ЗАПАДА НА ВОСТОК РОССИИ

Сергей Стратановский. Оживление бубна. – М.: Новое издательство, 2009. – 88 с. – (Новая серия).

Новая книга стихов Сергея Стратановского целиком посвящена мифологии малых народов России. Это очень цельный сборник, одновременно неожиданный и закономерный. Книга кажется мощным отводом, одним из русл разветвленной системы лирики Стратановского. И, продолжая это сравнение, пейзаж перед нами предстает весьма непривычный.

Меняется и сам строй лирики – при сохранении традиционной для Стратановского интонации расшатанного трехдольника, апеллирующего и к «высокому стилю», и к разговорной речи, почти не встречаются неологизмы, которые в свое время сделались чуть ли не товарным знаком поэта, в этой книге находим лишь «корнелапых», да «человекодеревья» (не включать же сюда традиционно поэтические «тайнозрящий», «послесмертный» и «огнеокий»). На этом аскетическом словотворческом фоне даже «Биармия» провоцирует первоначальное ложное прочтение (как «биоархитектура» или «Федоров-армия» в стихах из других книг). Нет, оказывается, топоним. Вместо слов-монстров взгляд останавливают «узалы», «арбакеши» и «сеиды», а также имена собственные, иногда полузнакомые: Ён, Пурьгине-паз, Тангар, Полехсе, Идиль, Заркун, Бектай и т.д.

Экзотика эта отчасти вызывает у читателя чувство вины, так как речь идет об архаичной мифологии народов России, о которой у большинства из нас весьма смутные представления – в отличие от автора.

Вот свидетельство самого поэта в его беседе с Сергеем Завьяловым в журнале «TextOnly» (май 2001 года, выпуск 8): «Учась на филологическом факультете, я оказался в семинаре Проппа, ездил в фольклорные экспедиции на Север. Я и сейчас не пропускаю литературы по этой тематике. Через фольклор пошел и интерес к финно-угорскому субстрату русской культуры. Я убежден: подлинное изучение русского фольклора невозможно без изучения языков и фольклора восточных финно-угорских народов: коми, удмуртов, марийцев, мордвы».

Парадоксальные вариации на мифологические темы присутствовали в стихах Стратановского изначально, они врывались в социальную или философскую тематику, занимали разделы книг. Уже в книге «Рядом с Чечней» (СПб, 2002) был помещен «Пхармат прикованный», драматический отрывок о своего рода чеченском Прометее. Но в «Оживлении бубна» мифология имеет еще и пространственное измерение, которое является важной ее составляющей. В предисловии к книге Стратановский пишет: «Эта книга задумана как собрание откликов на мифы и фольклор народов России: финно-угорских, тюркских, монгольских, палеоазиатских. Принцип ее композиции – географический: с запада на восток, от карел до нивхов. <...> Вообще, одна из задач этой книги – дать свое видение «континент-океана», называемого Россией».

Сохраняются и архаичные модели, положенные в основу сюжета стиха – герои обычно или представляются (что, в общем-то, правильно, ибо читатель, повторюсь, «не в теме») и свидетельствуют о себе («Я – Тангар, бог верховный...», «Я – дева лунная // я – бессмертная тень...», «Это я, шаман сильный...», «Вот и состарился // Я, Нюргун-Боотур, // Серединной земли богатырь стремительный», «Я – Дохсун-Дуйаан, // дух злокозненный, дева неба...», «Я – охотник морской...»), или обращаются с просьбой к различным божествам.

Просьба эта, как правило, имеет обратную сторону медали и, в зависимости от интенции просителя, удовлетворяется за какую-то плату (например, преображение), либо просящий отказывается от нее, так как требуется непосильная жертва: шаман просит вернуть жену, но он должен потерять при этом доступ в Верхний и Нижний миры; девушка просит луну забрать ее

к себе от злой мачехи, и так далее.

Также варианты «обмена» присутствуют и в общении между людьми и разного рода сущностями – можно убить медведя, который окажется твоим братом, получить отказ в изгнании врагов магической силой. Это общение происходит в «тонком мире» и воплощается в мире реальном.

Стратановский сопрягает разные традиции, улавливая в них неизбежные общие мотивы – поиск бессмертия Гильгамешем и Урал-Батыром; буддийский «след» в эпосе «Абай-Гэсер»; напоминание в речи чебоксарского бухгалтера о его предках-гуннах и их походе на Рим; мотив чудесного спасения в «Деве неба» напоминает историю Моисея, а интонация некоторых строк – классические стихи Кузмина («Двое их было; две сестры...»). Впрочем, тексты этой книги – отнюдь не изощренная стилизация и не стихотворный аналог известных ремизовских пересказов. Это один из способов разговора о наиболее глубинных вещах, который «одет» в архаические наряды.

Обмен энергиями, жертва, оживление сущностей и взаимодействие с ними – главные темы книги. В концентрированном виде они воплощены в стихотворении, давшем ей название:

Оживление бубна
(сибирский шаманский обряд)

Русской водки плесни
    На свой бубен, шаман сибирский.
Оживет кожа бубна,
    Обод его оживет.
Запоет его обод,
    Вспоминая, как деревом жертвенным
Рос в тайге, ожидая,
    когда по веленью богов
Его люди срубят.

Русской водки плесни,
    напои кожу бубна, шаман.
Запоет захмелевшая,
    вспоминая, как гневной олéнихой
В дуло смерти глядела,
    не зная, что будет жива
В звуках бубна безудержных,
    в песне своей послесмертной.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

НАЗВАНИЕ ДЛЯ КНИГИ

Евгений Заугаров. Избр-е. – Саратов: Литературный клуб «Дебют», 2010. – 44 с. – (Поэты Саратова).

Сборник в сорок с небольшим страниц, сверхплотная верстка, формат скорее брошюры, чем книги, вышел в новой серии «Поэты Саратова» местного клуба «Дебют». В серии – шесть книг, то есть пять авторских книжечек плюс один сборник, эдакая мини-антология с претенциозным названием «Посвященные: Мышь-ление» и довольно непростой организацией текстов внутри. Неизвестно, будет ли продолжение, но сам факт появления такого проекта радует – не часто в провинции обращают внимание на современную поэзию, предпочитая «знакомить» читателя с переизданиями сочинений Есенина или в лучшем случае проверенного временем Евтушенко, или творениями их многочисленных эпигонов. Впрочем, будем надеяться... Итак, «Избр-е»[1].

Хорошее название для книги, на грани издевательства и самоуничижения, чем и кажутся на первый взгляд стихи Евгения Заугарова. А что, в самом деле, приходит на ум после прочтения таких вот строк:

Помню первое своё дежурство.
Времени примерно три часа
ночи. Я ужасно хочу спать.
У ворот горит один фонарь,
освещает запертые двери,
часть забора, больше ничего.
Обратил вниманье на полоску
света вдоль одной двери в подсобку.
Подошёл, а дверь не заперта.

(«Таксопарк»)

[1] *Надо заметить, что это не первая попытка издать в Саратове стихи Е.З. В 2000-м году был выпущен небольшой сборник стихов в рамках проекта Этера де Паньи. Кроме того, книга Евгения Заугарова была заявлена в планах поэтической серии «Контрапункт» (Владимир Морозов «Холодный воздух», Евгений Малякин «Из двух книг», Александр Ханьжов «Круги надежды»), но в связи с прекращением серии так и не вышла.*

Этот текст – как фрагмент, так и все стихотворение полностью, – вроде бы не требует расшифровки, абсолютно лишен красивостей и прочих «важных» примет «поэтичности», «художественности», вернее того, что под этим зачастую неверно понимается; он обескураживающее прост. Но с другой стороны, у читателя сразу же возникает чувство внутреннего напряжения, которое не ослабевает до конца этого сравнительно большого по объему произведения. Эпизод из жизни ночного сторожа, попытка уснуть, поиск удобного для этого места превращаются в блуждание в безлюдном лабиринте с характерными для Е.З. подробностями.

Производственные душевые
типа этой не оснащены
дорогой сантехникой. Смеситель –
это просто длинная труба,
загнутая сверху гусаком,
на конец которого навинчено
нечто говорящее, что это
всё-таки не что иное как
душ, и под него надо вставать.
Кран не закрывался до конца.

Получается такой двойной эффект – внешняя простота ситуации, бесхитростные наблюдения заключены в оболочку чуть ли не триллера. Читатель, ожидающий развязки этого приключения в поисках места для сна, получает в конце что-то наподобие катарсиса в виде освобождения от ночных кошмаров.

Пол под душем был довольно чистым.
Искренно обрадовавшись этому,
первым делом я отмыл ступни
(там было достаточно темно,
я вполне мог наступить в говно).

Совершенно неизвестно сколько
времени я там стоял как пугало,
но когда я выходил оттуда,
были уже утренние сумерки.

Вообще сумрачные темы на грани появления то ли представителей мира призраков, то ли чудовищ, то ли дефектов засвеченных фотоснимков – характерная черта поэзии Евгения Заугарова. Стихи его – это большей частью монолог в отсутствии того самого собеседника, о котором писал Мандельштам, внутренняя речь в пустынном городе (например, в стихотворении «Борисоглебск» и многих других), который населен вещами, предметами обстановки, кусками техногенных конструкций. Но при этом нет и никакого нагнетания эмоций, связанных со всем этим ночным миром. У Заугарова вещи называются своими именами, градус повествования не зашкаливает, напротив, он намеренно снижен.

Ночь. Окрестный пейзаж небросок.
Когда закроешь глаза, обнаружишь точку,
где улыбающийся подросток
молотит в ржавую бочку.

(«Троллейбус шестнадцатый подъезжает...»)

Одиночество альтер-эго автора, помноженное на приступы астении («...Мать говорила: / кому охота / смотреть на тебя, / на дурака? – с неплотно / застёгнутым воротником, / с неплотно / закрытым ртом, / плюнул в грязь»), придает картинке еще более отстраненный вид. Но в поле зрения поэта появляется неожиданная деталь, и все изменяется.

Около первого советского морга
всегда пахнет какой-то дрянью –
сожжёнными изоляторами,
непонятными растворителями
и жареной картошкой.
Последнее характерно больше
для вечернего времени, когда
мужья возвращаются с работы, и их
встречают улыбающиеся домохозяйки.
«Руки, понимаешь, в муке, поэтому
не обнимаю. Дети? Дети на улице...»
И тут через открытое окно в комнату
входит очень низкая нота: это
лает чёрный дог ночи.

Мир в стихотворениях Е.З. легко узнаваем, это все то же место, где мы засыпаем и просыпаемся, и снится нам приблизительно то же, но у автора «Избр-е» получается разглядеть во всех подробностях пресловутую «изнанку жизни». Возвращаясь к названию: кажется не-

случайным у автора пропуск именно тех букв, которые, будучи набранными латиницей, подразумевают прожитый год – неважно какой и по какому календарю, – закольцованный весенним стихотворением, последним в этой до обидного короткой книге.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ПЕЧАЛЬНЫЕ И ВЗРОСЛЫЕ СТИХИ

Аня Логвинова. Кенгурусские стихи. – М.: Вест-Консалтинг, 2009. – 56 с. – (Библиотека журнала «Современная поэзия»).

Прочитав в книге Анны Логвиновой слова:

а мы с тобой такие непростые,
такие невеселые ребята

искушенный ценитель современной поэзии, наверное, будет удивлен. Шесть лет, прошедшие со времени получения Аней (на красно-белой обложке имя указано именно так, в уменьшительной форме) премии «Дебют», укрепили за ней репутацию автора, обладающего детским взглядом на мир и детской же способностью разрушать грань между воображаемым и реальным уровнями существования. Точно для подтверждения этой мысли на обложку книги вынесено одно из ранних и наиболее известных стихотворений, строчка откуда, собственно, и дала название сборнику:

Ну, жиравствуй! Я в наш город вернулась!
Я смешная в этой кожаной куртке.
Из-под ног выскакивают кулицы и
И вспархивают переутки
<...>
Расскажи мне про мои щеки хомягкие
На языке кенгурусском.

Появление этого текста в качестве визитной карточки имеет отношение скорей к издательской стратегии, нежели к представлению читающей публике автора, пишущего здесь и сейчас, ибо сама книга открывается совершенно иными стихами:

Ещё темно, горит торшер,
По одеялу ходит кошка.
Мужчина смотрит на часы,
идет на кухню, там включает
плиту
<...>
И к женщине с курносой грудью
без исключения ко всей
лицом пытается прижаться.
Ему семнадцать лет и кошка
штурмует утреннюю дверь.

Подобно большинству сверстников, Анне не удалось избежать упреков в инфантилизме. Возможно, именно в ее случае упреки эти особенно несправедливы. Весь строй приведенного выше фрагмента – от фонетики до самого тона повествования – опровергает мысль о сознательном или бессознательном уходе в детство. Здесь очевидна скорее попытка слиться с миром: позиция автора демонстративно не определена, текст написан как будто сразу от лица семнадцатилетнего мужчины, его женщины, кошки и самого утра. Даже время, откуда ведется рассказ, не определено: вроде бы обилие неярких, но узнаваемых деталей, будто происходящее непосредственно отражается в зеркале или сознании автора, но, в то же время – отчетливый взгляд на события как на то, что уже минуло. Таких стихов, очень личных, но без демонстративно зафиксированной позиции пишущего в книге много:

Ты стоишь возле вешалки,
где струятся чужие пальто,
это круглая вешалка
и она как фонтан для бурлящих пальто.

Лирическая героиня стихотворения и человек, стоящий возле бурлящей вешалки, уже знают, что сейчас случится разговор, где будет «всё не про то», а дальше – расставание и сожаление о жизни, прожитой не вместе. А смотрят они на эту вешалку. Вот такие детали, удивительные в своей невозможности и оттого узнаваемые, свидетельствуют о принятии и понимании мира, не свойственном инфантильному сознанию. Инфантилизм есть род

самоумаления, а самоумаление, в свою очередь – один из простейших и самых примитивных методов обороны от окружающей среды, отгораживания от нее дополнительным барьером. Это из курса биологии известно.

Впрочем, стихи Анны при их удивительной открытости, тоже держат свою оборону. Только это защита не от мира, а, скорее, от глуповатых собеседников-современников, которым до истинно взрослого понимания еще расти и расти. От приятеля, пугающего адом, когда хочется мороженого, например.

А вопрос доверия кажется у Анны основным. Тут, да, можно усмотреть некоторую детскость:

Был день так долог, путь так труден,
Что уронив за ванну мыло,
Я вдруг решила – будь, что будет.
И вправду – было то, что было.

Невзрослая, вроде бы, совсем позиция: плыть по течению. Впрочем, и это не инфантилизм, но мудрость в духе Лао-Цзы: «Истинно просвещенный человек никогда не воюет».

Главное же отличие мировосприятия лирической героини стихов Анны Логвиновой от восприятия инфантильного это грусть. Все-таки детство – время скорее радостное. Мы оттого так и помним свои младенческие печали, что они слишком отличны от обычного тогдашнего состояния. А в «Кенгурусских стихах» почти и нет абсолютно оптимистичных текстов. Собственно, автор к их созданию не стремится:

Самые лучшие стихотворения, ей-богу,
они не про измены мужьям,
не про измены женам.
они напоминают списки вещей в дорогу,
необходимых, красивых и разрешенных.

Обычно, они про осень, про белые печи,
про то, как строят дома, как взбивают
масло.
Они так редко о том, как все могло быть
прекрасно,
они скорее о том, что не должно быть и
речи.

Здесь будет уместно сказать об еще одном замечательном свойстве стихов Анны, об их особой ироничности, возникающей опять-таки и на уровне смысла, и на уровне лексики, и на уровне построения строк. Это не стеб – стебаться более или менее грамотно теперь научились почти все, – а забытая почти, спокойная, довольно печальная улыбка. Стеб по своей природе зол и целью имеет выведение объекта насмешки из себя. Тут же – совершенно иное. Это ирония, обращенная на объекты мира не взрослого, но мира, демонстративно отрекшегося от детства. Мира, где «мужчина в поисках смысла» и «женщина, лишенная смысла» убого-серьезны и оттого даже в троллейбус, пребывая «в состоянии правды», входят «медленно, как космонавты». «Они никогда не целуются, они никогда не умрут»: не умрут, конечно, ибо глагол этот здесь следует употреблять в прошедшем времени.

Читая стихи Анны, иногда ловишь себя на мысли, что где-то здесь, рядом воплощение апостольского: «не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Т.е. речь идет не о природном инфантилизме и тем более не об игре в таковой, но о сознательном и мотивированном выборе взрослой личности. Будучи человеком прежде всего умным и честным, автор не боится рассказать об истоке своих стихов:

Иногда вдруг покажется, что есть
состояния,
не похожие на счастье и радость, на любовь с
благодатью,
<...>
Ну, а мало ли что кому может присниться,
привидеться.
Хорошо, что в реальности нет ничего такого.
Все похоже на маму, на папу, на город Винница,
на семнадцатилетнего К. Куликова.

В общем, да: стихотворение создано, дверь в волшебный мир закрыта, осталось привычное нам. Но вход туда, откуда стихи пришли, все-таки нам, читателям, пусть и ненадолго был показан. Так мало кто умеет. Заметим: вновь общение между автором и читателем происходит на нескольких уровнях – и на

уровне максимально доверительной интонации, не предусматривающей использования изощренных рифм и кинжальных метафор, и в доверительных, принимаемых за детскость, попытках говорить о том, о чем и сказать-то, кажется, нельзя и (наверное, для самых непонятливых) в постоянном прямом обращении. Местоимения «ты», «тобой», «тебя» – едва ли не самые частые в книге слова. Причем, в отличие от большинства авторов, это не прием замены первого лица вторым, а обращение зачастую к реальному собеседнику. Или, реже – отождествление себя с остальными «ты». Причем каждый тут остается именно «ты», а не «он» или «они»:

Не ищи в этих действиях Бога
никакого подвоха.
Бог с тобой, здесь, помимо тебя и Него,
никогда и не было никого.

А то, что стихи грустные, ну, так мир-то вокруг каков? И тот, горний, откуда приходят строки, в итоге проецируется сюда же, к несовершенным нам. Слава Богу, нашу жизнь иногда и ненадолго освещая. И стихами тоже. И стихами, пожалуй, особенно. И стихами Ани Логвиновой в частности.

Анна ГОЛУБКОВА

ЛИРИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ АНДРЕЯ СЕН-СЕНЬКОВА

Сен-Сеньков А. Бог, страдающий астрофилией. / Предисловие А. Цветкова-младшего. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 152 с., ил. – (Новая поэзия).

У стихов Андрея Сен-Сенькова есть странное свойство – они одновременно и архаичны, и очень современны. Архаичной в первую очередь являются их тематика и общая форма: все эти бесконечные перечни предметов и явлений напоминают перечисления Франсуа Рабле или даже средневековую любовь к спискам и каталогам. Человек той эпохи в первую очередь стремился не к познанию, а к описанию, что, впрочем, фактически для него было идентичным. В те времена важным было не то, как устроен мир, а в каких иерархических отношениях находятся составляющие этот мир предметы. И потому основной формой представления знаний о мире становится именно каталог, подробно и обстоятельно перечисляющий предметы, явления и их главные свойства. Интересно, что некоторые современные поэты в своем творчестве следуют примерно этой же модели. Циклы стихотворений (как это мы, к примеру, наблюдаем у Бориса Херсонского) словно ставят перед собой задачу вторичного пересоздания существующей реальности – нужно все описать и тем самым – повторить (а быть может – даже и улучшить) работу Бога. Изначальный творческий импульс Андрея Сен-Сенькова исходит, как мне кажется, из примерно похожего желания хоть как-то упорядочить существующее многообразие, но, конечно, ни в коем случае к этому желанию не сводится.

Современность же этих стихов в том, что несмотря на мнимую объективность и отстраненность в них представлен индивидуальный взгляд поэта. За редким исключениям в стихах Сен-Сенькова не встречается местоимение «я» и узнать из них о жизненных обстоятельствах автора мы почти ничего не можем, зато его духовная жизнь и интеллектуальные интересы представлены здесь на редкость подробно. Читатель знает, какие книги читает поэт, какую музыку слушает, какие фильмы смотрит, и самое главное – как именно ему удается преобразовать в слово другие – визуальные, звуковые и т.д. – впечатления. В архаичной форме каталога у Сен-Сенькова представлен личный культурный опыт, который практически невозможно сымитировать. Вот почему при значительном влиянии на современную поэзию (в особой чувствительности к такому влиянию, например, в предисловии признается Алексей Цветков) прямых подражаний Сен-Сенькову, насколько мне известно, не имеется. Для того, чтобы так написать, нужно точно так же чувствовать, а это, как мы понимаем, невозможно. Поэту удалось до невероятной степени обострить свою чувствительность и усложнить восприятие, так что его стихотворение почти всегда требует увлекательной эмоциональной и интертекстуальной расшифровки.

Алексей Цветков во вступительной статье указывает на «освобождающий» эффект произведений Сен-Сенькова, но, честно говоря, таковым эффектом обладает любое состоявшееся художественное явление. Гораздо важнее, на мой взгляд, что в этих стихах читатель сталкивается с абсолютно иным способом восприятия и что ему приходится проделать определенную внутреннюю работу по усвоению чужого опыта. Стихи Андрея Сен-Сенькова требуют от читателя в первую очередь толерантности и открытости сознания, и потому при всей их герметичности они – чуть ли не лучший из всех возможных поводов вступить в диалог не только с самим поэтом, но и с теми культурными кодами, которые он воспринимает, преображает и транслирует далее. Интересно также и то, что на протяжении всей статьи Цветков так ни разу и не решается назвать представленные в книге произведения «стихами»: в некоторых случаях это у него «пропоэзия», но в основном – исключительно «проза». Вопрос различения двух основных типов организации художественного текста является для современной литературы одним из самых насущных. Однако в случае Сен-Сенькова никаких сомнений тут, по-моему, быть не может. Конечно, этот поэт не пользуется ни рифмой, ни привычными размерами, однако – и это совершенно очевидно – в его стихах присутствует повторяющаяся и достаточно жесткая ритмическая структура, которая не имеет ничего общего с присущей тому же Сен-Сенькову прозаической интонацией. Прозаики в основном используют существующие интонационные конструкции (всего их, если верить классификации Е.А. Брызгуновой, семь), поэты каждый раз изобретают свои собственные, не говоря уже об измененном синтаксисе и о «тесноте поэтического ряда». Все эти формальные средства у Сен-Сенькова имеются, так что с точки зрения теоретического литературоведения его произведения являются именно стихами, а не короткими прозаическими зарисовками.

Книга «Бог, страдающий астрофилией» представляет собой единое целое, но это целое создается не столько структурой книги, сколько общим единством представленного в ней художественного метода. Алексей Цветков видит в этом методе нечто феноменологическое – «штопор таланта, вскрывающий предметы, как шампанские бутылки». Однако, на мой взгляд, Сен-Сеньков вовсе не ставит перед собой цели добраться до сути предметов. Сам по себе отдельный предмет его вовсе не интересует. Поэт берет какие-то качества вещей и явлений и сталкивает их друг с другом. Основные приемы Сен-Сенькова – это метонимический перенос признаков, причем иногда довольно неожиданный (например, в одном из стихотворений цикла «Сломанные фотографии Джона Глэсси» в «кожаной могилке» умирает ссадина, т.е. «пустота», повреждение), и олицетворение – любой предмет у поэта может обладать человеческой душой и трагической судьбой. И практически во всех стихах Сен-Сенькова присутствует трагическое начало, потому что везде – даже, вроде бы, в самых отстраненных текстах – у него идет речь о страхе и боли. И каждый частный случай является, по-моему, выражением общей неизбывной и непреодолимой боли существования, которую разделяют с человеком все прочие живые существа и даже предметы. В этом отношении название книги очень удачно демонстрирует суть поэтического метода ее автора. Бог страдает астрофилией, любовь не только оказывается принципиально неосуществимой и неотделимой от страдания, но и становится главным онтологическим принципом – ведь ее испытывает ни кто иной как создатель всего сущего.

Практически все пишущие о стихах Андрея Сен-Сенькова выделяют «боль» либо как основную тему его творчества, либо как отправную/завершающую точку цепочки ассоциаций, либо как некую матрицу построения художественного образа. Мне же все-таки кажется, что боль у Сен-Сенькова не является отдельной самодовлеющей сущностью, хотя, конечно, его профессия невольно провоцирует именно такое толкование. Боль – это неизбежный спутник пограничной ситуации, которую с поразительным упорством поэт реконструирует в каждом своем стихотворении. Страх, страдание, болезнь, смерть и даже просто обостренное переживание собственного одиночества – все это как бы «подвешивает» человека в воздухе, помещает его на границе между бытием и небытием. Именно этого эмоционального

состояния, как мне кажется, и добивается Сен-Сеньков в своих стихотворениях. Возьмем, к примеру, вот этот стих:

Я давно не звонил маме

у изобретателя телефона александра
белла
была глухая мать и глухая жена

внутри любой комнаты тела
есть рабочий столик
где каждый раз надо заново придумывать
способ услышать друг друга
все получающиеся приборы делятся на
два вида на две фразы

я чувствую тебя и я тебя чую

В этом стихотворении речь, казалось бы, идет только о сложности установления коммуникации, приправленной такой странноватой экзистенциальной иронией – изобретателю телефона его собственное изобретение для общения с самыми близкими людьми вовсе не нужно. Выходит, что изобретение делается как бы ради самого изобретения, оно не утилитарно и тем самым напоминает «чистое» искусство. Проблема коммуникации получает иную трактовку в основной части стихотворения. Здесь уже оказывается, что человек одинок не только среди людей, но и наедине с самим собой – «внутри любой комнаты тела», он не идентичен самому себе и должен постоянно восстанавливать разрушающиеся внутренние связи. Точно так же, предполагает поэт, и Александр Белл пытался придумать прибор, помогающий общению – в первую очередь с близкими людьми, которые «почти-я», то есть, по большому счету, тоже во многом являются частью собственной личности. Но приборы здесь не помогают, и человеку остается только чувство. При этом в последней строке стихотворения возникает еще дополнительное напряжение между отчасти семантически сходными глаголами «чувствовать» и «чуять», которые читатель уже на свое усмотрение может развести на две полярные точки – «ощущать физически» и «понимать чутьем» или же посчитать второй глагол сниженным вариантом первого. Александр Белл придумал прибор, бесполезный в общении с его собственными родственниками, но вполне полезный герою стихотворения, который, тем не менее, этой телефонной связью не пользуется – вероятно, именно по той же причине невозможности подлинного коммуникативного контакта. Фактически в этом стихотворении Сен-Сеньков демонстрирует нам полную разобщенность, отчужденность людей и друг от друга, и от самих себя, которую нельзя преодолеть никакими техническими усовершенствованиями.

Или вот еще одно стихотворение:

Муратова

бог сегодня занят
бог разнашивает новую обувь
ходя в ней по квартире плохо
написанного романа воспитания

где-то ближе к концу
есть строчка
оторванные женские ноги больше
не строят глазки

Как и в процитированном выше стихотворении, здесь очень важную смысловую задачу выполняет заглавие, концентрирующее в себе практически бесконечное количество значений – в том числе и визуальных. Стихотворение написано как бы на фоне всей фильмографии Киры Муратовой, кроме того, оно отсылает читателя непосредственно к ее личности и к творческому методу (пожалуй, более поздних фильмов). Строчка «бог сегодня занят» намекает на богооставленность мира и опять-таки на отчуждение и разобщенность, которые очень точно и подробно передаются в последних фильмах Киры Муратовой. Далее развивается линия сопоставления бог-автор/мир-текст. В варианте Сен-Сенькова мир оказывается «плохо написанным романом воспитания». Это толкование напоминает гностические трактовки мифа о сотворении мира: бессильный бог создал несовершенный мир,

бездарный автор написал плохой роман. Казалось бы, есть какая-то надежда в том, что это не просто роман, а роман воспитания, то есть что истории человечества все-таки свойственно движение к прогрессу. Однако завершение стихотворения полностью разрушает какие-либо надежды. Пессимизм Киры Муратовой накладывается на собственное трагическое мироощущение Андрея Сен-Сенькова, и этот двойной эффект в сочетании с последней фразой – «оторванные женские ноги больше не строят глазки» – производит впечатление полного отчаяния и безнадежности. Именно это, как мне кажется, и позволяет поэту создать в своем стихотворении пограничную ситуацию, в которую неизбежно попадает каждый из его внимательных читателей.

Интересно также и то, что в творчестве Сен-Сенькова довольно много сентиментальности – он жалеет абсолютно всех, в том числе даже и убийц, но эта жалость носит самый общий характер. Этого поэта ни в коем случае нельзя назвать «гуманным», так как человек вовсе не является центром и смыслом его художественного мира. В этом, кстати, Сен-Сеньков напоминает ребенка (именно отсюда может происходить невольная «детская» жестокость, постоянное использование приема олицетворения и стихийный пантеизм) или же человека эпохи позднего средневековья, когда смысловой центр культуры еще не переместился от уходящей в трансцендентное иерархической вертикали к активно познающей мир человеческой личности. И с этой точки зрения используемая поэтом форма каталога оказывается далеко не случайной – она прямо и непосредственно связана с представленной в его стихах антропологической концепцией. В то же время, как мы видели на конкретных примерах, не сосредотачиваясь ни на человеке вообще, ни на собственной личности, поэт Сен-Сеньков рассматривает предметы и явления исключительно через призму индивидуального культурного опыта. И вот тут уже его позиция и достигаемые им впечатляющие художественные результаты оказываются вполне соотносимыми с литературой экзистенциализма. Именно это любопытное и, как выясняется, весьма перспективное сочетание и сделало, на мой взгляд, Андрея Сен-Сенькова одним из самых заметных поэтов своего поколения.

Екатерина ДАЙС

ОРФЕЙ В МЕТРО

Николай Звягинцев. Туц. – М.: Новое издательство, 2008. – 68 с. – (Новая серия)

Неправильные пчелы. Запись в Живом Журнале Николая Звягинцева от 06.05.2010. // http://zvyagintsev.livejournal.com/24538.html

В 1990-х Николай Звягинцев вместе с Андреем Поляковым, Игорем Сидом, Михаилом Лаптевым и Марией Максимовой входил в крымско-московскую поэтическую группу «Полуостров». Объединение пяти поэтов в группу объяснялось ими самими через взаимодополнительность основных природных стихий: воды, воздуха, земли, огня и эфира.[1] Николаю Звягинцеву в этой пятерке элементов соответствовал «воздух». Насколько поэзия Звягинцева воздушна, не нам судить, но скорее в его стихотворениях можно найти такой же невидимый, но значительный элемент человеческой жизни, как время.

Легкость времени и плотность пространства гармонично сочетаются в лирике поэта, создавая уникальную ткань стихотворения, в котором архитектура (Звягинцев по профессии архитектор) начинает играть роль музыки. Удивительная синестезия, присущая текстам поэта, невольно заставляет вспомнить об известной максиме Шеллинга «Архитектура – это застывшая музыка».

1.

Орфей – архетипический певец и музыкант, основатель древних мистерий. Согласно легенде, Аполлон подарил ему

[1] *Дайс Екатерина. Культуртрегеры и трикстеры начала века. http://www.polutona.ru/?show=reflect&id=307*

магическую лиру, игра на которой влияла на лесных животных и растения. «Когда он трогал струны, вокруг него собирались птицы и звери, и, когда он следовал по лесу, даже могучие деревья выдирали свои корни из земли и шли за ним».[1] Согласно М. Элиаде, «как и шаманы, он одновременно целитель и музыкант; он завораживает и укрощает диких зверей».[2]

Гете представляет Орфея, играющего на лире, чьи звуки обладают «телекинетическими возможностями. Камни, перемещаемые звуками прекрасной музыки, образуют у него прекрасное здание». [3]

Позволим себе заметить, что лира Орфея по-разному действовала на диких животных и деревья с камнями. Первых она заставляла замирать, в то время как вторые, напротив, начинали двигаться. То есть подвижных охватывало онемение, а изначально лишенных способности передвигаться – несвойственная им прыть. Эти два разнонаправленных эффекта свойственны состоянию кататонии – или двигательного расстройства, характерного для шизофрении.[4] Кататония бывает именно двух противоположных типов: для первого характерно возбуждение и чрезмерная двигательная активность, для второго – практически полное онемение, обездвиженность и отказ от речи. Кататоники второго типа отчасти напоминают статуи: принимая определенную, зачастую не слишком удобную позу, они застывают в ней, отказываясь менять положение тела; это может продолжаться часами.

2.

Согласно Грегори Бейтсону, кататония – это один из способов психологической защиты организма, попадающего в невыносимые жизненные обстоятельства.[5] Согласно Вадиму Рудневу, она – своеобразный язык: «Нам могут возразить, что есть такие формы психических заболеваний, как кататония или истерический мутизм, офония, при которых вообще никаких высказываний не произносится, и при этом мы с легкостью диагностируем эти состояния как психическую патологию. Но говоря так, мы находимся в плену вербально-семиотических представлений. Танцующая балерина тоже ничего не говорит, однако существует такое понятие, как язык балета. Тот факт, что человек застыл в неподвижности – такой же текст, как если бы он повторял, что он вице-король Индии. Язык кататонии – такой же развитый семиотический язык, как и язык балета».[6]

В искусстве кататонические мотивы связаны с изображением статуй в кино, яркий пример этого – фильм С. Дали и Л. Бунюэля «Золотой век»[7] или в поэзии, вспомним «Медного всадника» А.С. Пушкина. Теоретически можно представить себе поэта, все творчество которого было бы пронизано кататоническими мотивами.

Николай Звягинцев приближается именно к этому, особенно в своем знаменитом цикле «Метро», где само нахождение человека внутри огромной глыбы мрамора, какой по сути дела и является московская подземка – передает внутренний мир кататоника особенно ярко.

Надо заметить, что этот цикл зарождался у Звягинцева довольно давно. Фактически к нему примыкают и четыре относительно ранних стихотворения («Маяковская-1», «...-2», «...-3» и «Подземная Оксана») начала или середины 1990-х.

Лирический герой стихотворения «Маяковская-3» прямыми словами говорит о своем кататоническом состоянии:

А то я на этой станции единственный

[1] *Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – М.: Эксмо, 2003. С. 98.*

[2] *Элиаде Мирча. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. – М.: Академический проект, 2009. С.206.*

[3] *Галеев Б.М. О романтической синестезии «музыка-архитектура»: от Шеллинга до Гете и далее без остановок // http://synesthesia.prometheus.kai.ru/rm-sinest_r.htm#1 ; Также см.: Музыкальная эстетика Германии, в 2 т. – М.: Музыка, 1981.*

[4] *Согласно немецкому психиатру Э.Крепелину.*

[5] *Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. Пер. с англ. – М.: Смысл, 2000.*

[6] *Руднев В. Философия языка и семиотика безумия: Избранные работы. – М.: Территория будущего, 2007. С. 26.*

[7] *Руднев В. Золотой век // Руднев В. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 2009. С.137.*

манекен.

В автокомментарии к «Маяковской-3» Звягинцев говорит: «“Семеновская” давит поегипетски, “Комсомольская” кольцевая превращает человека в плевок, “Красносельская” создает физическое ощущение неуюта. “Маяковская” декларирует гармонию; пространства ровно столько, сколько надо. Сколько, собственно, его надо? Никто не знает, но все видят, когда его много или мало. Советский архитектор Буров заметил, что если зодчий желает, чтобы живущий в доме человек почувствовал себя сукиным сыном, надо всего-то сделать лестничные ступени высотой 12 сантиметров. Это как по шпалам ходить, ха-ха. А у Парфенона высота ступенек – 18 сантиметров, человеку сложно, он пришел в гости к необычайно высокому богу».[1]

Обратим внимание на сравнения, ведущие от метро – через дом – к храму, в каком-то смысле уравнивающие эти три типа сооружений, и позволяющие задуматься о том, не является ли метро для поэта своеобразным «подземным храмом»?

3.

«Подземная Оксана» – еще одно стихотворение, предваряющее цикл «Метро». Речь в нем идет о продавщице из подземного перехода под Пушкинской площадью, систематизирующей пешеходов и пассажиров по отличительным признакам: одежде, обуви, прическам, перчаткам, сумкам. Этот текст, перегруженный бытовыми и прозаическими деталями, внезапно обрывается четверостишием:

Или проходит сквозь них, как Орфей
В исполнении Жана Маре через зеркало
проходил,
Или останется, как Иона, во чреве кита.
(В этом эпизоде Иона играл себя самого.)

Очевидно, что Иона в данном контексте упоминается из-за распространенного сопоставления трехдневного пребывания пророка Ионы во чреве китовом и трехдневного пребывания Иисуса Христа под землей. Орфей же проходит через зеркало в одноименном фильме Жана Кокто, находясь в замке Смерти. Таким образом, последнее четверостишие уподобляет метро подземному миру, царству мертвых, причем это делается достаточно откровенно и с использованием двух мифологических персонажей.

Подземная Оксана выполняет в данном контексте функцию Персефоны/Эвридики (эти два персонажа в древнегреческих мистериях играли близкие роли). Поэт, входящий в метро и созерцающий его – уподобляется Орфею, спускающемуся за женой во владения Аида.

Подобные мотивы мы встречаем и у известного музыканта и поэта Вилли Брайнина-Пассека в тексте 1977 года: «Бедняжечка Орфей, приятель замогильный,/сегодня совершит волнующий круиз:/о тени вспомнив вновь и смрад автомобильный/глотнув, *сойдет с ума* (*курсив мой – Е.Д.*) и устремится вниз./Он спустится в метро – в стигийскую воронку...»[2]

Метро как ад, как подземное царство – один из топосов современной городской мифологии. Достаточно вспомнить публикации в желтой прессе начала 1990-х, связанные с апокалиптическим нашествием в московскую подземку гигантских крыс (отраженные, в частности, в романе Юрия Андруховича «Московиада») или одно из назначений метро как бомбоубежища в случае атомной войны, неизбежно превращающее его в подобие ада, или, опять же, реальное метро в час пик...

«...Возьмем теперь с точки зрения метрополитена. Он всегда привлекал меня своей дикой апокалиптичностью. В таких вагонах я возил бы грешников в ад. Привлекало все, начиная с пропускных турникетов, ужасающих своим металлическим автоматизмом, нескончаемых эсхатологических эскалаторов с зафиксированными фигурами кататоников или вечно убегающими силуэтами параноиков...»[3] – пророчески пишет Юрий Андрухович в «Московиаде», словно бы предвещая изысканную

[1] *Звягинцев Н. Маяковская-3// НЛО, 2003 N62 / http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/zviag.html*

[2] *Брайнин-Пассек В. Бедняжечка Орфей, приятель замогильный... // Брайнин-Пассек В. К нежной варварской речи. – Спб.: Алетейя, 2010. С.79.*

[3] *Андрухович Ю. Московиада. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. Пер. с укр. С. 159.*

звягинцевскую поэтику подземного царства.

Орфей, лирический герой Николая Звягинцева, спускается в метро. И что же он там делает? Поэт начинает создавать топографию метро, подобно тому, как Данте создавал топографию Ада, Чистилища и Рая (ад, заметим, получился намного более запоминающимся). В этом поэту помогали некрещеный предшественник Вергилий и умершая возлюбленная, Беатриче, идеальная по средневековым и трубадурским понятиям Эвридика. [1]

Топография метро, представленная поэтом, в конечном счете восходит к шаманской топографии подземного и небесного мира, добываемой в состоянии экстаза. Связь образа Орфея и традиционного шамана прослеживается также и в связи с бисексуальностью (шаманы принимают противоположный к духу-помощнику пол; Орфей после смерти жены отказывал женщинам, за что и был, в сущности, растерзан на части).[2]

Цикл «Метро» Николая Звягинцева состоит из 12 стихотворений. Первое из них, «Царицыно», возможно, отсылает к Персефоне как к царице мертвых. В нем сочетается грубая простонародная лексика, пошлая реальность и отсылка к иному миру, в частности, к миру картины Жана Кокто «Орфей», где герои проходят сквозь зеркало, попадая в другое измерение и идя против времени:[3]

Как через зеркало, прохожий
Сквозь Катерину пробежал.

Причем требование героини к некоему Грише купить ей мобильник (вероятно, здесь имеются в виду Екатерина II и ее морганатический супруг Григорий Потемкин, в честь любовной истории с которым и было основана усадьба «Царицыно») в контексте данного стихотворения означает призыв попасть в другое пространственное измерение. Телефон, согласно В. Рудневу, изменяет прагматику пространства, нарушая логические связи между «здесь» и «там», сближает людей, находящихся в разных местах, создавая иллюзию разговора «через стенку», в то время, как абоненты могут находиться на разных континентах .[4]

4.

Стихотворение «“Бауманская”. Единственный выход» – контаминация из известных русских и западных произведений художественной культуры, среди которых можно назвать стихотворение «Я памятник себе возвиг нерукотворный...» А.С. Пушкина, пьесу Т. Уильямса «Трамвай “Желание”», по которой был снят одноименный фильм с Вивьен Ли и Марлоном Брандо в главных ролях, роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», анимационный сериал “The South Park” с его постоянным рефреном «Сволочи! Они убили Кенни», ставшим одной из идиом современной массовой культуры. А также песни «Элис» русской рок-группы «Конец фильма» и композиции «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Три последние строчки текста – практически центон, склеенный вокруг образа непонятной, неведомой смерти, которая влечет за собой глобальные последствия (случайное убийство Баумана солдатом было истолковано большевиками как происки кровавого царистского режима и стало одной из бифуркационных точек в межреволюционный период).

И все-таки, зачем они убили Баумана?
А мы с такими рожами возьмем да и
припремся к Бауману?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили Баумана.

Николай Бауман, тезка поэта, становится той невинной жертвой, Эвридикой, смерть которой влечет за собой непредсказуемые последствия (спуск в Аид).

Стихотворение «“Дубровка”. Выход к Шарикоподшипниковской улице», как уже отмечалось , построено на ироническом противоречии между реалиями детского фэнтези (книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и принц-полукровка») и особенностями воинского призыва, в частности, бритье головы, медицинском осмотре, броме, добавляемом в солдатский чай для снижения полового влечения:

[1] Потому что была чужой женой, т.е. недоступной и отдаленной в пространстве Прекрасной дамой как, впрочем, судя по всему, и прототип «подземной Оксаны», крымской знакомой поэта.

[2] Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – М.: Прогресс, 1992.

[3] Руднев В. Орфей // Руднев В. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 2009. С. 290.

[4] Руднев В. Телефон // Там же. С. 437.

На Угрешской улице (это «Дубровка»)
Один вошедший принц-полукровка
В толпе щенков и птичек дворовых
Лишился волосяного покрова,
Напился брома со вкусом чая,
Увидел мешок у себя за плечами
И толстую Родину в центре зала.
И тут она ему и сказала...

Хочется добавить, что ситуация обривания головы и процесс «перехода» юноши в солдата может быть рассмотрена как чисто инициационная, а предполагаемый принцем инцест с Родиной (Великой богиней) – по сути, характерный для многих мифов инцест культурного героя. Эдип, к примеру, был известен еще и как основатель города Фивы, а не только как носитель соответствующего комплекса.

Последнее стихотворение цикла – пронзительное и страшное, связано с московской топографией. Судя по-всему, в тексте «"Кузнецкий Мост". Выход к улице Рождественка» описывается знаменитый в 1990-х клуб «Голодная утка», куда до часу ночи пускали только девушек, которые устраивали танцы на барных стойках. В контексте орфического мифа Николая Звягинцева эти горячие московские студентки – менады, среди которых лирический герой не видит своей Эвридики:

Мои сверстники не танцуют,
А девушки гораздо моложе
Забираются на высокую стойку,
Сумочки снимают последними.
Они знают, что освещение
Прозрачным делает белое,
Что чаще бретельки падают,
Чем ранние кавалеры.
Они, наверное, правы,
Но я, выходя из метро,
Вижу, что все чужие,
Т е б я с р е д и н и х н е т.

Итак, путешествие по метро как по подземному царству окончилось, как и в мифе, провалом. Но поэт не отчаивается и предпринимает еще одну попытку. Он пишет цикл «Гипсовые головы», что соотносится с последним этапом мифа об Орфее. Как известно, менады, разорвав тело певца на части, голову его бросили в реку Гебр. Согласно мифу, голова Орфея плыла и пела, а потом была подобрана на острове Лесбос поэтессой Сафо. Головы у Звягинцева – это античные слепки, которые рисуют студенты-архитекторы во время экзаменов. Но поскольку традиционно голов шесть, седьмая добавлена Звягинцевым из окружающего пространства – это голова Курчатова, стоящая напротив института ядерной физики. Таким образом число голов соответсвует числу струн на лире Орфея, в древности считавшихся семью божественными истинами.[1]

5.

Поэзия Николая Звягинцева – идеальный объект для анализа по В.П. Рудневу. Так, даже в стихотворении «Апоксиомен. Неуверенность» из цикла «Гипсовые головы» упоминается Винни-Пух и приводятся слова из его песни, правда, в переводе Б. Заходера. Винни-Пух, этот поэт Зачарованного Леса, уподобляется Рудневым солнцу русской поэзии: «В сущности, *Пух* – это *Пушкин*», пишет философ в предисловии к своему переводу этого текста.[2] Пух как архетипический поэт любит мед и пытается похитить его у пчел, подобно Одину. Поедая мед, Пух становится поэтом-шаманом, поэтом-Орфеем. Недаром Илья Кукулин в своей рецензии на книгу Александра Левина «Орфей необязательный» словно бы неосознанно упоминает рудневского Винни: «Детская игра с языком может стать метафорой работы взрослого лингвиста. Философ Вадим Руднев интерпретировал "Винни-Пуха" в контексте аналитической философии, исследуя языковые конструкции. Может быть, первоначально он был вдохновлен не английским текстом, а поразительным русским переложением Бориса Заходера. Отвлекаясь от Руднева: заходеровский Винни-Пух все-таки не лингвист, а поэт, бескорыстный, смешной и находящийся в отношениях нежного взаимного доверия с языком».[3]

[1] *Холл Мэнли П. Указ. соч. С. 100.*
[2] *Милн А.А. Дом в медвежьем углу. Пер. С англ. Т.А. Михайловой и В.П. Руднева. – М.: Аграф, 2000.*
[3] *Кукулин И. Побег счета из коробки. // Знамя. 2002, №8. / http://magazines.russ.ru/znamia/2002/8/kuk.html*

Уподобляя Пуха Пушкину, в предисловии к книге о живущих в лесу игрушечных зверях, являющихся воплощениями определенных характеров, В.П. Руднев называет их обоих сангвиниками. Насколько нам известно, в настоящее время философ работает на текстом о Пушкине как шизофренике, что позволяет пересмотреть наше восприятие Винни-Пуха.

Только твой соперник – никогда не будет
Он тебя расспрашивать, по крайней мере вслух,
Все ли, когда падают, радостные люди,
Как парашютисты или Вини-Пух.

И – поехали:

Остання неможлива спілка,
Непарный стираный носок.
А в голове моей опилки,
А в голове моей песок,

– пишет Николай Звягинцев, акцентируя момент падения Пуха с воздушного шара во время добывания меда из древесного дупла.

6.

Вообще животные в лирике Звягинцева – это отдельная тема, достаточно только сказать, что одно из последних стихотворений Звягинцева, опубликованных в его Живом Журнале, называется «Неправильные пчелы» и посвящено тому же самому эпизоду падения Винни-Пуха:

Пока не дышат судьба и почва:
Шарик – это воздушная кочка,
А ты летишь в воздушную яму,
Вокруг тебя уже рвут баяны.
Твой был самый красивый баян.
И самая первая яма – твоя.

На единственном «аватаре» в ЖЖ Звягинцева изображен барсук – судя по-всему, своеобразный тотем поэта, своеобразный Винни-Пух, который тоже хочет летать:

Хозяйке снится – он летает,
Что крылья есть у барсука,
Что жизнь, монетка золотая,
Являет солнышку бока...

Лети, барсук, веселой свечкой,
Мне тоже будет восемь лет,
Поскольку нет на небе встречной
И разделительной там нет.

И вот все эти звери – барсуки, медведи, шиншиллы, мыши, кошки и рыбы, их когти, усы и лапы, их мех, чешуя и хвосты, – у Звягинцева сочетаются с архитектурными ансамблями, застывшим мрамором станций метро и гипсом статуй. Зачаровывая зверей, поэт заставляет камни складываться в здания, замирая от красоты, но не переставая петь.

Ужас смерти, скрыто присутствующий в лирике Николая Звягинцева, отрицание Танатоса, превращается в простейшую формулу: «Если ты не можешь бить или бежать, притворись мертвым». Кататония – это прямой ответ Орфея, сталкивающегося со смертельной опасностью. Герои Звягинцева притворяются спящими, когда на них смотрит Смерть:

Уснули в Харькове перед югом
Моя лиса, ее проводник.

Таким образом, человек в лирике Звягинцева постоянно мимикрирует под магическое животное, неподвластное смерти: под плюшевого медведя, кошку с семью жизнями, лису-оборотня. Во что бы то ни стало обмануть природный закон, приняв другую оболочку, почувствовав себя барсуком, белкой, ягуаром. Испытать древний метемпсихоз, летать в облаках сизым орлом, бегать по стволу дерева, рыскать волком. Поэтика Звягинцева по сути близка к шаманским практикам превращений в зверей и к древнегреческим мистериям. Не человек, а бог, воздвигающий холодные каменные глыбы, или пушистый зверь, добывающий мед или прячущий золотой орешек – настоящий герой его волшебной лирики.

Алексей КОЛОБРОДОВ

ВРЕМЯ ПРИЛЕПИНА

Захар Прилепин. Леонид Леонов. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 608 с. – (Жизнь замечательных людей).

Я сразу отнесся к этому парню с большим интересом и в рекордные сроки сделался горячим его почитателем.

Однако медийная визитка «писатель Захар Прилепин» долго смущала.

Причина, понятно, здесь не в Захаре, а во мне. Еще – в Льве Толстом и Александре Генисе.

Для меня он стал писателем после книжки пацанских рассказов «Ботинки, полные горячей водкой» (как многие снобы, я считаю, что хороших романов в России немало, а вот с качественной русской новеллистикой хуже; впрочем, это вопрос не к писателям, а к издателям). После эссе о Юлиане Семенове, Проханове и великолепном Мариенгофе (и вообще обеих книжек эссеистики). Плюс «Именины сердца».

Окончательно же утвердился он для меня в писательском статусе и звании после выхода биографии Леонида Леонова в молодогвардейской серии ЖЗЛ.

Для окололитературного трутня типа вашего покорного слуги (собственные проявления на художественной поляне малы по объему и неубедительны) звание русского писателя почти сакрально. То самое ленинское, честное, анкетное «литератор» – кажется ближе. А до писателя расти и расти. Хотя бы бородой.

Некогда я прочитал в одном местном совписовском издании (альманахе Саратовского отделения Союза писателей России, и назвался он то ли «Литературный Саратов», то ли, в инверсию, «Саратов литературный») поздравления какому-то тамошнему начальнику с 60-летием.

Коллеги писали что-то типа: уж сколько лет мы вместе ходим писательскими тропами!.. Эти «писательские тропы» меня, помню, страшно развеселили, а потом озадачили: что и где это – писательские тропы? Именно на них принимают в писатели? Или допускают к ним уже принятых?

Забавно, что в прилепинской книге о Леонове я встретил старых знакомых – «писательские тропы». В виде подписей к фотографиям: «за писательскими разговорами», «писательский отдых в Крыму»... Видимо, полноценно став писателем, Захар продолжает полагать статус сакральным, то есть, по-русски, слегка вышучивать. А, может, это не он, а молодогвардейские издатели.

...Когда пошли разговоры о Прилепине, я зачислил его по разряду экологических ниш. Нацбольский писатель, почему нет, прикольно... Как у Аксенова в «Острове Крым»: «Есть уже интересные писатели яки, один из них он сам, писатель Тон Луч»...

А Захар работал, и демонстрировал все с точностью до наоборот: не изоляцию, но экспансию. Знание 14-ти ремесел, как один известный русский царь. Оказалось, что он умеет в литературе почти все. Ну, или очень многое.

Вместе с тем, общеизвестно: еще Лев Толстой сетовал, как нелепо начинать чистую страницу судьбой некоего придуманного героя, который встает с кровати и подходит к зеркалу. Александр Генис дал имя этому типу – в эссе «Иван Петрович умер» и почему-то решил, что старая идея Льва Николаевича стала особенно актуальна после августа 1991 года.

На самом деле, это все издержки русского литературоцентризма, действительно, бессмысленного и беспощадного. Она, литература, в России такая – ты ее в дверь, она в окно, и обличья на ходу меняет, и подметки рвет с репутациями вместе. А иные репутации восстанавливает.

Нон-фикш не только уравняли в правах с художественной литературой, но и писателям маякнули определиться, кто более матери-истории ценен.

Но Прилепину и этого оказалось мало: он, помимо литературы, занимается журналистикой, культуртрегерствует, активен в ЖЖ-сообществе и вообще Сети, выступает собирателем и каталогизатором собственного литературного поколения, подводит под него идейную базу вкупе с историческим фундаментом.

Аналогия с Максимом Горьким напраши-

вается сама собой. Не я ее придумал – предложили некоторые критики, правда, в узком случае «Саньки».

«Даже в уголку, вишь, (...), сочинитель сидит, на манер Максима Горького» – это уже из Леонида Леонова, «Вор».

Подозреваю, кстати, что к литературному наследию Алексея Максимыча Захар, скорее, равнодушен.

Из современников Прилепину ближе всего Дмитрий Быков (кстати, автор хорошей книги о Горьком) – именно как литератор-многостаночник, единомышленник в плане идей и репутаций, распахнутого восприятия реальности. Но у Захара куда более яростный темперамент, он обладает цельным мировоззрением, в отличие от Быкова, которому хороший, но нетвердый вкус его заменяет. Ни в коей мере не пытаюсь противопоставить друг другу двух отличных авторов, да и вряд ли это у кого-нибудь получилось бы. Дело в другом: именно Быков вдохновил Прилепина на ЖЗЛ Леонида Леонова. То есть направил коллегу в нон-фикшн, в биографы. «А поди-ка попляши». Любопытно, что сам Дмитрий Львович писательский статус всячески высмеивает, и гордо именует себя журналистом.

1.

Можно было бы ограничиться рецензией на одну эту выдающуюся книжку, но тогда пришлось бы писать о Леонове. А я замахнулся на «время Прилепина», и в свежей ЖЗЛ, на мой взгляд, оно тикает громче и выпирает силовыми линиями круче, чем в прежних его вещах.

«Игра его была огромна» – взятая в подзаголовок биографии фраза Леонова сейчас в равной степени относится и к Захару. Его идеям, претензиям и амбициям. На фоне нашего времени, естественно – с мелкими его людьми и коротенькими, как у Буратино, мыслями.

2.

Вернуть странного автора Леонида Леонова (само имя которого звучит как палиндром «Сын Льва Львов сын» – что-то такое) в сегодняшний широкий читательский оборот – из этих амбиций основная, но не главная.

Но! Едва узнав, что Прилепин пишет о Леонове для ЖЗЛ, я взялся читать Леонида Максимовича. Увы и да, именно читать, а не перечитывать. Благо, имелся девятитомник, издания Худлита, 1962 года, в свое время подаренный мне Сергеем Боровиковым. Сергей Григорьевич тогда переезжал на новую квартиру и отказывался от лишних книг. Я же, по своей книжной жадности да из уважения к старшему товарищу, отказаться не смог, хотя и умаялся, тащивши. Но девятитомник-то я взял, а вот о самом Леонове, помимо набора либеральных клише (у Захара – «совпис, многократный лауреат, орденоносец, «Русский лес» и что-то там еще...»), знал мало. Запомнилась фраза самого Боровикова о «хитром словесном механике» да эссе Бориса Парамонова «Гибель Егорушки» – как часто у него, забавное, но поверхностное и нахальное.

Словом, Захар мне Леонова открыл, хотя многих его оценок я пока, в процессе, и не разделяю. Но, может, потому, что в моем девятитомнике нет «Пирамиды»?..

Писательская биография – всегда биография литературная, тем паче, что жизнь Леонида Леонова, после 22 лет, с тех пор, как он сделался профессиональным литератором, была не слишком богата внешними событиями. Леонид Максимович – не глубоко почитаемый им Достоевский и не Лимонов, глубоко почитаемый Прилепиным.

(Эдуард Лимонов и Захар Прилепин – отдельная тема, как-нибудь потом).

Биограф, однако, настаивает, что внешняя жизнь Леонова неотделима от его литературы, именно юность писателя и Гражданская война (с короткой службой в белогвардейцах и под англичанами в Архангельске перед поступлением в Красную Армию), леоновскую литературу сделала и определила. Ее драматизм, психологизм, подпольное сознание ряда персонажей, нерв, язык и героев. Вернее, классификацию этих героев строго по парам, которая есть не что иное, как внутренняя раздвоенность самого автора.

Достоевский был для Леонида Леонова не только литературным учителем, но спутником-мучителем, состоявшейся моделью писательского поведения, вечным сталкером по мрачной вселенной подпольного сознания.

Впрочем, Леонов каторги избежал, хотя несколько раз бывал на волоске.

Идейно-философскую полифонию Федора Михайловича Леонов поместил в прокрустово ложе соцреализма. Снабдив отрицательных героев не только фрагментами своей биографии, но и собственными мыслями. Точнее, образом мышления и его направлением. Прилепин настаивает: Леонов здесь был первооткрывателем, и логика кривого зеркала работала множество лет, сформировав даже не целый жанр, а тип искусства.

И, возможно, многому, что есть хорошего в нашем поколении, мы обязаны именно доказательствам «от противных». Положительных выслушивали, как школьных учителей – вполуха, и потому, что никуда не денешься. Учились – у отрицательных. Там было, что послушать и чему подражать. Белогвардейцев, уголовников, философствующих алкашей и даже шпионов с любовью вытачивали писатели, с наслаждением играли актеры, и бережно увековечивал фольклор.

Чтобы не брать хрестоматийные «Семнадцать мгновений весны» с лихим шабашем отрицательных героев-симпатяг, напомню другой народный сериал. На цитаты разлетелось примерно одинаковое количество афоризмов Жеглова и Горбатого (оба, в разной степени, отрицательны, хотя первый, скорее, по задумке бр. Вайнеров, но не Говорухина). А кто помнит высказывания Шарапова? Разве когда он в обличье отрицательного, по ходу спецоперации.

Другое дело, что Прилепин немного пережимает с белогвардейским ключом к биографии классика, приближаясь к границам интеллектуальной спекуляции в духе Синявского-Терца («Пушкин – вор»). Или структуралиста Игоря Смирнова, выводящего генезис творчества Иосифа Бродского из преступления. Все это забавно, дизайнерски, но при разговоре о столь масштабных художниках обедняет картину, переводит ее в черно-белый регистр.

Как будто, по примеру некоторых русских поэтов, Леонов обзавелся не Черным, но Белым человеком. Однако, в отличие от Есенина, отношения у них сложились вполне конструктивные. В моменты творчества Леонид Максимович приглашал Белого к столу. А когда обоими вдруг начинало интересоваться государство (или ощущалось, что вот-вот заинтересуется) писатель прятал вечного спутника под замок в амбар. Как дезертира в прифронтовой деревне.

Да, для самого классика, к тому же еще сделавшего политически пикантный эпизод вечным двигателем собственного творчества, все это естественно. Даже когда времена смягчаются, опасность разоблачения отступает, архивы подчищены, он возвращается к теме, трогает и расчесывает любимую болячку. Чисто урка, доводящий себя до истерики по мелкому поводу – неважно, функционален припадок или затеян ради искусства. Это уже модель поведения.

Леонов хулиганил масштабно – не только историю службы у белых, но и географию обозначал, однако ведь и логика сталинских расправ в 30-е далеко отошла от классового принципа «свой – чужой» первых лет революции...

Однако исследователь не может не знать: у каждого второго из советских писателей, включая самых крупных, имелся в биографии если не прямой политический криминал, то известное количество белых пятен. Которые при желании могли стать и топливом для творчества, и материалом дела.

Захар справедливо пишет о белогвардейском в прошлом прапорщике Евгении Шварце, но почему-то не упоминает о куда более красноречивом эпизоде в биографии Валентина Катаева – многолетнего леоновского соперника и недоброжелателя. Дворянин, офицер, Георгиевский кавалер, побывавший в Гражданскую в застенках ЧК – мотивы эти полновесно звучат в поздних мовистских повестях «Трава забвения» и «Уже написан Вертер».

«Нынче все не без пятнышка, Зоя. Только одни таскают на плечах, другие прячут за пазухой...» – говорит мать дочери в леоновской пьесе «Метель».

3.

Куда более мощно заявлена другая жизненная линия – история негромкого бытового мужества, сохранения собственного достоинства, нежелания спекулировать внелитературными обстоятельствами. Как в железные времена, так и в те, где от железа остается лишь кислый запах.

Прилепин сознательно не педалирует эту линию, не возводит ее в концептуальный ранг

«белогвардейского ключа», поскольку материал тут говорит сам за себя.

Страницы о поздних 30-х – самые сильные в книге, читаются с немеханическим увлечением и горловой сухостью. Все знаменитые процессы сопровождались, как в античной трагедии, хором, причем писательским, как будто Сталин и затеял в 1934 году Союз писателей для шумового сопровождения чисток в высших эшелонах... Статьи-вопли с людоедскими призывами, кликушество, расстрельные диагнозы, под ними подписи мастеров слова... Нельзя сказать, что мы этого раньше не знали, но мастерство Захара таково: ты представляешь конвейер, по полотну которого ползет человечья расчлененка вперемежку с клочьями растерзанных душ.

Леонид Леонов, такой, по позднейшему общему мнению, совсем советский, практически не участвовал в этой вакханалии самоистребления. Из него, в 30-х сильно потерявшего в статусе, то и дело склоняемого, неблагонадежного, тогда клещами вытащили всего пару реплик-подписей в общий хор, что на фоне регулярных сольных выступлений многих коллег-попутчиков выглядело едва ли не крамолой. По малости, дискретности участия в общем хоре тут с Леоновым сопоставим только Пастернак. Кстати, под письмом с требованием расправы над подсудимыми по делу «военных» (Тухачевский и Ко) подписи Леонова, Пастернака и Шолохова появились без их согласия.

А еще раньше, Леонов, приглашенный Горьким в составе большой писательской группы побывать на Беломорканале, в поездке поучаствовал, но по результатам ничего не написал. «Не дал», как тогда говорилось.

Вообще Прилепин, никак этого не обозначая, вдребезги разбивает либеральный литературный миф. О жертвах «постановлений», гонений и пр.

Гамбургский счет у нас вообще не в моде, но если разобраться, и тут игра будет огромна. По тем же постановлениям в лидерах окажутся не Ахматова и Зощенко, но вовсе даже Демьян Бедный, имевший два именных постановления от высших партийных органов. Более-менее известен разнос с последующим запретом (постановлением Политбюро!) оперы «Богатыри» по либретто Бедного. И совсем мало помнят отповедь Сталина (с постановлением секретариата ЦК) фельетонам Демьяна «Без пощады» и «Слезай с печки». Плюс в конце 30-х бедолагу и вовсе вычистили из партии.

Имел свое именное постановление с запретом пьесы «Метель» и Леонид Леонов.

Статьи «Сумбур вместо музыки» или, скажем, «Внешний блеск и фальшивое содержание» до сих пор на слуху, однако каждый крупный художник тогда мог продемонстрировать десятки подобных в собственный адрес, хотя, конечно, не все печатались в «Правде» и были прямым руководством к травле и запрету. Леонов имел свое портфолио, поувесистей многих.

Все помнят, что Сталин звонил Булгакову и Пастернаку, но был звонок вождя и Леонову.

И т. д.

Дело тут не в подсчете трудодней в расстрельные годы и оплеух от власти, а в ущербности мифологического сознания. Сложись чуть по-другому пасьянсы, и Леонов сегодня бы значился в либеральном иконостасе пониже Ахматовой, повыше Бабеля. Собственно, Захар, вполне по-борхесовски, предлагает поиграть в этот сад расходящейся дроби. Вот случись, скажем, исчезновение Леонида Максимовича в конце 30-х... Когда за плечами у писателя тексты далеко не ортодоксальные, ранняя почти мировая слава и, да, травля, переводящая в небытие...

Альтернативной историей Прилепин, впрочем, не дает себе увлечься. Все это интересно и даже захватывающе, но цель его – дискредитация мифа, а не создание нового.

Другое дело, что мифологическое сознание цепко, и не отпускает до конца даже людей, свободных от него не только внешне, но и пытающихся освободиться внутренне. Возможно, помимо воли Захара, сей феномен продемонстрирован второй центральной линией книги – литературной биографией героя.

Эпиграфом, а то и ключом, не хуже белогвардейского, здесь мог бы сработать довлатовский анекдот об отсутствии разницы между советскими и антисоветскими писателями.

Захар предлагает концептуальный, глубокий разбор леоновских книг, но на втором плане всегда присутствует определение тайной (латентной) ориентации той или иной вещи

относительно советской власти. Иногда до прямого подсчета фиг в кармане, а то и прямо ей в физиономию.

В какой-то момент это начинает выглядеть летописью спортивных достижений.

И все же биограф прав, а метод, избранный им, справедлив.

Я, опять же, опущу собственную оценку леоновских текстов, но выскажу принципиальные, мне кажется, соображения: почему Леонова, со всей его не анти-, а, скорей, несоветскостью, никак нельзя отделить от советского проекта.

Ну, ясно, что век Леонова равен веку двадцатому, и семьдесят советских лет – весомейшая часть обоих.

Тот же Парамонов удивляется ранней огромной славе Леонова 20-х – «тогда все так писали»... Отчасти верно, но именно у Леонова впервые четко были обозначены не только национальные и отнюдь не марксистские, но сектантские корни русской революции. Задолго до Дмитрия Галковского и Александра Эткинда. Собственно, поэтому его заметил и благословил Горький, торчавший на обеих темах – русских сект и русской революции.

Сходный тематически и, похоже, задуманный в пику Леонову «Кремль» Всеволода Иванова появился позже. Метафизика Андрея Платонова восходила скорей не к сектантству, а к русскому космизму.

В сталинские годы, на которые пришелся человеческий и творческий, несмотря на двусмысленное положение, расцвет Леонова, Советская власть стала единственной осью координат. А Леонид Максимович, и тогда озабоченной метафизикой («Пирамида» начата в 1940 году) и онтологией «человечины» (легендарное его выраженьице), искал местонахождение линии горизонта. И был уверен, что Небеса с землей соприкасаются именно в России. В советской России. Он (во многом с подачи того же Горького, утверждает Прилепин) пережил свой период очарования проектом. Не так экзальтированно, как Пастернак, не столь органично, как Шолохов, и не с такой расчетливостью, как Катаев. Но основы производственного романа заложил. Другое дело, что это был за роман...

(Уместно вернуться к ранней славе и авансам. Леонова в 20-е горячо приветствовала и русская эмиграция. Издавали, покупали, читали. И фишка явно не в анти- или «несоветскости» Леонова. Пиком признания стал очень достоевский «Вор». Эмигрант консервативен – в Леонове видели продолжателя великой русской литературы, по линии Федора Михайловича. Всем было интересно, как бы написал Достоевский про революцию. Роман «Дорога на океан», на мой взгляд, получился куда более «достоевским», чем «Вор». То есть Федор Михалыч взялся ваять советские производственные романы... Можно себе представить разочарование Георгия Адамовича.)

А после войны и официального признания (слабо сказано, из сомнительных – да в классики, рядом с Шолоховым) у Леонова, собственно, и вариантов не оставалось. Брак с властью был не столько по расчету, сколько по привычке. После Сталина (а, точней, «Русского леса») появилась возможность жить хорошо и еще немножечко шить. Леонид Максимович ею охотно пользовался: обживал реноме едва ли не первого отечественного эколога, возводил «Пирамиду», изредка даже хулиганил. Очень солидно, по-консервативному.

4.

Третий из магистральных путей биографии от Прилепина – взаимоотношения Леонова с сильными мира сего и всего мироздания: Горьким, Сталиным, Господом Богом.

О Горьком было раньше, и будет еще.

А вот Сталин собственной персоной появляется в книге лишь однажды. В 1942-й, самый трудный военный год, Леонов пишет пьесу «Нашествие». Вспоминает: «Вдруг звонок. Поскребышев. «Как живете?» – «Живу». – «Пьесу написали?» – «Написал. Отправил. Не знаю, читали ли?» – «Читали, читали. Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Тот включился без перерыва и сказал: «Здравствуйте, товарищ Леонов. Хорошую пьесу написали. Хорошую. Собираетесь ставить ее на театре?»

Еще раз Сталин появляется опосредованно: прочитав «Дорогу на океан» (где прототип Курилова угадывается мгновенно, разве что с испугу тогда делали вид, будто не угадывали),

сделает единственное замечание и передаст его Леонову через секретаря правления СП Щербакова. Суть просьбы – «перенести обильные и сложные комментарии, расположенные под чертой едва ли не на каждой странице фантастических глав, в основной текст».

Захар, удивляясь и торжествуя, заключает: «А Леонов откажется, упрямец». Реконструирует диалог:

« – Леонид Максимович, у вас все в порядке? Я говорю: вас Иосиф Виссарионович попросил.

– Я всё понял. Я не могу исправить. Не буду».

Но вообще-то, по всей биографии, даже в разделе «Леонов и Сталин», вождь проходит фоном; чувствуется напряжение автора, когда он приближается к этой фигуре. И подходит к ней нервно и целомудренно.

Думаю, тут не мистические и не мировоззренческие, но литературные обстоятельства.

Сталинианой сейчас никого не удивишь; удивляет, скорей, ее отсутствие, да еще когда Сам на страницы так и просится.

Вот вам последний пример не из литературы, но из кино. Чрезвычайно характерный. Просвистанный до дыр, и справедливо во многом, Никита Михалков. «Утомленные солнцем–2. Предстояние».

В «Предстоянии» Сталин (Максим Суханов) в очередной раз похабно карикатурен и ничем не отличается от своих бесчисленных киношных (и многих литературных) двойников последних десятилетий, равно как и от собственных бюстов в самой картине – помните, есть в «Предстоянии» такой глубокомысленный эпизод с гипсовыми копиями вождя?

Любопытно, что даже немцы с их тяжелой формой политкорректности решились на «другого Гитлера» в фильме «Бункер». А у нас первый державник Михалков вновь уныло демонстрирует, вместо исторического Верховного, поистрепавшийся со времен перестройки зловещий символ. И, когда он в буквальном смысле окунает драматическую фигуру в фарс, то есть в торт, выходит непотребство не у Сталина, а у Михалкова... Как будто дорогой Никита Сергеевич впал в детство и маразм одновременно. Отстав от века лет на двадцать, а то и на все пятьдесят.

Впрочем, это диагноз всей нашей, так сказать, элиты. Отношение к Сталину – симптом. Они понимают, что отношение должно быть, но не понимают – почему? Как говорил один старый революционер, страшно далеки...

Ускользает главное – качнувшееся стрелкой полевение общественных настроений вкупе с актуализацией фигуры Сталина есть не поздняя реакция на утоптанный в землю либерализм, не на списки «Форбса» и даже не на тотальное засилье бессилья отечественной бюрократии.

Это, на мой взгляд, важнейший элемент предкатастрофного сознания. Когда Сталин представляется хирургом или палачом, но кровь в любом случае пугает меньше медленного, но верного умирания.

Вернемся, впрочем, к Прилепину. Кому, как не ему, писать о Сталине, полагаю я, – и, наверное, страшно наивно.

И осмеливаюсь предполагать – именно в этой точке Прилепин-писатель сильней общественного деятеля. Он понимает, что в диапазоне от «кровавый тиран» до «выдающийся государственный деятель» говорить уже нельзя. В апологетике много от характеристик рачительного завхоза – принял с сохой, оставил с атомной бомбой, в разоблачениях – банальной вечнобабьей интонации междуполового комитета солдатских матерей.

Тут нужен Шекспир; время пришло. А Захар скромен. Да и пишет он о Леонове. Которого оторвать от Сталина невозможно... Парадокс.

Можно было бы продолжить, кощунствуя влегкую, что отношения Леонова с Господом Богом на верхних уровнях повторяют коллизию и союз писателя с Советской властью. Но, пожалуй, свернем тему – Захар то и дело заявляет «Леонид Леонов – мир непомерный»; и тут, пожалуй, именно та часть его мира, относительно которой в рецензии лучше промолчать.

Отмечу лишь, что перечисляя в финале литераторов не столько «леоновской школы», сколько, по выражению Захара, «пришедших вослед», биограф прежде всего имеет в виду первую почвенную сборную. Но тут же и Дмитрий Быков, и Алексей Варламов и даже Стругацкие. Однако не упомянуты современные ав-

торы, прямо наследующие Леонову по линии, так сказать, религиозной альтернативы. Это Владимир Шаров и популярный создатель сектантских боевиков Михаил Елизаров.

Самое время, кстати, коснуться замеченных мною ляпов и неточностей книги, немногочисленных, впрочем – «ради справедливости, и только».

Они не на совести автора. Редактора, скорее.

Так, Захар, рассказывая о совместном путешествии в 1931 году Горького и Леонова через Европу в СССР, отмечает: «В Мюнхене заезжают по случайности именно в ту пивную, где позже Гитлер начнет свой пивной путч».

Но Пивной путч к тому времени уже случился, в 1923 году, за десять лет до прихода Гитлера к власти.

Далее: «В том же 1949-м Государственную премию СССР получил Василий Ажаев с романом «Далеко от Москвы».

На самом деле госпремий еще не было, были Сталинские, в случае Ажаева – даже 1-й степени.

Прилепин подробно и любовно описывает знаменитую фотографию Есенина и Леонова в редакции «Красной Нови». Читатель в двух иллюстративных вкладках её не находит, в то время как знакомых нам «писательских троп» там в избытке. А снимок этот – вовсе не какой-то раритет – имеется практически в каждой, включая бульварные, книжке о Есенине.

Впрочем, в переизданиях, разумеется, поправят. А они будут. Не сомневаюсь.

5.

Горького я оставил на сладкое и в качестве мостика к «времени Прилепина».

Вся бытовая сторона и литературная суть взаимоотношений двух писателей в книге дана подробно, но присутствие Горького на этом для Захара не исчерпывается.

Возможно, мне показалось, но подает Прилепин Алексея Максимовича максимально отстраненно и с едва заметной иронией, рискну даже сказать – брезгливостью. Дело тут не только в самой чрезвычайно двусмысленной фигуре Горького. Не в истории их отношений с Леоновым – от горячего притяжения до полного охлаждения. И даже не в амбивалентном восприятии Леоновым Горького в зрелые годы.

Так бывает, когда говорят об историческом предшественнике. Малосимпатичном, но родном – волею истории и обстоятельств. Наиболее известном мастере определенной роли. В Прилепине действительно немало от Горького, сходство совершенно не исчерпывается пафосом и сюжетными линиями романа «Санькя».

Аналогия эта, как и любая другая, вполне несерьезна, но в качестве иллюстрации годится.

Происхождение, «очень жизненный путь» (Вен. Ерофеев), охват и направление тем, литературная универсальность, о которой я говорил вначале, отчетливо левые симпатии, почвенность, даже скорее – подпочвенность.

Ранняя громкая слава, общая география – Нижний!

У каждого, в пару, имеется какой-то магнат для дружбы или пикировки; у Горького – Савва Морозов, у Прилепина – Петр Авен.

Много общего даже в синтаксисе и интонации, особенно в эссеистике.

Как Горький объединял вокруг себя, по издевательскому тогдашнему выражению, «подмаксимок», а на самом деле – лучшие перья поколения, так и Захару близка идея объединить свое литературное поколение если не под одним знаменем, то на едином фундаменте.

В этом смысле показательна его книга «Именины сердца» – сборник интервью с российскими писателями поколения, в основном, сорокалетних, которых в национальных традициях принято называть «молодыми».

Так вот, самые разные писатели, уже прославленные и начинающие, столичные жители и провинциалы, русские и не очень, лауреаты и недавние дебютанты, признаются в левых симпатиях. С густой примесью ностальгии по рухнувшей советской империи и цивилизации.

Роман Сенчин, Сергей Шаргунов, великолепный в своем мускулистом мужском стиле Андрей Рубанов («Сажайте и вырастет», «Великая мечта»; Рубанов бывал бизнесменом и банкиром, кстати), упомянутый здесь Михаил Елизаров, и даже великолепный критик-эстет Лев Данилкин...

А я уже писал как-то, что глотка одного поэта – гораздо более чуткий общественный барометр, чем задницы миллионов обывателей.

Забавно, что некоторым из героев «Име-

нин» легко подобрать аналог в окружении Горького. Скажем, Роман Сенчин своим акварельным натурализмом развивает Бунина («Елтышевы» как своеобразный римейк «Деревни»); Шаргунов по темпераменту и некоей кукольной политизированности близок Скитальцу; Елизаров напоминает Леонида Андреева («он пугает, а мне не страшно»)...

Есть у ребят свои Чехов и Толстой – Проханов и Лимонов, правда, кто здесь кто, так сразу и не разберешь.

Оба срывали глотки, доказывая «У нас была великая эпоха!». Доказали. Захар Прилепин в биографии Леонова тезис этот, ныне уже не нуждающийся в подробной аргументации, продолжает и развивает: литература была равна эпохе. Это не параллельные Лобаческого, а две кардиограммы единого сердца, размером с целую страну, из одной истории болезни и ее преодоления.

Леонов – здесь идеальный персонаж, своего рода калибровочный ресурс, не только объект торжествующей исторической справедливости, но инструмент ее восстановления – уже говорилось о количестве сходящихся в его судьбе силовых линий и многомерности этого мира.

Прилепин собирает багаж для путешествия в новую великую эпоху.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

ТА САМАЯ ИСТОРИЯ

История Саратовского университета. 1909–2009: В 2 т. – Саратов: изд-во СГУ, 2009. Т.1. 1909–1945 / Аврус А. И., Гапоненков А. А., Данилов В. Н. – 294 с., ил. Т. 2. 1945–2009 / Мякшев А. П. – 345 с., ил.

На то она история,
Та самая, которая,
Ни слова, ни полслова не соврет!

Это же какая увесистая история: два кирпича общим весом три (3) килограмма! Да и повод не простой, а золотой: столетний юбилей Саратовского университета имени великого писателя и пламенного борца за революционную демократию Н. Г. Чернышевского.

А сочиняли эти кирпичи не десятки тружеников науки, а всего-навсего четверка университетских профессоров. С орлиного полета окинули они единым взором столетний марафон всех факультетов, всех кафедр и институтов сего Храма отечественной науки. И все-то нашим подвижникам ведомо: и дебри высшей математики, и физики, и геологии, и естествознания, и химии, и философии, не говоря уж об истории и литературе, где они-то, то есть создатели этих кирпичей, и являются большими знатоками.

Как легко догадаться, профессора использовали множество справок и материалов, подготовленных для них, по крайней мере, не одним десятком, если не сотней, нынешних и бывших университетских сотрудников. «Трудно перечислить фамилии всех, кто нам помогал», – признаются в предисловии авторы двухтомника (Т. 1. С. 8). Странно: черпать сведения из разных документов можно, а назвать имена их составителей почему-то нельзя?

Поскольку у меня, увы, нет ни такой манящей энциклопедической эрудиции, ни тем более такой тьмы-тьмущей добровольных или подневольных помощников, то воздержусь от глобальной оценки двухтомника и ограничусь лишь скромными заметками на полях профессорского труда.

В первых главах первого тома довольно толково рассказано о подготовке к открытию университета, о различных этапах его развития, о его драматическом положении после захвата власти большевиками, о стойком сопротивлении преподавателей и студентов их идейкам либо вообще придушить университеты, либо превратить их в нечто вроде ликбеза или рабфака, или в лучшем варианте в краткосрочные профессорские курсы для малограмотных люмпенов. Повелел же большевистский Совнарком в 1918 году именовать профессорами всех преподавателей высших учебных заведений! (Т. 1. С. 91).

В 30-е годы многие рабоче-крестьянские искатели диплома о высшем образовании не потрудились хотя бы закончить среднюю школу (Т. 1. С. 143), а в 1941 году был объяв-

лен сверхускоренный университетский курс – вместо пяти лет всего три года (Т. 1. С. 191). До чего все похоже на гениальную антикоммунистическую сатиру «Записки о Кошачьем городе» Лао Шэ, где «день поступления в школу считается одновременно и днем окончания университета»; а все учителя «стали преподавателями университетов», так как «все учебные заведения превратились в университеты».

Дальше читаешь двухтомник и убеждаешься, как авторы доверчиво клюют на советские мифы: Саратов, мол, был первым городом в России, где было покончено, во многом благодаря коллективу университета, с неграмотностью взрослого населения (Т. 1. С. 130). Это хвастливое заявление, понятно, никак невозможно ни проверить, ни доказать. С таким же успехом можно было бы рапортовать о досрочном выполнении завлекательного лозунга ректора Р. В. Мерцлина, брошенного в 1951 году студенческому народу: «Ни одного не плавающего!», то есть ректор собирался послать всех студентов вниз по Волге-матушке (Т. 2. С. 50).

А что, прости Господи, значит движение в университете за получение дорогих Сталинских премий? (Т. 1. С. 181). Это, что ли, каждый должен был сам себя выдвигать и продвигать на премию в честь дорогого и любимого вождя?

Авторы уверяют, будто голод в Саратовской области начался только из-за страшного неурожая 1921 года (Т. 1. С. 104). Мол, всё в Совдепии было не так уж и худо, но вот стихийное бедствие подвело и довело народ до голода.

Однако голод в России в те годы был далеко не везде: он был только там, где хозяйничали полуграмотные народные комиссары.

Слово историку Гражданской войны:

«На протяжении всей Гражданской войны, в 1917, 1918, 1919, 1920 годах, в России было вполне достаточно хлеба. Хлеб был на всей территории России, ничто не грозило голодом. Голода НИКОГДА не было НИ НА ОДНОЙ из территорий белых государств России. Голода не было на территории банд, крестьянских армий, иностранных воинских подразделений. НИГДЕ.

Во время Гражданской войны голод был ТОЛЬКО на территории, которую контролировали большевики. Он возникал везде, где они появлялись, и исчезал везде, откуда они уходили».[1]

Бедствия при советской власти были отнюдь не стихийными, а, как правило, организованными этой же властью. Голод 1921 года понадобился большевикам, чтоб окончательно сломить сопротивление крестьянства, подавить полыхавшие по всей стране народные восстания. И мерли тогда люди от голода не только в Поволжье, а еще в десятках губерниях. А получая зерно из-за границы – якобы для голодающих! – комиссары тут же ловко продавали его на экспорт.

А столь же страшный голод 1933 года, наступивший после великого сталинского перелома сельского хозяйства, наши авторы очень деликатно называют «перебоями в снабжении городов продовольствием <...>» (Т. 1. С. 152).

Сколько страниц посвящено в книге воспеванию всевозможных трудовых подвигов студенческих строительных отрядов! И после столь восторженных словес – тихое признание: эти отряды начальство считало «бесплатной и бесправной рабочей» силой (Т. 2. С. 139). Если бы не реальная угроза отчисления, вряд ли бы студенты мчались на легендарную целину, на вечные стройки коммунизма и на нескончаемую битву за урожай: выручать колхозы и совхозы – венец социалистического сельского хозяйства.

С чувством законной гордости возвещают авторы об участии университетских спортсменов «в советско-финской войне» 1939-1940 года (Т. 1. С. 182). Но, простите великодушно, разве в ту пору Советский Союз воевал с Финляндией? По сталинской версии, это была никакая не война, а всего-навсего финская кампания, и сражались доблестные красные бойцы-молодцы вовсе не со своими братьями по классу – финскими рабочими и крестьянами, а только с бандой белофиннов. И назвал поэт это позорище незнаменитой войной.

Догадывались ли вы, кто первым не только объявил о начале войны между империалистической национал-социалистической Германи-

[1] *Буровский А. М. Самая страшная русская трагедия. Правда о Гражданской войне. - М.: Яуза-пресс, 2010. С. 101. См. также: Веллер М. И., Буровский А. М. Гражданская история безумной войны. -М.: АСТ, 2007. С. 175.*

ей и мирным социалистическим Советским Союзом, но и мгновенно выдал ей самую верную большевистскую оценку? Нет? Тогда слушайте и запоминайте: 22 июня1941 года «секретарь партбюро СГУ С. А. Суслов объявил в читальном зале библиотеки о начале Великой Отечественной войны» (Т. 1. С. 238).

Вот это революционное предвидение так предвидение! Кремлевские вожди почти три недели метались, не зная, как патриотичнее или, если угодно, демагогичнее именовать схватку между вермахтом и РККА: то ли победоносной отечественной, то ли всенародной отечественной, то ли великой освободительная борьбой. И только университетский парткомыч так первым 22 июня и рубанул: Великая Отечественная!

Столетний юбилей университета событие, само собой, торжественно-эпохальное, и авторы не хотят огорчать ни читателей, ни тем паче высокое начальство, в столь праздничный момент упоминанием о каких-то там неприятностях. А если иногда и заговаривают о них, то так, мимоходом, даже не сразу и поймешь, о чем речь-то идет.

«В конце 20-х годов директором научной библиотеки стал профессор-правовед Г. Ю. Маннс», – читаем на с. 125 первого тома. И тут же его снимок. И ни словечка о том, как закончился жизненный путь Герберта Юлиановича Маннса. «В 1937 г. он был арестован по доносу, что было спровоцировано какими-то людьми, кому лучший криминалист страны мешал. В том же году, вскоре после ареста, он был убит сзади при входе в камеру, о чем рассказал кто-то, кто был освобожден», – вспоминала В. А. Артисевич. [1]

Как и утаивают от читателя смерть в сталинском застенке великого филолога Григория Александровича Гуковского – проректора университета до 1946 года.

Если нам не дано узнать о конце жизни некоторых ученых, то другие попросту вычеркиваются из истории университета, как скажем, Израиль Вениаминович Герчиков, который с 1923 года работал в Саратовском университете. С октября 1928 года Герчиков – доцент по кафедре всеобщей истории. С 16 октября 1928 года по 1 августа 1930 года – секретарь деканата педагогического факультета, а с 1 августа 1930 года по 1 января 1932 года – помощник директора СГУ по учебной работе. 11 апреля 1931 года назначен заведующим кафедрой всеобщей истории СГУ, представлен к должности профессора.

Все бы ладно, но подвела преуспевающего ученого.... Кто бы вы подумали? Роза Люксембург. Да, да, та самая, поджигательница прогоревшей спартаковской, то бишь большевистской революции в Германии в 1919 году. Та самая, чьим именем в стране советов назывались чуть ли не все артели инвалидов. Если не верите, то читайте «Характеристику и отзыв» директора университета С. З. Каценбогена (из архива СГУ):

«За время пребывания в Университете тов. Герчиков как в своей преподавательской работе, так и в административной, проявил себя как вполне добросовестный и способный работник.

В связи с допущением тов. Герчиковым в книге о Розе Люксембург ряда политических ошибок, сводившихся в основном к отождествлению люксембургианства с большевизмом, замазыванию ошибочности позиции Р. Люксембург тов. Герчиков I. I. 32 г. от должности пом. директора по учебной части был отстранен».

Вот до чего доводит зловредное «люксембургианство» – замечательный политический ярлычок! За «люксембургианство» его, видимо, не пустили и в нынешнюю историю университета.[2]

Не попал туда и Леонид Иосифовмч Баранов, декан физического факультета. А он-то за что? Вроде никак не был связан ни с какими сомнительными личностями. И сведения о нем можно отыскать в отнюдь не самых секретных источниках – хотя бы в газете «Ленинский путь» (1982. № 22. 29 октября).

Разумеется, создатели двухтомника рассказывают о научных достижениях университетских ученых, при этом иногда предпочитая умалчивать о драматических эпизодах их био-

[1] Артисевич В. А. Оборванная судьба. Машинописный текст с авторской правкой. С. 6 // Научная библиоте-ка СГУ.

[2] За ценные сведения о И. В. Герчикове благодарю кандидата исторических наук В.. А. Соломонова (кафедра истории России исторического факультета)

графии.

В книге справедливо воздается должное замечательному историку русской литературы А. П. Скафтымову, его классическим трудам о Чехове, Толстом, Достоевском. Но ученого услали на пенсию уже в 1950 году, как только ему стукнуло 60 лет. И вроде бы это было сделано без ведома декана филологического факультета доцента Е. Покусаева. В конце-концов, оптимистично докладывают авторы, «профессору предложили вернуться на работу» (Т. 2. С. 78). Это очередное вранье. Могу засвидетельствовать: студентам, которые пришли на факультет в 1950 году, уже не пришлось услышать ни одной лекции Александра Павловича, ни получить выучку в его спецсеминаре – истинной литературоведческой школе.

«Широкий общественный резонанс вызвала работа Ю. Г. Оксмана "Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ". Блестящие спецкурсы Ю. Г. Оксмана о жизни и творчестве А. С. Пушкина, проходившие в самой большой аудитории факультета, приходили слушать не только филологи, но и историки, физики, химики, люди, уже окончившие университет» (Т. 2. С. 76). И молчок о том, какой шквал злобных нападок обрушился на Юлиана Григорьевича за его трактовку письма Белинского к Гоголю: и обкомовского начальства (вот уж где большие ценители русской литературы!),[1] и кафедры русской литературы во главе с доцентом Е. Покусаевым, подпевавшей партийным идеологам.

Правда, авторы двухтомника глухо напоминают о бедах Оксмана, ничего толком не поясняя. В феврале 1952 года, читаем в книге, ректор университета Р. В. Мерцлин «объявил о достижениях в деле "освобождения университета от лиц, не отвечающим должным деловым и политическим требованиям" <...> В ближайшее время, заявил ректор, "будет решен вопрос о профессоре Оксмане <...>" » (Т. 2. С. 70). В переводе с советского новояза на человеческий сие означает только одно: выгнать из храма науки опального ученого!

Черной зимой 1953 года, когда после сообщения ТАСС о врачах-отравителях на свободной от свободы одной шестой части суши забушевал с невиданной яростью антисемитский ураган, партбюро филологического факультета по всем правилам политического сыска занялось фабрикацией дела Оксмана. Повсюду рыскали партищейки, выискивая компромат на профессора и на участников его семинара.

Доцент Е. Покусаев на лекциях по русской литературе XIX века негодующе возглашал, что на нашем факультете – подумать только! – проповедуются меньшевистские взгляды: убийственный криминал по тому дикому времени. Поскольку у прочих факультетских преподавателей подобной роскоши, как собственные взгляды, отродясь не водилось, было яснее ясного, в кого метил бдительный советский доцент. Покусаев публично возмущался, почему участники семинара Оксмана читают всяких там формалистов, а не революционнейшего демократа Чернышевского.

К великой досаде всех партийных и беспартийных гончих и ищеек, всех платных и бесплатных доносчиков, нежданно-долгожданная смерть генерального палача помешала им до конца раскрутить дело Оксмана.

А до чего же благополучно в этой истории выглядит научный путь ученика Оксмана – великого историка и филолога Владимира Владимировича Пугачева. От защиты кандидатской диссертации – к защите докторской, от одной серьезной работе – к другой, от рядового сотрудника исторического факультета – до заведующего кафедрой истории СССР досоветского периода (название-то до чего же абсурдное!).

Словно не было в университете никакой травли Пугачева, словно не спорили с ним – с его статьями и книгами, по-новому открывающими нам Радищева, Пушкина, декабристов, войну 1812 года, – не столько научными аргументами и фактами, сколько идеологическими ярлыками, а то и просто политическими доносами.

В 1958 году на Всесоюзной научной конференции, проходившей в Саратове, историк выступил с докладом «Из истории взаимоотношения Н. Г. Чернышевского с либералами (до и после начала сотрудничества Н. А. Добролюбова в "Современнике")». Пугачев убедительно доказывал, что Тургенев и его друзья не

[1] *Один обкомовский деятелей обвинил Оксмана в том, что его исследование больше, чем само письмо Белинского к Гоголю.*

были повинны в разрыве с «Современником», как единогласно уверяли все советские кандидаты и доктора разных наук; на самом же деле знаменитых писателей без церемоний грубыми приемами изгоняли из редакции некрасовского журнала Чернышевский и Добролюбов.

Но разве могут быть хоть в чем-то не правы воспетые предшественники русской социал-демократии, как окрестил их самозваный вождь мирового пролетариата? Правоверный П. Бугаенко недоуменно пробормотал что-то вроде того, что, мол, нас, то есть их, учили совсем по-другому.

А со страниц университетской многотиражки «Ленинский путь» в адрес Пугачева несутся громовые обвинения: *«ошибочное определение существа первой революционной ситуации в России»,* неверная трактовка *«тактической линии Чернышевского накануне реформы»,* преувеличение *«компромиссов с его стороны по отношению к либералам»,* и – нокаут! – недооценка *«роли народа в освободительном движении 60-х годов».*[1] Хоть бери ученого, да и тащи его в кутузку!

Инициатором этих обвинений, по тогдашним понятиям, политических доносов, вероятно, был надежный страж коммунистической идеологии заведующий кафедрой русской литературы Е. Покусаев, а прямым их сочинителем – ассистент кафедры русской литературы Т. Усакина, будущее светило филологического факультета. Пугачев, понятно, был возмущен этими обвинениями, о чем он тогда же прямо сказал их авторше.

Спустя 15 лет «Ленинский путь» снова наезжает на Пугачева.

Обкомовский идеолог В. Черных забурлил, увидав в межвузовском сборнике «Освободительное движение в России» (ответственный редактор – Пугачев), посмертно опубликованную статью Оксмана «Пушкин и декабристы». По устному указанию Черныха (партия не любила оставлять письменные свидетельства своих деяний) «Освободительное движение» было арестовано, то есть сборник убрали из библиотек и магазинов, а над его редколлегией и университетским издательством учинили судилище на бюро Кировского райкома КПСС.

Тогда-то по указке обкома и выступил на все готовый «Ленинский путь». Члены университетского парткома нашли жуткий провал в деятельности заведующего кафедрой истории СССР досоветского периода Пугачева: он безответственно увлекся *«вопросами науки»,* посмел поставить *«их во главу угла».*[2] Ну разве допустимо в советском вузе так увлекаться наукой!

Искали, понятно, предлога, дабы избавиться от беспокойного профессора. В 1975 году секретарь парткома Б. Хохлов попросил Пугачева «по собственному желанию» (официальная формулировочка советских отделов кадров) отказаться от должности заведующего кафедрой. Позже – столь же добровольно! – уйти из университета. Об этой позорнейшей странице из истории университета в двухтомнике написано преспокойно так: «В 1979 г. профессор В. В. Пугачев перешел в Саратовский экономический институт <...>» (Т. 2. С. 175).

15 апреля 1983 года в областной партгазете под боевой рубрикой «На фронтах идеологической борьбы» (ну как же прожить без фронтов и борьбы в стране перезрелого социализма!) публикуется статья о Пугачеве штатного клеветника В. Пролеткина «Письма с ядовитой начинкой». Пугачев бичуется за потерю советской бдительности, за забвение ленинского завета *«быть начеку»,* за то, что его показания на суде по делу А. Б. Рогинского не делают *«ему чести, как советскому ученому».*[3]

Однако выгнать Пугачева из экономического института гэбистам и их прислужникам не удалось. Ректор Иван Михайлович Герман решительно отказался увольнять выдающегося ученого по клеветническим наветам (как в схожей ситуации, буквально в то же самое время, повел себя университетский ректор А. Богомолов). Мужество могло одолеть страх, честь и совесть могли устоять перед оголтелым натиском злобы и лжи.

Не попал в эту университетскую историю и Анатолий Сандлер, тридцать лет преподававший в университете. Фронтовик. Талантливый математик. Заводила на всех юмористических

[1] *Усакина Т. .За творческий подход к наследию Н. Г. Чернышевского // Ленинский путь. 1958. № 27. 1 ноября. С. 2.*

[2] *В парткоме СГУ. Учебно-воспитательной работе – должное внимание // Ленинский путь. 1973. № 3. 19 января. С. 1*

[3] *Пролеткин В. .Письма с ядовитой начинкой // Коммунист. 1983. № 85. 15 апреля. С. 3.*

вечерах механико-математического факультета. Любимец студентов и студенток.

Анатолий никогда не стеснялся открыто и резко высказывать свое мнение, восхищаться мужественными учеными и писателями, а холуев называть холуями. Даже друзья ему иногда пеняли: *«Толя, но нельзя же так! Ты же не в Чикаго, а в СССР!»*

Конечно, Сандлер был на прицеле у тайной полиции. По его мнению, *«роман Солженицына "В круге первом" был обнаружен сотрудниками КГБ с помощью осведомителя – моей бывшей студентки, которая, видимо, была приставлена ко мне, чтобы разыскать какой-нибудь компромат».*

12 июня 1984 года Сандлера официально предупреждают в КГБ: если он будет хранить книги, подобные роману «В круге первом», то против него будет возбуждено уголовное дело по статьям 70 и 190, пункт 1. Стращают с наглым перебором, потому что хранение (даже не распространение!) романа Солженицына и парижского издания «Собачьего сердца» Булгакова никак нельзя подвести под 70-ю.

В тот же день – завидная синхронность госбезопасности и госуниверситета! – Анатолия Сандлера вызывают к ректору А. Богомолову. В кабинете его поджидает сам ректор, проректор И. Кашкин, секретарь парткома Денисов, декан механико-математического факультета Е. Бурмистров, секретарь партбюро факультета.

Начинается судилище административной, партийной и научной общественности. Без всякого предисловия объявляют Сандлеру: вы идеологически вредный человек, потому что вами занимается КГБ, а больше ничего мы знать не хотим.

Так Богомолов (попутно замечу: сей ученый муж, напролом рвавшийся в академики, трижды, ежели не более, пролетал на выборах в Академию наук СССР) и его партийно-научные подручные изгнали из университета старшего преподавателя кафедры математического анализа, участника войны, у которого уже был инфаркт. Заодно исключили Сандлера даже из числа ветеранов войны: его фотография исчезла с университетского стенда «Они защищали Родину».

После увольнения из университета Анатолий Сандлер работал сезонным матросом-спасателем на водной базе. В 1992 году эмигрировал в Израиль.

Очень кратко и очень неточно рассказано о зарождении в стране диссидентского движения, которое началось «как реакция на недоведенное до конца разоблачение сталинизма и идеологическую монополию» (Т. 2. С. 135). На самом же деле диссидентство возникло после захвата власти неосталинистами в октябре 1964 года, после очередного закручивания гаек, после нового витка политических преследований и сфабрикованных политических процессов.

Столь же кратко и маловразумительно говорится о саратовской студенческой «Группе революционного коммунизма», переименованной зачем-то в группу «истинных марксистов-ленинцев» (Т. 2. С. 135-136). И, кстати, в организации, по словам Александра Романова, отсидевшего шесть лет в ГУЛАГе за эту самую группу, не было никакого формального лидера.

Наши историки тиражируют клеветнические измышления журналиста-провокатора В. Хмары о молодых университетских поэтах 60-х годов (Т. 2. С. 78).[1]

В основном тексте книги и в «Хронике событий» расписаны такие незабываемые события, как бурная деятельность партийных и комсомольских организаций, как выборы депутатов в Верховный Совет СССР, или делегатов на очередной съезд покойной КПСС, социалистическое соревнование и между факультетами, и с другими университетами, танцевальные вечера – будущие дискотеки и дискотеки – бывшие танцевальные вечера, спорт, спорт, спорт, художественная самодеятельность во всех жанрах и прочее. Только ни слова не сказано о приезде в Саратов в ноябре 1968 года двух выдающихся литературоведов и правозащитников Льва Зиновьевича Копелева и Раисы Давыдовны Орловой, читавших лекции на филологическом факультете о немецкой и

[1] *См.: Хмара Виктор. Письма из Саратовского университета. «Шестидесятники» рвутся на Парнас // Совет-ская Россия. 1961. № 117. 19 мая. С. 4. Статья была мгновенно перепечатана парткомовским «Ленинским путем», а через некоторое время, под нажимом обкома ВЛКСМ – и «Зарей молодежи».*

американской литературе. Как и о пребывании в Саратове осенью 1970 года основоположника знаменитой тартуской школы Юрия Михайловича Лотмана, оппонировавшего на защите докторской диссертации и читавшего лекции на филологическом факультете, о многочисленных творческих контактах с университетом известного петербургского ученого Бориса Федоровича Егорова.

Даже не упоминаются в книге такие уникальные специалисты и подвижники библиотечного дела, как, скажем, заведующая справочно-библиографическим отделом Полина Александровна Супоницкая и заведующая кабинетом библиотековедения Нина Павловна Никитина, без которых нельзя представить деятельность научной библиотеки СГУ.

Если в первых главах двухтомника серьезно рассматриваются этапы становления университета, честно говорится о его многих бедах и трудностях, то чем дальше читаешь книгу, тем больше тебя оглушают сплошные юбилейные фанфары в честь самой передовой в мире советской науки, в честь родной партии и ленинского комсомола. Что ни монография, то эпохальное событие, что ни административное переименование, то судьбоносный знак, победа следует за победой, открытие – за открытием, подвиг – за подвигом.

В декабре 2007 года последний ректор Л. Коссович единым взмахом пера повелел называть исторический факультет – Институтом истории и международных отношений, а филологический факультет – Институтом филологии и журналистики. От этой словесной эквилибристики ровным счетом ничего в жизни этих факультетов не изменилось, комбинация-махинация была нужна ректору только для того, как не единожды писали саратовские газеты, чтобы убрать независимого декана исторического факультета В. С. Мирзеханова. Но, торжественно вещают о сем ректорском акте наши летописцы, «в университетской структуре появились новые, во многом уникальные звенья <...> » (Т. 2. С. 257).

Авторы порой пишут так, словно никто ничего не помнит, и можно хвалить подряд все труды, выходившие из-под пера университетских авторов.

В 1966 году (а не в 1965, как сказано в двухтомнике) к 40-летнему юбилею октябрьского путча Приволжское книжное издательство выпустило книгу доцента В. Островского и ассистента Б. Венига «По старым саратовским трактам. Из прошлого и настоящего саратовского крестьянства». Понятно, кандидат и кандидат в кандидаты хотели показать, как жутко жилось несчастным крестьянам при царском режиме, и как вольготно дышится и сытно кушается счастливым колхозниками при новой власти.

До чего же восхищает сочинителей «Трактов» меню советских колхозников: щи, борщ, суп, лапша, каша (какая – почему-то не уточняется), жареный картофель и картофельное пюре, омлет и яичница, варенье и компоты и прочее наше изобилие.[1] Правда, как видно из этого прелестного перечня, мясо и рыба кормильцам-поильцам земли русской не положено. Да, чуть не позабыл, даже – ну может ли быть этакое чудо? – пирожки с начинкой! Да, да, именно с начинкой! Хотя бывают ли пирожки вообще без всякой начинки? Не называют ли в народе такие пирожки попросту хлебом? И не худо было бы сравнить сей рационик хотя бы с тем, что вкушали при проклятом царизме самые первейшие преступники в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

С этих-то «Трактов», которые так высоко ценят наши историки (Т. 2. С. 180-181), и начался ускоренный карьерный взлет В. Островского. 14 января 1967 года, когда Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями большую группу работников высшего и среднего специального образования, то среди награжденных был и один из авторов книги: ему вручили орден «Знак Почета». А через полгода Островский защитил докторскую диссертацию «Политика партии в деревне и ее социально-экономические результаты (1935–1965 годы)», в основе которой были те же «Старые саратовские тракты». Позже большой знаток советской деревни возглавит академический Институт социально-экономических проблем аграрно-промышленного комплекса самой Академии наук СССР.

[1] *См.: Островский В.Б., Вениг Б. Л. По старым саратовским трактам. Из прошлого и настоящего саратовского крестьянства. – Саратов: Приволжское книжное издательство. 1966. С. 43.*

В «Хронике событий» читаем: 19 февраля 1956 года – «начало работы литературно-музыкального общества СГУ» (Т. 2. С. 293). Верно, тогда выпускник филологического факультета Станислав Горшков, поэт и композитор, задумал и создал в университете литературно-музыкальное объединение, куда входили несколько кружков: театральный, хоровой, литературный. Десятки студентов записались в кружки, репетировали пьесы, разучивали песни, читали стихи.

Но, увы, недолго музыка играла. Университетский комитет ВЛКСМ, с подачи парткомычей, не на шутку переполошился: почему это студенты как вольные пташки играют и поют, да без всякого идеологического пригляда, без руководящих и направляющих указаний родного комсомола?

По объединению выстрелил на всё и всегда готовый «Сталинец», и добрая затея Станислава Горшкова приказала долго жить. Не захотели студенты петь и плясать под дудку начальства. Ну, а авторы университетской истории постеснялись рассказать, как закончилась история литературно-музыкального объединения.

О многом позабыли наши летописцы, но только не о себе любимых. Как гласит Библия, если я не за себя, то кто же тогда за меня?

В марте 1974 года комиссия ЦК КПСС проверяла работу кафедр общественных наук университета. И у высокой партийной комиссии «положительное впечатление оставила» лекция – кого бы вы думали? – конечно же, А. Авруса, верного коммунистического борца и певца идеологического фронта (Т. 2. С. 125).

Из книги узнаем и о докторской диссертации А. Авруса с громким названием: «История международной организации помощи борцам революции (МОПР)» (Т. 2. С. 181). А были эти героические борцы за мировую революцию просто-напросто кремлевскими агентами – шпионами и диверсантами. Но точная дата защиты диссертации о пламенных революционерах и агентах зачем-то засекречена, словно это какая-то тайна КГБ. На с. 181 это радостное для всей советской передовой науки событие свершилось в 1980 году, а на с. 236 наш кандидат превратился в доктора только «спустя несколько лет» после «середины 1990-х гг.», то есть через два десятилетия! Ей-богу, что-то с памятью у советских историков стало.

Чтобы читатель мог не только прочесть о научных достижениях Авруса, но и лицезреть воочию самого героя, на с. 136 дана его фотография.

Позабыл, видать, наш товарищ почетный профессор завет товарища Сталина: побольше скромности, товарищ Демьян!

На победоносном аврусовском фоне чуть поскромнее смотрятся его соратники. О В. Данилове я нашел справку о защите им кандидатской и докторской диссертаций, информационные упоминания, плюс, конечно, снимок (Т. 2. С. 176, 236, 237, 250, 257, 258). А. Гапоненков и А. Мякшев в книге названы лишь по два раза, и представьте, даже нет никакого фото (Т. 2. С. 250, 258, 270, 328).

Второй том кажется механически скомпонованными из различных справок и материалов, часто даже без всяких вставок между фрагментами текста, один абзац иногда опровергает другой.

На с. 11 почтительно цитируется мнение министра высшего образования СССР С. Кафтанова: университет после войны, как и многие другие вузы, превратился в слабое провинциальное учебное заведение и потерял былое значение крупного учебного центра.

Но, о други, не спешите безутешно рыдать! Уже в следующем абзаце СГУ превозносится, как центр «советской науки и культуры в обширной юго-восточной части СССР». Не зря же Государственная Дума выдала в 2007 году университету свою самую высшую награду – Почетную грамоту! (Т. 2. С. 282).

Если двухтомник был задуман как торжественный юбилейный подарок ректору СГУ Л. Коссовичу и генсеку «Единой России» – бескорыстному университетскому шефу В. Володину, то дар получился по высшему разряду. Ничто на триумфальных собраниях и на роскошных банкетах не сможет омрачить их сиятельные и светлейшие лица. Вперед, без грусти и сомненья, к новым научным и административным подвигам! К новым юбилеям! К новым праздничным застольям! К новым эпохальным трудам наших самых честных и самых правдивых в мире историков!

Иван КОЗЛОВ

УЖЕ БЕЗУМИЕ КРЫЛОМ ДУШИ НАКРЫЛО СЕМЬ ДЕВЯТЫХ...

Плохой лейтенант

Знаменитый режиссер Вернер Херцог снял римейк знаменитого фильма знаменитого же Абеля Феррары «Плохой лейтенант» с не менее знаменитым Николасом Кейджем в главной роли (у Феррары героя играл Харви Кейтель).

От этого фильма ждали многого. Еще бы – автор «Агирре, гнев Божий», «Фицкаральдо» и других знаковых лент вступает на территорию столь же безумного режиссера, как и он сам. Феррара – его ленты, равно как и он сам, ассоциируются с авторским кино в его «жестоком варианте». Такова же слава и Вернера Херцога. О эксцентричности и непредсказуемости этих режиссеров ходят многочисленные байки и кинолегенды, сниматься у них – большая честь. (Херцог, приглашая в свой фильм красотку Еву Мендес, сказал ей: «Я поведу тебя туда, где ты никогда не была. Ты будешь не звездой, а индивидуальностью»).

Сохраняя основные сюжетные линии, Херцог делает фильм безумнее оригинала (хотя, казалось бы, дальше двигаться некуда). Герой Феррары – запутавшийся в криминальных связях, задолжавший букмекерам кучу денег, почти сторчавшийся наркоман. Но он уже научился совмещать разные пласты жизни и пока более-менее уверенно барахтается на плаву, хотя его конец вполне предсказуем. Герой Херцога куда более страшен и опасен, безумие хлещет из него фонтаном, он пускается во все тяжкие, «снимаясь» «быстрыми» с «медленных» и наоборот. Лейтенант умело, впрочем, совмещает интересы дела и личную выгоду, обретая в ироническом хэппи-энде искомое освобождение от внешних проблем еще в этой жизни. Внутренние остаются прежними – лечится герой от кокса, коксом от геры, крутясь как белка в колесе порошков и миниатюрных курительных девайсов.

И еще – в Кейдже, кроме безумия, явно проступает то, чего не было в Кейтеле – Зло. Он творит его без удовольствия, по личной необходимости, но идет по этому пути неотвратимо и безостановочно, продолжая марафонить и плутать между денежных обвалов.

Херцог перенес действие фильма в Новый Орлеан, приурочив его к недавнему нашествию урагана «Катрин». Как заметил режиссер, это стихийное бедствие разрушило не только физические объекты, инфраструктуру, но и некоторые моральные константы у жителей города. Это допущение плюс стилизация поэтики фильмов «нуар» (или пародия на таковые?) делают фильм окончательно крышесносным. Сцены, имитирующие сугубо полицейское кино, перемежаются эндемичными глюками героя, в которых игуаны поют песенки и пританцовывают аллигаторы.

И вот что любопытно – Херцог всегда тяготел к фильмам о сильных людях, крушащих на своем пути все препятствия, плюющих на мораль и диктующих свою волю судьбе. «Плохой лейтенант» на этом фоне выглядит как попытка поместить такого же героя в жесткие социализированные рамки, которые тот проверяет на прочность. И те оказываются вполне гибкими.

Хлоя

Канадский режиссер Атом Эгоян тоже снял римейк – недавнего фильма «Натали» француженки Энн Фонтэн. И доснял то, на что не решились Фани Ардан и Эммануэль Беар (что еще раз подтверждает тот факт, что режиссерский замысел при звездном составе гроша ломаного не стоит). Джулианна Мур оказалась более раскованной, и лесбийская тема в фильме все же прозвучала.

Сюжет фильма прост и уже незамысловат – после десятков фильмов подобного рода. Незнакомец, исполняя особое поручение, приобретает опасную власть над заказчиком и

становится угрозой его безопасности. Подозревая мужа в измене, жена подсылает к нему проститутку, чтобы просто посмотреть на реакцию. Потом убеждается в его измене. Потом проникается сложными и смешанными чувствами к подсадной утке, которая явно запала на необычную клиентку.

Но вместо мелодрамы, или семейной драмы, мы получаем историю безумия, которое разыгрывает замысловатую многоходовую партию.

Фильм безумно, по-европейски, красив, не скатываясь в глянец рекламных кадров. Камера скользит по чистым поверхностям, стильным интерьерам, любовно рассматривает складки простыни, словно на средневековой фреске, играет с зеркалами, то помещая туда героев, то создавая иллюзорную бесконечность, пусть даже эта сцена и развертывается в дамском туалете. Персонажи то и дело отражаются в стеклах, сливаясь с заоконным пейзажем, становясь его частью. Даже безумие на этом фоне кажется каким-то рафинированным и социально-приемлемым. По-европейски домашним.

Белая лента

Призер последнего Каннского фестиваля, фильм Михаэля Ханеке очень быстро мелькнул на наших экранах, да и на dvd его можно найти не в любом магазине. Режиссер остается верным своей излюбленной теме – метафизике насилия. Он снял на эту тему аж два варианта «Забавных игр», такие ленты, как «Пианистка», «Скрытое» и «Время волков». И, смотря «Белую ленту», мы даже на секунду не предполагаем, что к финалу все многочисленные узелки будут тщательно распутаны.

Да и к чему? Что изменится, если мы узнаем, кто именно виновен в тех жестоких и изощренных злодеяниях, которыми режиссер нас пичкает с четвертьчасовой регулярностью? Достаточно того, что это происходит там, где мы меньше всего этого ожидаем – в тихой немецкой деревушке начала века. И лишь знание о будущем Зле – двух грядущих мировых войнах и расцвете национал-социализма – примиряет нас с неизвестностью и не-торжеством справедливости. Зло человеческое кажется здесь лишь тенью Зла будущего, большого и тотального, которое магнетизирует обитателей этого милого местечка и крушит им судьбы и психику.

Черно-белая изысканная гамма фильма поневоле заставляет вспомнить о поэтике раннего кино, преимущественно немецкого. Смытый цвет, как и разгадка тайн, остался за кадром. Перед нами только следствия происшедшего, причину нам знать не дано. Хотя наш зритель этого как раз не любит.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 27 августа 2010 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.